

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
РАДУГА МЫСЛИ



ВЕЛИКАЯ



СОВЬ

Михаил Эпштейн

РАДУГА МЫСЛИ

**Собрание работ
в семи цветах**

Серия фиолетовая

МИФОЛОГИЯ. РЕЛИГИЯ

Михаил Эпштейн

ВЕЛИКАЯ СОВЬ

ИД «БАХРАХ-М»
2006

ББК 87.66; 87.7; 86.2; 86.7; 66.0; 84
Э73

Э73 **Эпштейн М.Н. Великая Сось**
(серия «Радуга мысли»). — Самара:
Издательский Дом «БАХРАХ-М»,
2006. — 272 с.

ISBN 5-94648-049-9

В этот том «Радуги мысли» вошли работы филолога и философа Михаила Эпштейна по мифологии советского общества: книга «Великая Сось» и три эссеистических цикла. Расколдовать общественную мифологию, сковавшую нас в 20-ом веке, нельзя опровержением и критикой, — нужно вписать ее в более могучую мифологическую систему, которая отвечает на самые глубинные метафизические потребности человека. Снять травмы, нанесенные политической мифологией, можно лишь ее превращением в лирическую и космическую мифологию. Такова «психотерапия» и «алхимия» данной книги. Меньше всего она пытается быть аллегорией и сатирой, «разоблачающей» и без того уже стократно разоблаченную советскую империю и коммунистический тоталитаризм. Скорее это философская фэнтези на темы советской жизни, которая заново поэтизируется и мифологизируется как фрагмент какого-то более обширного, космического мифа, которому суждено разрушаться и возрождаться на самых разных этапах истории.

ISBN 5-94648-049-9

© Эпштейн М.Н.
© ИД «Бахрах-М», оформление

Товарищи, мы любим солнце, которое дает нам жизнь, но если бы богачи и агрессоры попытались захватить себе солнце, мы бы сказали: пусть солнце погаснет, пусть воцарится тьма, вечная ночь...

Лев Троцкий. 11 сентября 1918 г.

*Мы усталое солнце потушим,
Свет иной во вселенной зажжем.*

Андрей Платонов. Стих. «Вселенной»

*Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.*

Осип Мандельштам.

«Эта ночь непоправима...»

Совы не то, чем они кажутся

*(из голливудского фильма
«Красный фонарь», 1919)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга была начата весной 1984 г. и закончена осенью 1988 г. в Москве, и между ее началом и концом пролегла гигантская трещина, впоследствии разделившая две исторические эпохи.

Все, кто имел трудное счастье жить в советской стране, навсегда прониклись чувством Великой Тайны. Солнце там никогда не стоит прямо над головой, но каждый предмет прячется в огромной тени, так что нужен особый прищуренный взгляд и бесшумный полет, чтоб проникнуть сквозь общественный сумрак и не потревожить спящих. Именно этого сейчас недостает тем, кто живет в свободных странах, при свете демократического полдня, когда предметы лишаются теней и укорачиваются до собственных малых размеров. Жизнь утрачивает привкус тайного знания, обрядовой посвященности, известной жителям той полуночной страны. Даже вставая в обыкновенную очередь, они совершают

некий медленный обряд «снятия печатей» и «расколдовывания ступеней», значения которого не понимают рассудком, но искупительный смысл которого переживают изо дня в день.

За время гласности многое сделано для того, чтоб разрушить это священное чувство тайны, разменять ее на мелочь исторических фактов. Но новых фактов набирается не так уж много, и в их чадающем свете тени становятся еще длиннее. Оттого, что Ленин был отчасти евреем и немцем, а к тому же, вероятно, и сифилитиком, загадочность этой фигуры отнюдь не уменьшается – напротив, возрастает. «Всемирному пролетарскому вождю и самому человечному человеку» гораздо сподручнее было совершить революцию в России, чем инородцу-сифилитику, неудачливому адвокату и недалекому журнальному писаке, каким он предстает сегодня. Значит, не собственными заслугами он стал «владыкой полумира», а какой-то другой силой – какой? Чем полнее становится наше знание, тем плотнее оно окружается сумраком мифа. Вполне вероятно, и дальнейшее наше просвещение пойдет на пользу обскурантизму: чем больше фактов мы будем узнавать о прошлом, тем загадочнее оно будет представлять перед нами, именно благодаря своей несводимости к фактам.

Надо сказать, что нынешние разоблачители советских мифов действуют в принципиальной согласии с их создателями. Те утверждали, что никакой тайны нет, а есть могучая воля партии и законы исторического прогресса – и эти тоже утверждают, что никакой мистики нет, а есть кучка фанатиков-революционеров и законы исторической отсталости. Между тем единственная возможность вникнуть в тайну мифа и правдиво его воссоздать – это воссоздать его именно в качестве мифа, сгущая его фантастические черты, а не разжижая историческим правдоподобием. В нынешних достоверных источниках за подбором любопытнейших фактов, объясняющих то один, то другой эпизод советской истории, исчезает то огромное целое, которое эту историю двигало и которое не имеет другого объяснения, чем власть мифа над судьбами людей. Не ежовы и зиновьевы правили страной – их легко заменяли при жизни; и даже не Ленин-Сталин – их заменяли после смерти. Но то, что правило и Лениным, и Сталиным, и правителями поменьше, была власть мифа, еще не объясненного, да, возможно, и не объяснимого – только показуемого.

В этом задача книги – не разоблачать советский миф, сводя его к историческим фактам, а напротив, показать действие мифа, выводя из него как известные, так и неизвестные факты. Сейчас, когда все советское прошлое сводится в плоскость политических ошибок и преступлений, важно не утратить глубину пережитого,

его эзотерический язык, загадку и урок для души. Суть не в том, что большевики мифологизировали свою собственную историю, а в том, что они мифологизировали ее недостаточно, непоследовательно, а подчас и бессознательно – они сами не понимали, до какой степени их поступки определялись железно-несгибаемой и ртутно-рассыпчатой логикой мифа. Они оставили много случайных, наивных объяснений своим поступкам, вроде «учета и контроля» или «развития индустрии», оставаясь в рамках просветительно-материалистического подхода к истории. Но то, что двигало ими, было больше их.

И если в разгар атеистической пропаганды, снося наземные храмы Отцу небесному, они строили лучшее в мире метро, то была ли это просто транспортная система, призванная повысить обслуживание жителей столицы, или это было любовное погружение в сумрак подземного мира и храмовое освящение материнских недр? Если шахтеры вдруг становились самым знатным сословием страны, то объясняется ли это лишь промышленными выгодами «черного золота», или в шахтерах бессознательно возрождалось эзотерическое наследие карбонариев, тайного общества «угольщиков» и «подземников», бросившего вызов белой, солнечной расе господ? Если на сотни километров разливались искусственные моря, пустыми сквозящими зеркалами покрывая плодородные земли, то нет ли здесь таинственной связи со всемогущей ленинской теорией отражения? Если в этический обиход вводилось слово «товарищ», то почему одновременно из экономического обихода исчезало понятие «товара», от которого оно первично произошло, так что гибель товарности ставилась непременно условием всемирного товарищества?¹ Какой хозяйственник, строитель, гидролог или лингвист объяснит нам эти закономерности, если мы не прибегнем к странной, сновидческой, но вместе с тем безумно упрямой и последовательной логике мифа?

Как справедливо отмечал Ролан Барт, «быть может, лучшее оружие против мифа – это, в свою очередь, подвергнуть его мифологизации и создать искусственный миф... Литература содержит несколько великих образцов таких искусственных мифологий. Я назову только «Буvara и Пекюше» Флобера. Это то, что можно назвать экспериментальным мифом, мифом второго порядка».² Ролан Барт имеет в виду исследование-противодейст-

1 Об этом см. в главах «Подземные храмы и угольный век», «Лунные чары и практика отражения», «Теневые науки».

2 Roland Barthes. *Mythologies*. Transl. Anette Lavers. New York: The Noonday Press, 25-th pr., 1991, p. 135.

вие слабоватой, дробной мифологии буржуазного мира. Тем более эта необходимость познавать миф посредством мифа верна по отношению к «социалистической системе», где миф, словно генетический код, определяет все клеточки общественного организма. Здесь, в буквальном смысле, пьют миф и заедают мифом, мифически работают и отдыхают, борются и побеждают, разговаривают и молчат, любят и ненавидят, доносят и казнят. Рационалистическое разоблачение такого всеобъемлющего мифа бьет мимо цели, ибо миф в таком случае оказывается только обманым средством для достижения каких-то внешних ему, вполне прозаических целей – политических, административных, экономических, карьерных. Глубокая поэтическая логика, присущая самому мифу, вообще не воспринимается.

Исследовать же ее, как показал антрополог Леви Стросс в своем фундаментальном труде «Мифологические», нельзя рационально, но только средствами самого мифа, надстраивая над исследуемым мифом новую цепь мыслеобразов – исследовательский миф, «миф о мифологии». То, что Леви Стросс работает с мифологией американских индейцев, а Ролан Барт – с мифологией образованных французов 1950-х годов, несет только ту разницу, что Р. Барт сам принадлежит к той среде, которую изучает. Поэтому он, в отличие от Леви Стросса, не просто анализирует миф, но одновременно синтезирует его в своем сознании. Так, размышляя о «мозге Эйнштейна» (сила знания, склоняющегося в конце концов перед мудростью Бога) или о «мыльных порошках» (воздушность вещества, образ света и счастья) как о мифах современной западной цивилизации, Барт свободно пользуется материалом своего собственного сознания, в котором и находит механизмы порождения мифов.

Все это следует учесть читателю данной книги, которая представляет собой «экспериментальный миф», созданный автором на основе советской мифологии, которую он впитывал с детства, как индеец впитывает предания о Вороне, а европеец – сказания об Эйнштейне. Задача книги – не просто исследовать законы советского мифосложения посредством сложения новых, еще более странных и объемлющих мифов, но и воссоздать таинственную, нелепую прелесть этого ночного бдения в дебрях великосовской державы. Сейчас вряд ли уже интересны давно забытые научные ошибки марксизма – важнее его мифологическая безошибочность, которая смогла построить на земле волшебное царство, где тьма воспринималась как незримый свет по тому же самому закону, по какому классовая борьба ведет к бесклассовому обществу. Меня волнует чувственная сторона величайшей

утопии 20-го века: как устроены органы слуха и зрения людей, готовящихся к светлому преобразению жизни, почему они забываются все глубже во мрак, почему горькое предпочитают сладкому и любят запах дыма?

Именно сейчас, когда рушится насильственная система государственной мифологии, важно сохранить достоинство самого мифа, который больше любых идеологий, поскольку обращается к вечному в человеке. Расколдовать общественную мифологию, сковавшую нас на долгие десятилетия, нельзя опровержением и критикой, – нужно вписать ее в более могучую мифологическую систему, которая отвечает на самые глубинные метафизические потребности человека. В том, что угнетало нас, нужно найти нечто достойное любви и творческого расширения-преодоления. Снять травмы, нанесенные политической мифологией, можно лишь ее превращением в лирическую и космическую мифологию. Такова «психотерапия» и «алхимия» данной книги. Меньше всего она пытается быть аллегорией и сатирой, «разоблачающей» и без того уже стократно разоблаченную советскую империю и коммунистический тоталитаризм. Скорее это философская фэнтези на темы советской жизни, которая заново поэтизируется и мифологизируется как фрагмент какого-то более обширного, космического мифа, которому суждено разрушаться и возрождаться на самых разных стадиях истории.

К этой книге меня привела любовь к совам, странно соединившаяся с моей нелюбовью к стране Советов. Как можно было не любить сов всякому, кто с отрочества бредил философией и читал у Гегеля про «сову Минервы, вылетающую в сумерках», а еще раньше, в детстве, рассматривал в учебниках картинку богини мудрости Афины с совой на шлеме или на жезле? Связав сов и Советы сначала насмешливо и почти каламбурно, я постепенно стал входить в глубь этого корневого созвучия. Разве не была страна Советов, как обратная сторона Земли, покрыта мраком для всего остального мира, и разве не процветала в этом мраке своя тайная мудрость, которая открывается лишь в дебрях ночи? Разве не восходило над этой страной свое «обратное» светило, испуская черное сияние, и разве не посвящалась вся жизнь этих граждан ночи овладению искусством незримого полета, который должен был перенести их в заочные области ангельского бытия? Постепенно в моих вечно спешащих, хмурых, угрюмых, нахолохлившихся согражданах, а также в их вождях с немигающим, пронзительным взглядом для меня проступило нечто неисправимо совье. Я почти научился их любить, как собратьев в поиске мудрости, как слуг неведомой им Афины и последователей непрочитанного

ими Гегеля. Да, все мы в обрамление черных перьев поклоняемся Минерве. Высокая болезнь – тоска по черному бархату космоса, по непроглядной ночи Вселенной, по сокровенному мраку Абсолюта – вдруг явилась мне в моих пасмурных соотечественниках И предстали передо мной в угольных опереньях все эти до боли знакомые лица: величавые, гневные совцы, под которыми крушатся кроны старых дубов; пронирливые, говорливые совейцы, которые выглядывают на горизонте восход нового солнца; незаметные, серенькие трудяги-совки, шныряющие по чащобам в поисках прокорма для своих полуголодных семей и кормящие своим неутомимым трудом недоступных обитателей вершин. Особенно я полюбил совков, у которых тени гуще всего ложатся на отечные, сумрачные лица и которые своей стертостью, призрачностью уже и впрямь напоминают ангелов ночи.

Эзотерика советского мира стала постепенно сливаться с биологией и этологией его крылатых пращуров. Перечитав всю доступную мне литературу о семействе совиных, я понял, какие могучие силы природы были вовлечены в создание теневого царства и его дальнозорких обитателей.³ Так я пришел к выводу о забытых тотемических предках, неуклонно влияющих на судьбу своего «совьего» народа – откликающихся то в звучании его имени, то в особом устройстве ушных раковин или шейных позвонков, то в обрядах ночной совещательной мудрости и хохочущей клятвы. Это совиное племя нельзя путать с историческими народами, вроде России или Китая, в окружении которых оно живет, потому что само оно является доисторическим и сверхисторическим, оно плод тотемической фантазии, которая в своем отрыве от истории вынуждена внедряться в генетические клетки и производить странные химерические образования вроде людей-сов.

«Совиный» миф позволяет построить целую систему сказаний и легенд, которые точнее раскрывают природу тоталитаризма, чем официальные большевистские идеологемы. Например, миф о Незримом Свете, внешне почти не обозначенный в советской идеологии, многое объясняет в таких общеизвестных фактах, как: 1) уверенность в том, что свет будущего воссияет не из яркой, «светской» жизни господствующих сословий, а из жизни «темных, забытых, невежественных» народных масс; 2) будущее само себя наилучшим образом обнаружит, и потому его нельзя, да и не нужно заранее подробно описывать, оно будет прекраснее и вернее любых слов; 3) тем не менее нужно изо

³ Более всего знанием о совах я обязан замечательной книге Ю. Б. Пукинского «Жизнь сов» (изд. Ленинградского университета, 1977), которая по праву считается классикой орнитологии.

всех сил стремиться к этому незримому будущему и приносить ему в жертву все лучшее, что есть в прошлом и настоящем; 4) каждое предыдущее поколение «чуть-чуть» не дожило до того, чтобы увидеть этот свет, тем сильнее нужно напрягать взор каждому последующему поколению. Есть и другие факты, которые не укладываются в официальную идеологию, однако вполне объяснимы данной мифологической моделью «ночного зрения», скажем, почти физическое неприятие и раздражение, которое вызывает в «совьем» царстве видимый свет – малейшие проблески ума, остроумия, настоящей праздничности и веселья, которые тут же именуется показными, «бьющими на эффект», «дешевым прожигательством жизни» и т. п. Для людей-сов подлинный свет кроется в чем-то сером, неразличимом, некой массе землистого цвета, испускающей видимое им одним тусклое, успокоительное сияние.

Итак, предлагаемый очерк можно отнести к разряду «странноведения», комплексного изучения особенностей одной страны, ее этнических и социальных обычаев. Но заметим, что лишь одна многозначительная буква «н» («господин Н.», «город Н.», «степень n») отделяет этот научный жанр от совсем другого, «странноведения», предметом которого является все причудливое и необычное, странность самой человеческой природы. В данном случае законы двух жанров совпадают: именно изучение одной-единственной страны и служит наилучшим введением во всеобщую науку о странностях.

Октябрь 1988

ДРЕВНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАРОДЕ СОВЫ

К утру, когда в предрассветных сумерках обозначаются очертания стоящих вокруг деревьев и лес наполняется птичьим гамом, нелегко поверить в то, что виделось ночью. Но еще сложнее решить, что из всего запечатленного памятью было в действительности. Такова сила ночи.

Но совы — объективная реальность.

Ю. Б. Пукинский. «Жизнь сов»

Первые сведения об этом племени, с незапамятных времен заселявшем обширные области на северо-востоке Евразии, содержатся в записках известного славянского путешественника Михаила Черногорского.

«Совь — северная, полночная страна, обитатели которой привыкли жить в полутьме, приспособили к ней глаза и видят не хуже других — только больше тоскуют. В древности этот народ поклонялся Сове и считал себя в родстве с этой зловещей птицей, откуда и усвоил свое теперешнее название и привычку к сумеречному образу жизни.

Днем эти люди спят или ходят с полузакрытыми глазами, но широко раскрывают их ночью, следуя своей странной пословице «у страха глаза велики». Очевидно, именно страх, вполне объяснимый у обитателей столь диких мест и глухих чащоб, понуждает их бодрствовать в ночное время, чутко прислушиваясь к малейшему шуму. К солнечному свету они подслеповаты и упорно не замечают многих ярко освещенных предметов, зато зрачки их расширяются и становятся пронзительно зоркими, как только попадают в тень.

Они усвоили повадки своего пернатого пращура, потому что испокон веков подражали ему в своих еженощных обрядах, совершенствуясь в искусстве бесшумной охоты и стараясь во всем на него походить. Неожиданно нападать ночью гораздо легче, нежели днем, и стремление оставаться невидимыми до решающего броска и обеспечить удачу промысла, по-видимому, обусловило их странный обычай. Не преследовать жертву, а подкарауливать и внезапно появляться перед нею — отличительный способ их охоты. Это народ подозрительный и беспечный — прирожденный страж границ и обитатель земляных пещер, где они проводят дневные часы».

Так писал Михаил Черногогорский почти тысячу лет назад. Затем следы этого народа надолго теряются в силу его труднодоступности для путешественников. Известно лишь, что под воздействием Руси и благодаря подвигу ее безвестных миссионеров, он принял христианство и забыл о своем мифическом первопредке. Но спустя сотни лет, когда по всему востоку Европы сокрушались православные государства, в его памяти всплыло забытое имя, и он снова стал народом Совы, отчасти вернувшись к языческим нравам, хотя и непохожим уже на древнее язычество.

Ниже предлагается очерк обычаев и верований «совичей», написанный сочувственным иностранцем, который пожелал надолго поселиться среди этого народа и даже предпринял благородные действия в защиту его природного мира. Перед нами проходят разные типы и слои великосовского народа: хранители вершушек властные совцы, наблюдатели незримого света мудрые совейцы, неустанные охотники на мыш рядовые совки... Автор хочет убедить своих прежних соотечественников, что избранный им народ, несмотря на многие странности, занимает необходимое место в семье народов и даже имеет свои неоспоримые преимущества.

Естественно, автору приходится прибегать к той системе понятий, которая сложилась внутри самого совейского общества под влиянием древних тотемических воззрений. Поэтому многие термины и выражения в переводе на наш язык звучат совершенно нелепо и могут вызывать иронию, которой он сам, скорее всего, не подразумевал. Порой даже не совсем понятно, о людях или птицах идет речь.

1. СНЫ И ТЕНИ

Что значит «советь»? – Живая Рань. – Борьба за сновидения. – Легенда о двух душах. – Возрастание страны. – Сумрак и тишина. – Развитие слуха. – Враждебные звуки. – Токованье.

Чтоб разобраться в характере народа, называющего себя великосовским, необходимо начать с родового понятия «советь», которое образовано у них от имени первопредка — Совы. Ни один из известных мне европейских языков не имеет эквивалентов этого понятия, поэтому передать его можно только описательно.

Совение — особое состояние, придающее людям сходство с совами: настроенное и чуткое ожидание, легко переходящее в сон, но сохраняющее готовность к мгновенному пробуждению. Если кратко определить, что делают и в каком состоянии пребывают люди Совы, невозможно обойтись без этого слова, но беда в том, что оно само почти не поддается определению, и в тех случаях, когда необходимо его употребить, мы берем его из совского языка и передаем своими буквами: «советь». Советь — значит находиться в странном состоянии между жизнью и смертью. Глаза открыты, но неподвижны; все видят — но в них ничего не видно; воспринимают внешний мир — но не выражают внутреннего, как будто прикрыты блестящей пленкой. Наружные предметы отражаются в них так ярко и выпукло, что становится немного не по себе от этой холодной зеркальной глади.

Советь — уснувшими глазами широко смотреть на мир, или «уснуть правдиво», как говорят совейцы. Советь — значит спать и бодрствовать одновременно: привычка, развитая долгим пребыванием в полумраке, когда день слабо отличим от ночи, когда плоть бодрствует, а душа спит. Представьте, что вы наработались до изнеможения или напились до умопомрачения и, как говорится, слегка ушли в мир иной, — но сохраняете вместе с тем полную трезвость

и готовность к быстрой реакции на опасность или добычу. Во время совения душа успевает выспаться и отдохнуть, пока тело не спит; а потом этот сторожевой пост принимает душа, давая отдых и разрядку телу. Впрочем, этих слов: «душа», «тело» — здесь почти никто не употребляет, и «совет» — значит просто совет.

Вся жизнь совейцев переиначена на ночной лад, что особенно заметно по сравнению с жаворонками. Это обитатели страны Живая Рань, которая находится по соседству с Великой Совью. Точное название жаворонков — «живоранки», но совейцы переделали это слово на свой манер (у них языки разных семейств), и я буду употреблять его преимущественно в местной транскрипции. В Живой Рани солнце восходит раньше, чем в других странах, и ее жители принимаются за свои дела как раз тогда, когда совейцы впадают в предрассветную дрему.

Совейцы и жаворонки плохо осведомлены друг о друге, потому что одни спят, когда другие бодрствуют. В часы бдения они совершают разведывательные полеты над соседней страной, разглядывая спящих жителей и пытаясь по внешнему виду, по выражению лиц разгадать тайны их неуправляемых сновидений, которые совейцы считают даже более важными, чем государственные тайны. Ведь знать о сопернике то, чего он сам не знает о себе, гораздо важнее, чем знать уже известное ему, пусть и хранимое в тайне. Прочитую слова одного совейца: «сновидение больше, чем государство, потому что само государство создается для того, чтобы люди могли видеть одинаковые сны».

По поводу происхождения совейцев и жаворонков известна следующая легенда (она не входит в книгу «Предания о Великом Сове» и считается апокрифом). У первого человека было две души: спящая и бодрствующая. Одну звали Сова, другую — Жаворонок. Вначале они жили дружно и никогда не расставались. Но однажды Жаворонок улетел, время позднее, пора спать ложиться, а его все нет и нет. Сова все глаза проглядела, выглядывая Жаворонка, весь лес обыскала, а под утро сон ее сморил. Оказывается, Жаворонок за Солнцем летал, подсмотреть, где оно по ночам прячется, да так и не догнал, попался ему по дороге один лучик, он его и подобрал для Совы, чтобы украсить милую подругу. Прилетает наутро и начинает песни распе-

вать, лучиком ей глаза тычет — смотри, дескать, что принес. А Сова его слышать и видеть не хочет, ее за бессонную ночь так разморило, что она целый день проспала, только под вечер проснулась. Так и стали они врозь жить: Жаворонок утром встряхивается ото сна и песню запекает, а Сова прерывает свой полет и спать ложится.

Когда народились от первого человека два племени, одно стало почитать Сову, другое — Жаворонка. Но это не просто две птицы, это две части человеческой души борются за ее счастье. Велики силы той и другой, а победить не могут.

В особенности у совейцев почитается тень, как тот мрак, который не может быть побежден и рассеян даже светом, потому что именно светом он и порождается. Цитирую из Совской Философской Антологии (сокращенно — СОФИА): «Тень — это вечный мрак внутри света. Свет приходит и уходит, а мрак остается. Мир так устроен, что мы не просто можем и хотим, но и обречены одержать победу, ведь на нас работают сами законы природы и истории, определившие преобладание мрака над светом в масштабе всей обозримой Вселенной. Тени все растут, а просветы все сокращаются. В ходе естественного отбора, который впоследствии переходит в исторический отбор, совейцы неизменно будут расширять свои владения, потому что наиболее приспособлены к теневым условиям жизни, которые в свою очередь наиболее распространены во Вселенной. Вот почему теория Противоречия, которая была относительно верной в условиях относительного равенства мрака и света, теперь безнадежно устарела и должна уступить место теории Самодостаточности. Совеицам навсегда и во веки веков достаточно своей собственной территории, потому что сама эта территория неуклонно расширяется. Даже если мы изо всех сил будем удерживаться в собственных границах, сами границы поведут нас за собой. В условиях наступающего сумрака жители окружающих стран вынуждены будут сами становиться народом Совы или необратимо вырождаться и вымирать. Сова — это будущее человечества, потому что сумрак — это будущее Вселенной. Согласно научным прогнозам, Солнце в обозримом будущем должно истощить энергию своего свечения, и тогда Сова раскинет свои гигантские крылья

над всей нашей звездной системой». (Из книги Г. У. «Часы остановятся в полночь»).

Так же, как мрак, почитается и тишина, в которой бесшумно передвигаются совичи благодаря своему мягкому, рыхлому оперению. Тишина и мрак считаются идеальными условиями благосостояния страны, и тот, кто больше молчит и наименее заметен, считается образцом сумеречного гражданства. При этом любовь ко мраку вовсе не исключает таких качеств, как пронизательность и бдительность, всесторонне развитые и поощряемые в Великой Сови. «Мрак тем и прекрасен, что позволяет видеть, не будучи видимым. Нельзя овладеть одним искусством, не совершенствуясь в другом. Незаметность и пристальность дополняют друг друга так же, как неделима сама тьма, скрывающая нас от всего мира и открывающая нам весь мир» (Г. Ы. «К понятию двойной добродетели»).

2. АНГЕЛЫ

Религия совичей. – Ангеловедение. – Отношение к схоластике. – Спор о великом Сове. – Каталоги встреч. – Методы изучения. – Судьбы встречников. – Природа ангелов.

Что касается религии совичей, то они решительно отвергают существование Бога, зато признают существование ангелов, наделенных такими же крыльями, только еще более бесшумными. В особенности ангелы почитаются за то, что достигли желаемого для каждого совича: все видят, оставаясь совершенно невидимыми. Полет ангелов, не оставляющий ни единого следа в виде оброненного пера, упавшего листа или даже тени, тщательно изучается совичами и преподается совиатам. Они вырастают заранее убежденные в том, что идеал незримого и неслышного полета может осуществиться: все зависит от собственной работоспособности. «Будь бесшумен, незрим и всезряч, как ангел», — этот девиз каждый сович выучивает и запоминает с детства, им открывается азбука.

Ангеловедение составляет у совичей не просто одну из дисциплин, но науку наук, объясняющую основы мирозда-

ния и пути переустройства. Считается, что ангелы имеют вещественную природу, но вещественность их такова, что путем работы над собой достигла высшей стадии вестничества. Труды средневековых богословов, в той части, которая касается ангелов, изучаются в великосовских учебных заведениях, но из них изымается то, что имеет какое-либо отношение к Богу.

Основным недостатком схоластики считается то, что она трактовала ангелов как только умопостигаемые существа, совершенно недооценивая роль физической подготовки и игнорируя вопросы летной тактики и стратегии. «Общаться с ангелами в уме — это бесплодное и даже вредное занятие, отвлекающее от самого полета. Следует готовить себя к общению с ангелами, развивая мускулатуру крыла, отращивая кроющие перья и совершенствуя качество рулевых и маховых, размягчая контурное оперение и разглаживая несущие поверхности. Особое значение имеет изгиб опахал, который позволяет ангелам совершенно скрадывать шорохи, возникающие от трения перьев друг о друга. Ангела может встретить только тот, кто окажется с ним в одной летной фигуре, а сложность этой фигуры такова, что требует упорнейшей тренировки на протяжении всей жизни. Некоторые совичи, достигшие наивысшего мастерства, встречали ангелов только перед самой смертью, и не все из них, к сожалению, успевали поделиться своими драгоценными наблюдениями с органами по изучению и освоению ангельского полета» (из «Введения в практическое ангеловедение» для учащихся седьмого класса).

Средневековые учения считаются только подготовительной стадией в развитии науки об ангелах, которая должна была выйти за рамки утопических представлений, чтобы стать на твердую почву повседневной практики. «В конечном счете важно не то, как часто в своей жизни ты видел ангелов. Вопрос в том, что ты сам сделал для того, чтобы стать похожим на них. Если они хоть в какой-то степени похожи на нас, значит, мы должны еще больше походить на них. Общение с ангелами — вдохновляющий урок для ангелизации всего мира, у которого по мере потемнения будут вырастать крылья и обостряться зор. Но начать каждый должен с себя. Не будет преувеличением сказать, что каж-

дый сович — это временно спустившийся на землю ангел. Не случайно в «Преданиях о Великом Сове», любимой книге нашего народа, упоминается о том, что «Он сошел с неба и был любим среди дочерей Земли» (там же).

Следует заметить, что в академических кругах приведенная фраза из «Преданий» неоднократно порождала настоящие бури, из которых вихрем разлетались окровавленные перья. Некоторые ученые вняли призыву к «обновлению науки и освобождению от схоластики, как древней, так и современной» («Токования со старого дуба», т. 56)¹. Было выдвинуто предположение, что данную фразу можно новаторски истолковать в контексте одного древнего памятника. Там сказано: «...Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал...»

Мысль ученых была такова: древнейший литературный памятник прекрасно подтверждает сложившееся в нашей науке представление, что Великий Сова был ангелом, или, на примитивном языке мифологии, «сыном Божиим». Есть все основания гордиться и нашими предками — это «сильные, издревле славные люди».

Ученые были награждены знаком Серебряного Пера, но потом разыгрался скандал. Знаатоки из Живой Рани, подтвердив мнение «глубокоуважаемых коллег из полночной страны», что Великий Сова принадлежал к тем самым «сынам Божиим», авторитетно прояснили, что имеются в виду падшие ангелы, которые вошли в преступный союз с женщинами земли и научили их волшебству и заклинаниям. Так что у совков и совейцев — язвительно заключали специалисты — есть все основания гордиться своим происхождением от ангела тьмы, одного из тех согрешивших, которых, по словам памятника, «Бог не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». В каком месте, то есть в узах адского мрака, и пребывают связанные его потомки, пока не свершится над ними суд Света.

1 У полигамных народов, которых совичи пренебрежительно называют «глухарями» и «тетерями», слово «токовать» имеет один смысл «привлекать партнера для брачной случки». У совичей это слово имеет несколько значений: 1) биологическое — привлекать симпатию; 2) физическое — заряжать энергией; 3) психологическое — доверительно разговаривать. Все три значения, сливаясь воедино, приобретают самый высокий, политический смысл: «привлекать симпатию масс и заряжать их энергией посредством доверительного разговора».

Кавалеры знака Серебряного Пера немедленно подверглись общественному осуждению и были изгнаны из Академии как прокравшиеся в большую науку злостные недоучки, посмевшие сопоставить любимый в народе памятник народной мудрости, т. е. «Предания о Великом Сове», с писаниями древнейших апостолов невежества.

Зато еще большим почетом стали пользоваться среди совичей практики ангеловедения, так называемые «встречники» — те, кому хотя бы раз в жизни довелось встретиться с ангелом. Их имена серебряными буквами заносятся в «Книгу встреч» — главную мыслехранительную книгу государства, которая помещается в специально построенном для нее торжественном зале. Если «Предания о Великом Сове» считаются книгой народа, то «Книга встреч» — это памятник государства самому себе, своей жизнестроительной вере. На самом деле это не книга, а реестр, состоящий из нескольких сотен томов, размещенных в шкафах из лучших дубовых пород. Специальный штат сотрудников каталогизирует ангелов по иерархиям, атрибутам, предикатам, субстанциям, так что генеральный каталог содержит сумму основных сведений об окружающем мире, поскольку те или иные его свойства так или иначе соотносятся с определенными разновидностями ангелов. Впрочем, этим же трудом обобщения и систематизации занимаются десятки институтов и архивов в разных уголках страны, которые проводят также регистрацию «встреч местного значения».

Ангеловедение рассматривается как методологический ключ ко всем другим дисциплинам, позволяющий добиться безошибочных результатов в каждой из них. На этот счет существует множество крылатых выражений... Вообще слово «окрылять» в ходу у совичей, например, «ваши слова меня окрыляют» или «ее взгляд окрылил его». Иногда в том же, но чуть ослабленном значении употребляется слово «оперять» (доценту принято говорить: «ваша похвала меня оперяет», а профессору — «окрыляет»). Каждое из таких «окрылений» и «оперений» считается ступенью приближения к ангелам и поэтому в конечном счете исходит от них самих.

Крылатые высказывания помогают совичу в любом явлении усмотреть его летучее существо, его возможную крылатость и скрытое вестничество. «Если не можешь уз-

реть ангела, столь похожего на тебя, то как постигнешь вещь, столь на тебя не похожую?», — гласит одно изречение. Подобие считается главным методом познания, и, усмотрев в каком-либо предмете его сходство с крылатым существом или высказыванием, процесс познания полагают в основном завершенным. Поскольку ангелов существует великое множество, то соотнесение предмета с одним из них требует огромной эрудиции и прилежного труда, чем отличаются ученые совицы, перерывающие массу реестров, прежде чем вынесут определенное заключение о своем предмете, найдя ему подходящую аналогию в мире ангелов. Но прежде этих занятий их посылают в глубь тьмы, на встречу с ангелами, после чего они получают доступ в науку как прошедшие главное жизненное испытание.

Поскольку встреча с ангелом считается явлением редким и исключительным, никто не осмеливается встречать его чаще, чем пять или шесть раз, чтобы не прослыть лжецом, хвастуном и не получить аннуляцию предыдущих встреч. Это самый страшный момент в жизни прославленного героя, что-то вроде гражданской казни, когда за очередной победный рапорт вдруг аннулируются разом все его прежние встречи и он навсегда выбывает из разряда встречников, лишаясь возможности видеть ангелов впредь. Поэтому любители таких частых встреч предпочитают о них помалкивать и под большим секретом вести интимные записи, которые иногда, после их смерти, через наследников, попадают в государственный архив. Но принимают их туда крайне неохотно, чтобы не поощрять праздных бумагомарателей, уклоняющихся от трудов полетов.

Насчет природы ангелов совицы придерживаются различных мнений, хотя это и не мешает им совпадать в главном — в любви и поклонении перед этими «совицами будущего», как их называют в учебниках. Некоторые совицы, по преимуществу совейцы,² считают, что ангелы — это совицы, достигшие вершин летного мастерства и духовного совершенства, и приводят примеры того, как некоторые уважаемые совицы исчезали без всяких достоверных известий о смерти, — видимо, они превращались в ангелов, и даже указывается место за кромкой Леса — «Большая поляна»,

2 Подробнее о разных классах совичей см. в главе «Социальные группы».

где обычно происходит, невидимо от собратьев, это превращение. Другие совичи, в основном совки, верят, что ангелы — это совичи, прилетающие с других планет, чтобы незримо и неслышно передать землянам свой волнующий опыт бесшумного существования. Третьи — совцы — выдвигают версию, что ангелы — это просто идеальные проекции, определяющие поступательное развитие велико-совского племени, и что в этих образах совичи поклоняются лучшим и бессмертным качествам своего народа. Как бы то ни было, никто не разделяет старинных мифологических воззрений на ангелов как слуг Господних, окружающих Его престол и поющих Ему осанну. Впрочем, пациентами такого рода набиты сумасшедшие дома, и психиатры выработали специальный диагноз-клише для их регистрации: «ангельский бред».

Некоторым особо выдающимся совичам еще при жизни присваивают звание ангелов, точнее, ангелов-провозвестников». Поскольку «ангел», собственно, и означает «вестник», то второе слово постепенно выпало из титула, употребляясь лишь в особенно торжественных церемониях. Правда, иные граждане (из совейцев) считают это прижизненное отличие неприличным и настаивают, чтобы столь высокое звание присваивалось только после смерти. «Только делаясь невидимым и неслышимым, человек начинает по-настоящему походить на ангела, а значит, и может быть удостоен столь обязывающего звания» (Х. Ы. «Честь по доблести»).

3. ЭТИКА ТЬМЫ И ВЕЛИКИЙ ЭРОС

**Инициалы и титулы. — «Тьма». — Четыре Постулата. —
Слухи о разврате. — Бесшумные собрания. — Сладострастие
очереди. — Вдвоем с Ночью. — Целомудрие и чувственность. —
Сович из совцов. — Великое чучело.**

У совичей принято подписывать научные и художественные труды только инициалами — из скромности и уважения к заслугам предшественников. Как объяснил мне один сович, «мы — только буквы на их языке. Именами нам

еще предстоит стать — если так захотят наши потомки». Действительно, полное имя у них — это само по себе звание, которое трудно заслужить, и если «ангелами-проводниками» в редких случаях нарекают еще при жизни, то полного имени писатель и особенно ученый удостоивается только после смерти. Подавляющее большинство умерших остаются совершенно неизвестными, их инициалы, в которых преобладают одни и те же буквы Г., Х., У., Ы. (самые распространенные в советском языке), так никогда и не расшифровываются, и в каждой области постоянно упоминается только 10-12 имен, а порой всего 3-4 имени. «Появиться из мрака забвения достоин только тот, кто ничем не омрачил этот мрак», — таково установочное суждение комиссии, раз в году воскрешающей забытые имена в порядке строгой очереди, растянувшейся уже лет на сто вперед, а в области литературы — почти на тысячелетие...

В общем, их знаменитости гораздо более знамениты, а безвестности гораздо более безвестны, чем принято у нас. Первые знамениты потому, что представляют сразу весь народ, а вторые безвестны потому, что являются только представителями своего народа.

Сокращение имен или их замена почетными званиями — это лишь одна из многих особенностей этики великосовского общества. Ее важнейшее понятие — «тьма», но уже не природное, а социальное явление, вмещающее порядка десяти тысяч граждан — ровно столько, чтобы, вместе собравшись, они могли образовать тьму в ясный солнечный день. Когда сович говорит: «тьма народу», «тьма тьмущая» или «тьма тем», то это не условные выражения, а точные знаки его социально-этического мышления. Кстати, социальные и этические категории здесь выступают в неразрывной взаимосвязи, ибо первые подчеркивают обязанность, возложенную тьмой на индивида, а вторые — его ответственность за исполнение этой обязанности.

Этика совичей образует систему четко действующих постулатов, из которых первый гласит: «не возлетать выше», второй: «не залетать дальше», третий: «не подлетать ближе». Такими их запоминают со школьной скамьи и уже не требуют дальнейших объяснений, так что лишь от одного престарелого профессора мне удалось узнать продолжение этих фраз. «Не возлетай выше рядом летящего товари-

ща», «не залетай дальше границ своей тьмы», «не подлетай ближе к источнику света». Первая добродетель именуется равенством, вторая — братством, третья — свободой.

Об этике совичей ходят разные досужие толки, в том числе о будто бы имеющихся у них случаях разврата, чему способствует обстановка тьмы и полной сокрытости от глаз других народов. На книжном рынке Живой Рани даже распространяются низкопробные романчики «о страстных похождениях и ночных блужданиях в стране Сов», о неких «обрядах группового полета по снижающейся траектории» и т. п. Наглые выдумщики утверждают, будто у сов все позволено: «раз-два — вот и сова!»

Подобные слухи совершенно ошибочны. Там, где иностранцу издали мерещится оргия, происходит всего на всего организационное мероприятие. Совичи сидят, тесно прижавшись к друг другу, действует их правило «не просвечивай!» — и, по своему обычаю, почти бесшумно и единогласно обсуждают назревшие вопросы. Естественно, что тихое собрание лиц разного пола в условиях Ночи может показаться постороннему наблюдателю каким-то секретным и неприлично-изоощренным действием.

Зарубежные специалисты изобрели для него даже особый термин — «оральный секс», что по-совейски переводится как «словоблудие». Будто бы ротовые отверстия устроены так, что испытывают половое наслаждение при произнесении слов, лишенных смысла и даже звука, особенно в присутствии лиц противоположного пола. К сожалению, в Великой Сове не проводятся исследования в области сексуальности, которые могли бы дать достойный отпор этим измышлениям. Совичи считают свой народ слишком целомудренным, чтобы подвергать его нескромному изучению. Стремление быть невидимым и неслышимым окутывает их жизнь покровом такой тайны, что многие супруги никогда не видят обнаженными своих супругов и тем более не позволяют притронуться к себе каким-то бесстыдным приборам.

Однако это вовсе не означает, что совичам недоступны эротические улады и что они малочувствительны к удовольствиям такого рода. Наоборот, мне подчас кажется, что вся их жизнь представляет собой сплошную эротическую уладу. Она протекает в той обстановке интимности, так сказать, погашенных свечей, которую жители полдневных

стран могут позволить себе только в редкие, специально отведенные часы. Достаточно пройтись по улицам их городов и сел, чтобы ощутить эту льнущую покорность и ласку самого воздуха, открывающего входы в укромнейшие уголки пространства.

Один зарубежный специалист, постоянно проживающий в их стране, как-то признался мне, что его здесь привлекает. «У меня такое чувство, будто я, да и все мы находимся в каком-то огромном лоне, которое все глубже и глубже затягивает нас в себя, возбуждая до потери рассудка. Все мы постоянно тремся и разжигаемся друг о друга, — отсюда это сладострастие общности, теплота слияния и потребность в разрядке. В этой стране мне не нужны никакие женщины, а дома я на них разоряюсь. Например, очередь — это такое гибкое и теплое тело, что, подходя к прилавку, я уже с трудом сдерживаю себя. Всем нашим магазинам, которые переполнены товарами, но не заселены покупателями, я предпочитаю очередь. От ее напрягшегося основания, от первых щекочущих прикосновений, до утолщенного, раскаленного передела, где ее сотрясают взрывы пенистого восторга, — вся она чувственно подрагивает, эластично растягивается и сокращается, заставляя вспомнить лучшие мгновения моей жизни».

По правде говоря, насчет очередей я не могу с ним согласиться, он пылкий человек, южанин. И все-таки в главном он прав: Великая Сось своим распахнутым сумеречным простором создает ощущение глубокой, всезахватывающей интимности. Вот широко популярная песня на слова поэта, почти удостоенного звания Ангела Целомудрия при жизни, но так и не расшифрованного после смерти:

*О воздух неизвестности,
Чарующий полет!
Как будто в этой местности
Меня невеста ждет. (Припев, дважды)*

*И если улыбаются
Сквозь мрак ее глаза,
То, значит, начинается
Полночная гроза. (Припев, дважды)*

*И эту ласку темную
Нет силы превозмочь.
На всю страну огромную
Со мною только Ночь. (Припев, дважды) ¹*

В полдневных странах, думается мне, пошли по неправильному пути, начав кампанию срывания всяческих покровов. Все выставлено, обнажено, а в результате притупляются те самые чувства, которые по замыслу должны были обостряться. Правители великой сови избрали более мудрое решение: они настолько окутали эту область мраком, что вызвали почти непрерывающийся зуд и сладостное возбуждение в своих гражданах, которые по этой самой причине все время чего-то ждут и устремлены исключительно в будущее. Им постоянно чудится ниспадание каких-то одежд, сияние какого-то небывалого света... Психологически это вполне объяснимо: если одежда при свете дня сорвана с тела, то само тело, выставленное наружу и лишенное тайны, превращается в род нижней одежды. Если же, наоборот, одежда постоянно одета во что-то еще более верхнее, туго застегнута, облечена сумраком, то сама эта прикровенная ткань горячит и дразнит, как ждущее впотьмах тело.

Вот почему совичи и совейки столь же застенчивы, сколь и чувственны: одно влечет за собой другое. Великий Эрос, разлитый по всей стране, избавляет каждого от необходимости предпринимать какие-то мелкие эротические усилия. Все происходит естественно, силою самих вещей, и никто не возьмется определить, крайнее это бесстыдство или тончайшее целомудрие. Впрочем, я не знаток таких вещей, хотя иногда не могу не поддаться их очарованию.

Сович любит тесные сборки еще и потому, что из этой скученности сама собой прорастает некая тьма, в ко-

¹ Последние строки этого стихотворения, ставшего любимой народной песней, известны и в другом варианте:

*Люблю я ласку темную,
Один брожу всю Ночь.
Теперь со мной встречается
Земли родная дочь.*

«Земли родная дочь» – устойчивый эпитет к «Ночи». Поэт хочет сказать, что раньше он по ночам встречался со своими возлюбленными, а теперь, кроме самой Ночи, ему не нужны ничьи ласки.

торой можно дополнительно укрыться. Когда собравшихся много, каждый еще менее заметен и слышен, чем поодиночке, и можно спокойно побыть наедине с собой. К тому же выполняется одна из заповедей, начертанных на многих плакатах: «Живи бесшумно! Живи незримо!» Автором этих слов считается основоположник всей социально-этической системы Великой Сова — Великий Сович, происшедший из рода совцов. Ему принадлежат и другие общественные лозунги: «Целомудрие — это ответственность!», «Крылья даны народу, чтобы улетать и прилетать».

Если Великий Сова — легендарный пернатый пращур совичей, то Великий Сович — лицо строго историческое, хотя уже и успевшее войти в легенду. Великий Сович славился своим неподвижным взглядом и огромным размахом крыл. После смерти он был наречен Ангелом Битвы. Заметим, что другие великие совичи добивались подобных званий еще при жизни (Ангел Силы, Ангел Правды, Ангел Покоя), но зато ни один из них не был удостоен сооружения Великого Чучела, которым потомки воздали дань любимому Совичу после его кончины. Великое Чучело, в точности повторяя облик Совича из совцов (так назвал его поэт, сам после смерти нареченный Громким Ангелом), превосходит его в десятикратном размере и возвышается на кроне одного из старейших дубов в середине Лесостоянки.

4. ДИСЦИПЛИНА ВЗГЛЯДА И СЛУХА

Уроки и праздники Взгляда. — Пособие по выпрямлению. — Ясновидение Совича из Совцов. — Приглядка. — Борьба с разноглядством. — Прицельная перестрелка. — Двойное значение «слуха». — Система слухов и система взглядов. — Асимметрия ушей и самозарождение слухов. — Буриданов осел и слуховое двоение. — Гипотезы о бесшумности.

Одна крылатая фраза Совича из совцов облетела весь мир: «Неподвижный зрачок видит главное, а подвижный — только частности». Дисциплина Взгляда вообще занимает

огромное место в мировоззрении совичей и практике повседневной жизни. Существуют преподаватели Взгляда, проводятся уроки Взгляда. На праздниках Взгляда собравшиеся совичи в течение всей праздничной ночи вперяют зрачки в одну общую цель, сверяя единство взглядов. Предметом зрелищного празднества, которое проводится на Лесостоянке, является, как правило, сломанный сучок или срубленный пень, на котором легче фиксируется зрачок, как на ясно укороченной части леса.

В дисциплине Взгляда самое главное — достижение прямоты, чтобы зрачок был обращен к предмету строго перпендикулярно и буравил его насквозь. Иначе, как учит «Пособие по выпрямлению взгляда», предмет предстанет в искаженно-освещенном виде. Правило формулируется так:

«Предмет должен находиться на прямой, соединяющей глаз с наиболее сильным в данной обстановке источником света, и тем самым полностью перекрывать его. Небольшой ореол вокруг предмета допустим только как знак его собственной непроницаемости. Образно выражаясь, предмет должен быть мушкой, направляющей попадание взгляда в источник света с целью его затемнить. Помни: глаз — это оружие, взгляд — выстрел, предмет — мушка, луч мишень, свет — враг» (из «Собрания нормативных актов по технике Взгляда»).

Совичи отмечают, что младенец, как правило, рождается с блуждающим, рассеянным взглядом и что последующее созревание организма ведет к его затвердению.

«Неподвижность взгляда — мера духовного развития и гражданской зрелости. Даже святое для нас понятие «совения» связано с непоколебимой твердостью взгляда — пусть враги и называют это «застылостью». Исследования ученых показали, что подвижность глаза находится в обратном отношении к его величине. По мере расширения зрачок обозревает сразу Все, доступное зрению, и уже не нуждается в скольжении. Подвижность глазных мышц — рудиментарный признак, который был изжит великосовским племенем в ходе исторического отбора», — так пишет Ангел Покоя в своей широко известной книге «Взгляд на теорию и практику Взгляда» — и переходит к конкретным рекомендациям, опираясь на памятные каждому совичу исторические примеры:

«Как солдат умеет пользоваться оружием и всегда держит его наготове, умей пользоваться взглядом и всегда держи свет на прицеле. Старайся не смыкать век, даже когда спишь. Умей спать и тогда, когда спать невозможно. Великий Сович видел во время сна окружающие предметы столь же ясно, как и образы собственных сновидений, и обладал редчайшим даром их совмещения. То, что он делал с ними во сне, становилось явью. То, что он делал с ними в яви, снова погружалось в сон».

На своих собраниях и заседаниях совичи упорно тренируют взгляд, дружно направляя его друг на друга. Самый волнующий момент этого мероприятия называется «приглядкой», или «кто кого?» У кого взгляд окажется прямее, тот выходит победителем. Способность смотреть как можно дольше, не мигая и в упор — отличительный признак руководящего лица. Единственным критерием заслуги в великосовском обществе, при полном равенстве членов, является твердость взгляда. Шаткость, напротив, вызывает подозрение. Вообще подозрительность, как взгляд снизу вверх, считается лучшим методом осуществления демократического контроля снизу доверху. Сравнительно недавно увидел свет Манифест Подозрительных — организации, вот уже несколько десятилетий возглавляющей работу по выпрямлению взглядов. Приведем отрывки из параграфа 2 «Хуже слепоты» и параграфа 4 «Бой разноглядству».

«Если взгляд показывает что-то одно, то заглядываться на другое — значит размывать четкость взгляда и в результате не видеть ничего. Тот, кто меняет свои взгляды, ничем не лучше слепца. Нет, он хуже слепца, потому что думает, что хорошо видит, и шагает в пропасть, тогда как слепец не сделает шагу без поводыря. В крайнем случае слепец опасен лишь для себя, а разногледец — для всех окружающих, потому что видит вместо одного верного пути множество неверных путей. Что поделаешь, у него даже один глаз видит иначе, чем другой. Таковы ложные утверждения очередной «бинокулярной» псевдотеории, подброшенной нам из все еще Живой, но уже не заживающей Рани. Если он не может согласовать одного своего взгляда с другим, то как он согласует их со взглядами всех остальных, со Взглядом самого общества?»

К разноглядцам, число которых стремительно убывает в обратной пропорции к многочисленности их взглядов, принимаются разнообразные меры: от надевания желтой повязки (цвета ненавистного солнца) на один глаз для выпрямления оставшегося взгляда — до хирургической операции по удалению век, чтобы никто не мог прятать и отводить глаза.

Важным понятием в сфере международных отношений является «прицельная перестрелка». Совичи отрицательно относятся к применению какого-либо оружия, кроме идейного, и ведут борьбу посредством выражения своих взглядов. На данном поприще, именуемом «видеологией», действует много отменных бойцов с обеих сторон. Но поскольку жаворонки, за которыми в совском обществе закрепилась насмешливая кличка «живые раны» (порой добавляют: «в умирающем теле»), — поскольку жаворонки развили у себя принципиально другую дисциплину прерывного и объемного видения, постольку в борьбе за долговечность взгляда, как правило, побеждают совичи. Они по праву гордятся тем, что являются самым немигающим народом в мире. Жаворонки спасаются только тем, что отводят глаза и заживают свои живые раны каким-то влажным составом, рецепт которого совичам неизвестен, поскольку их глазная ткань не нуждается в расслаблении и слезные железы у них отсутствуют, как и у их лесных сородичей.

Наряду с дисциплиной взгляда, важнейшим предметом является дисциплина Слуха. Поскольку вся сознательная жизнь совичей протекает в сумерках, слух у них изощрился до такой степени, что в своем движении опережает даже событие. Слух у совичей — это способность не только воспринимать звуковые волны, но также их распространять. Слухи возникают раньше, чем успевают добраться до чьего-нибудь слуха: удивительное свойство языка, закрепляющее за словом два столь несходных значения. Очевидно, в сумерках очень трудно различить, откуда звук исходит и куда доходит, поэтому выходное и приемное устройство названы одинаково. Слух — и то, что передается, и то, что воспринимается, значит, в мире слухов нет ничего сказанного, что не было бы услышано. Слова, сказанные в одном месте, немедленно отзываются в другом. Все,

что говорит совиц, он говорит как бы непосредственно в ухо самого народа.

И все-таки просто слышать здесь считается недостаточным — необходимо еще и слушать. Данное от природы — превратить в искусство и ремесло. Ремесло слушания почитается одним из главнейших, и будущие его профессионалы, с развитым слуховым анализатором, отбираются и готовятся в специальных учебных заведениях, после чего поступают на работу в институты Слуха, созданные по всей стране. Задача институтов двойная, в соответствии с двузначностью самого слова: во-первых, собирать и, во-вторых, распространять слухи, которым придается особая роль в развитии прямой, непосредственной демократии. В этой связи выдвинут лозунг: «Сознания всех граждан, объединяйтесь!»

Система слухов не сразу сформировалась в дополнение к системе взглядов. Лишь по мере того, как Взгляд выпрямлялся, устремляясь в будущее, вся кривизна окружающего пространства постепенно заполнялась Слухом. Ангел Тайны первым усмотрел, что система взглядов, выработанная и примененная Ангелом Битвы, представляет правильную геометрическую решетку, ячейки которой нуждаются в эластичном наполнении. Он выдвинул тезис: «Зрение должно обрести плотью Слуха».

Суть в том, что методы этих дисциплин сугубо противоположны. Главное достоинство взгляда — быть прямым, а достоинство слуха — быть косвенным, т. е. полученным от иного лица, чем то, кого он касается. Слух совершает как бы вращательное движение вокруг человека, высвечивая его с разных сторон. Взгляд движется в упор, а слух в обход. Если бы не боковой маневр слуха, вряд ли был бы успешен передовой прорыв взгляда. Рецепторы совицей устроены так, что взглядом воспринимается передняя дислокация предметов, а слухом — задняя и боковая. На фронте судьба общества решалась прямою Взгляда, и одновременно в тылу единство общества обеспечивалось разветвленностью Слуха.

Отношения к представителям этих двух профессий не совсем одинаково. Деятели Взгляда положено слушать, а деятелей Слуха — не видеть. Но на практике все получается наоборот: Видящих далеко вперед почти никто не слуша-

ет, а Слушающих все подряд стараются постоянно иметь в виду. Виденье и слышанье как бы дополняют друг друга в общественном мнении.

Следует отметить, что в ходе развития совского общества, по мере расширения его сумрачных областей и всеобщего поступательного потемнения Космоса, доля Слуха в общественном сознании стала значительно опережать долю Видения. Вполне естественно, что в условиях скудеющего освещения зрение уступает ведущее место другим органам чувств. Принцип параллелизма в органах биологического и социального устройства был завещан совичам Ангелом Будущего, открывшим закон самосохранения функций на различных уровнях материи. Органы идеологии — глаза государства, органы полиции — руки государства, а есть и такие органы, которые являются его ушами.

Слуховая информация все более превышала по количеству и качеству визуальную: то, что можно было услышать, негде было увидеть. Поле Взгляда все сужалось и выпрямлялось, а поле Слуха расширялось и искривлялось. И даже специальный отряд ухоглазых, вытренированный по решению Ангела Тайны для ликвидации этого разрыва, не принес желаемых результатов: ночь сгущалась, слухи разрастались и набирали силу. В конце концов для взглядов осталось место только в особо освещенных участках будущего, а почти все настоящее отошло в ведомство Слуха. Поэтому при встрече совичи обычно спрашивают друг у друга: «Что слышно?», а о будущем отзываются неопределенно: «Поживем — увидим».

Интенсивность слуховой жизни у совичей объясняется не только внешними условиями, но и выработанным в ходе биосоциальной эволюции особым строением соответствующих органов. Барабанные перепонки у них заметно увеличены, а слуховые отверстия расположены ассиметрично, причем у совцов эта ассиметрия захватывает даже кости черепа. Слуховые проходы представляют собой как бы две воронки, оси которых расходятся под разными углами и в разных направлениях. Это позволяет по-разному воспринимать даже одни и те же источники информации, мгновенно воссоздавая в слухе весь объем ее возможных звучаний. Попадая в одну ушную раковину, слухи отдаются в другой совершенно иными сигналами. Простейший при-

мер. Если одно ухо слышит: «устроен торжественный прием по случаю заключения договора», то другое: «вступили в сговор, закончив дело пьянкой и кутежом». Между тем источник информации один, но его вибрация благодаря ушной асимметрии достигает столь значительных величин, что может быть распечатана в двух совершенно различных текстах. Очевидно, это двоение слуха определило двоемыслие и некоторых порождающих механизмов самого языка, что уже было продемонстрировано нами на примере слова «слух». Если одно слово слышится двояко, то рано или поздно в самом языке за ним закрепляется два значения. Точно так же в слове «диктатура» совейцам слышится одновременно ужас и ликование, топот озверелой толпы и поступь торжествующих масс. А слово «свобода», выстраданное прозрениями величайших гениев человечества, вызывает горькое презрение, когда по слуховоду его доносит, сладко воркуя и распевая, вражеский голос.

Каждое слуховое отверстие передает свою особую информацию, которую мозг затем распоряжается по своему усмотрению. Но иногда он оказывается в положении Буриданова осла, которому равно далеко и близко до двух одинаково сочных охапок сена. Тогда мозг начинает страдать и метаться между двумя равными возможностями, и следствием этого, как ни печально признать, бывает равнодушие совичей ко всякой информации вообще. Поскольку слово «свобода» или «диктатура» значит все что угодно, оно вообще перестает что-либо значить. Буриданов осел издыхает от голода, так и не сумев отдать предпочтения ни одной из охапок.

Раздвоение слуха составляет, по мнению совичей, великое их преимущество перед другими народами, которые разбредаются, кто направо, кто налево, не умея сложить из двух направлений один правильный путь. Объективно доказанная, но скрытая в глухих недрах мозга функциональная асимметрия двух полушарий у совейцев прямо выходит наружу, определяя строение и соответствующих государственных органов, которые левых поправляют справа, а правых — слева. «Социализация мозговой асимметрии», как они называют этот процесс, непременно приводит к построению «абсолютно гармоничного социума», мыслящего так, как мыслит весь человек: двумя полушариями. Из

двоения слухов рождается прямота взгляда, из смыкания флангов — стремительный фронтальный бросок.

Наконец, о поразительном качестве слухов: хотя они и состоят из звуковых волн, но передвигаются совершенно бесшумно. Никто не может зафиксировать местонахождение слуха в определенном месте и в определенное время, не говоря уже о том, чтобы точно указать его источник. Биологи выдвинули версию о самозарождении слухов в головах совицей, что хорошо согласуется с врожденной асимметрией их слухового аппарата, но противоречит явной повторяемости и однообразию слухов, которые устойчиво воспроизводятся по всей территории страны. Физики занялись составом великосовского воздуха и пришли к выводу, что он обладает особыми резонирующими свойствами, так что способен порождать слухи сам по себе, вследствие случайного наложения голосов двух граждан, каждый из которых беседует сам с собой. О дальнейшей судьбе этих гипотез, вначале оживленно обсуждавшихся в прессе, ничего не известно, кроме того, что ЦИЦ (Центральный Институт Циркуляции) и ТСС (Творческий Союз Слуховедов) одновременно выступили с официальным опровержением обеих.

Лично я склоняюсь к третьей: бесшумность слухов — выражение их косвенного характера, без чего они не могли бы блестяще играть свою роль Политерапии (политической, психологической, медицинской и всякой другой). Слух — это беззвучный голос каждого из нас. Это то, что мы говорим, когда не говорим. Это удивительно гармонический посредник между голосом и молчанием. Вот почему в этой, как иногда утверждают, политически больной стране так много психически здоровых людей. У нас совершенно извращают проблему, когда сетуют, что, дескать, там, за звукозаборником, запрещают говорить. Наоборот, здесь говорят больше, чем в какой-либо другой стране, но остаются при этом неслышными. Слух примерно так же мягко и неназойливо скрадывает голос, как облако — свет. Люди, живущие под палящими лучами «Солнца Свободы», пожалуй, тоже не отказались бы от легкого облачного покрова над своей головой — но они избрали другую участь, и голос каждого звучит отчетливо, словно обведенный тишиной. Здесь же, благодаря слухам, все говорят и молчат одновременно.

5. ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ

Желудок и цивилизация. – Мысль в охоте за мышью. – Бесперебойное сердце. – Правило левой руки. – Мера рабочего времени. –левой!левой!левой! – Право и множество прав. – Право на смерть. – Свобода от себя. – Потребности и способности. – Юстиция как физиология. – Временные законы. – Средняя середина. – Уголовники и углекопы. – Закон о сновидениях. – Проекторные зоны и города. – Ум сумасшедших. – Масштабность и пунктуальность. – А мир катил налево.

Наряду со Взглядом и Слухом, своим отличительным достоинством совици считают просто Чутье, органами которого являются желудок и сердце. В условиях нарастающей тьмы значение этих внутренних органов непрерывно возрастает — глаз не видит и ухо не слышит того, что дано пережить сердцем и переварить желудком. «Поменьше тонких чувств — побольше точного чутья!» — раздаются поощрительные призывы с вершины старого дуба (тт. 29, 37, 48, 68 и др.)

Желудок для совици — главное чудо природы, а цивилизация — главное достижение желудка, его вторичная по времени и первичная по значению производная. Через желудок природа переходит на высшую стадию развития, ибо сама культура изначально есть не что иное, как возделывание лесных угодий для полного угождения желудку, — искусственный ускоритель естественного круговращения веществ в природе. Благодаря культуре круговращение достигает скорости человеческой мысли, которая определяется как «незримая мышь, скользящая по древу знания». Первоначально совици мысль пускалась вдогонку за мышью, пытаясь ее настичь, и в этих соблазнительных гонках развила необычайную силу ускорения, научившись преодолевать любые физические преграды. Само слово «мысль» в совском языке производится от «мышь», как любимого быстрого существа. Собственно, мысль воспринимается в великосовском обществе как самая быстрая на свете, прекрасно дрессированная мышь, способная мгновенно ускользнуть в невидимый лаз и за один миг обежать вселенную. Поимка такой мышь требует наибольшего искус-

ства и сулит особое наслаждение, так что вся система культурных мероприятий иногда называется у совичей «Праздником охоты за мыслью». Этим увлекательным промыслом занимается наперегонки вся мыслящая верхушка общества, которая не упустит ни единой юркой мыслишки, мелькнувшей из-под старого книжного переплета, чтобы тут же не закогтить ее на лету.

Поскольку мысль рассматривается как вторичный, но ценный пищевой продукт, желудок совичей всегда остается полным, ведь главный принцип их питания — комплексность: травка смешивается с мышинным хвостиком, посыпается песочком и заворачивается в страничку из самой мудрой книги. На тему, какие продукты лучше всего сочетаются с какими идеями, написано множество диссертаций по диетологии. Великосовская «Книга Объединений» — это собрание афоризмов, которые чередуются с подробными рецептами таких блюд, как «Кремнистый ростбиф», «Хвост под лопухами», «Распаренная щетина», «Крем из коры», «Слюна по-птичьи», «Колбасные коготки», «Крысиный фарш», «Диетическое мыло», «Пузырь на дрожжах» и т. п. Завершается книга афоризмом: «Мозг и желудок — два общающихся сосуда».

С огромным уважением совичи относятся к сердцу, которое всегда работает в полной темноте и, в отличие от желудка, не требует внешней подкормки. Сердце ставится в пример прочим органам, даже государственным, которые должны действовать во мраке и стучать непрерывно. Совичи считают, что когда мир погрузится в полную тьму, сердца, не волнующие внешними впечатлениями, будут биться у всех одинаково и сольются в одно сердце, стучащее уже само по себе, без помощи других органов. Модель этого огромного сердца выставлена у них в Музее Сердечной Дружбы, всегда наглухо закрытом для посетителей с целью сохранения полного мрака. Посетители слушают его буханье снаружи, подходя по очереди и прижимая ухо к вибрирующей стене. Ходят слухи, что главные часы, показывающие время всей стране, работают не от механизма, а именно от этого бесперебойного сердца, задающего истории ритм любовного ускорения в будущее.

Совичи решительно выступают против любых проявлений симметрии в духовной и общественной жизни, тре-

буя, чтобы она неуклонно и последовательно смещалась налево, в сторону сердца. «Середина находится слева», — учит их жизненная мудрость. Испокон веков они приобретали левой рукой знание о своей продолжающейся жизни, — тьма и тишь стояла такая, что трудно было осязать другое отличие от смерти, чем эти упорные толчки сердца. Так и вся жизнь постепенно сместилась у них в левую сторону, отзываясь на единственно верный стук и призыв, который не умолкал даже в самой глубокой Ночи. Засыпали они всегда с рукой на сердце, чтобы оно будило их усилием беспокойства, — иначе можно было проспать собственную смерть. Иные же хотели пробуждаться от сердцебиений, вызванных сновидениями, чтобы наяву поймать ускользающее очарование.

По приказу сердца совичи голосуют, по указке сердца определяют свой путь на карте страны, которая сама является сердцем мира. Центр их существования всегда лежит слева от центра. На всех исторических путях Великой Сови висят ясные указатели: «Объезд налево», «Левостороннее движение», «Левый поворот» и т. д. Сохранились кое-где и старые указатели, на которых для наглядности малограмотным изображена сама развилка: стрелка направо — «Полный провал», стрелка налево — «Славный привал». Однако с тех пор совичи повзрослели и разобрались, что к чему и откуда куда, поэтому правая стрелка на новых указателях отсутствует, а в условиях бездорожья рекомендуется применять правило левой руки. Большой палец, оттопыренный от ладони, сам восклицает: «Во!» (сразу предлог и междометие) и направляет в нужную сторону жестом двойного грамматического восторга.

Как считают совичи, высшего мастерства в работе может достигнуть только тот, кто работает левой рукой. Поскольку единственной мерой стоимости вещей является вложенное в них рабочее время, то левой рукой оказалось удобнее вкладывать в них больше времени, чем правой. Общественное богатство страны при этом растет даже быстрее, чем заработная плата. Впервые принцип левостороннего рукоделия был применен Великим Мастером в кузнечном деле: он подковал железную блоху, да так, что она тут же потеряла свое последнее живое свойство прыгучести, зато обрела устойчивость, столь редкую в маленьком па-

разите. Почин мастера был подхвачен, железного запаса хватило и на перековку самих тружеников, и тот, кто считался самым подкованным, получал в руки жезл для руководства левосторонним движением, в котором каждый шаг должен был начинаться с левой ноги. Ангеллевой Руки применил новый метод для организации трудовых армий, по заявкам которых целый день голосоусилитель передавал «Марш левых бригад»:

*Стальной изливаясь лавой,
Весь мир подкуем нашей верой!
Кто там работает правой?
Левой!
Левой!
Левой!*

Количество рабочего времени, вложенного в левосторонний труд, превысило время существования видимой Вселенной и перешло в масштабы невидимой, чтобы обеспечить всю предстоящую космогонию резервом рабочего времени и задать ей встречный план и опережающий темп.

Опыт, однако, показал, что само по себе левостороннее движение всегда приводит точно к исходной точке и должно быть дополнено системой права. И здесь совичи за короткий срок добились поразительных успехов, создав вместо одного права множество прав, удовлетворяющих все необходимые запросы граждан. Права как отдельной дисциплины здесь не существует, потому что невозможно, да и не нужно сводить все богатство разнообразных прав в узкий горизонт одного права, как это делают ограниченные правовые режимы других стран. Недаром народная пословица учит: «От одного света падает много теней».

Там, где право одно на всех, ведется борьба за правильное его употребление. Здесь, где прав у каждого вдосталь, нет никакой борьбы, напротив, люди охотно уступают друг другу лишние права. За определенную плату можно приобрести право на бесплатное пользование чем угодно: от талона на свет до приморской виллы с лунной дорожкой у входа. Иные готовы бесплатно уступать свои права и даже приплачивать. Например, право на достойную смерть здесь безвозмездно преподносят ко дню совершеннолетия, когда чело-

век становится сознательным гражданином и ему вручается от имени государства ценный подарок, запоминающийся на всю жизнь. Считается, что в этот день сама природа наделяет юношу правом производить себе подобных, и государство, чтобы не отстать от природы и соревнуясь с ней в щедрости, утешает своего созревшего гражданина его личной незаменимостью в кругу будущих подобий, торжественно вручая право отдать свою неповторимую жизнь, чтобы никто и никогда не смог ее больше повторить.

«Природа в этот день признает твою множимость, а государство утверждает твою единственность. Пройдет время, и появятся на свет подобные тебе, но нет никого, кто вместо тебя мог бы отдать свою жизнь — уже сегодня, сейчас. На счету у природы много таких, как ты, на счету у государства ты один», — так говорится в торжественном акте, сопровождающем вручение подарка. День совершеннолетия завершается вечером поминовения павших и ночной присягой.

Есть и другие права, которыми совичи готовы даже поделиться с гражданами других стран, потому что свои сограждане уже наделены ими в равной мере: правом на всеобщую химизацию, мелиорацию, радиоактивацию и т. д. О многих правах совичи еще даже и не подозревают, так как в этой стране действует принцип Тайного Права: подобно незримому благодетелю, который свои лучшие дары преподносит втайне от подопечного, подкладывая ночью под подушку, — так и государство оповещает граждан не обо всем, что для них делает.

Но и открыто провозглашенных прав здесь более, чем достаточно: право жить, право дышать, право ходить, право смотреть и многие, многие другие. Причем все эти права также обеспечивает государство, а не природа, которая в любой момент может уклониться от обязательств, — государство же не уклоняется, встречно возлагая их на своих граждан. Например, закон N4 гласит: «Государство обеспечивает всем гражданам право на жизнь, одновременно возлагая на них обязанность умереть ради блага всех граждан.» Закон N116: «Государство обеспечивает всем своим гражданам право дышать, обязуясь довести состояние воздушной среды до необходимой кондиции и одновременно возлагая на граждан обязанность обеспечивать себя воздушными кондиционером.» Закон N414: «Государство

обеспечивает всех своих граждан правом передвигаться, одновременно возлагая обязанность обеспечивать себя в случае необходимости средствами передвижения».

Исходным образцом и прецедентом для всех этих законов считается мысль Ангела Будущего: «Общество не может освободить себя, не освободив себя вплоть до самого последнего человека». Его сподвижник, Ангел Дружбы, выразил ту же мысль в другой формулировке: «Общество не может освободить своих граждан, пока сами граждане не освободят от себя общество». Из этого рационального зерна выросла тенистая роща законов, общий смысл которых сводится к тому, что высшая свобода — это свобода от самого себя.

Другой свод законов образовался вокруг понятия «потребность», которое было определено как «неосознанная способность». «Если ты хочешь, значит, уже можешь. В обществе развитого сознания потребности ничем не будут отличаться от способностей, и каждый захочет только того, что сможет, и сможет все, что захочет», — так оттеняет этот вопрос преамбула «Постоянных законов», а в резюме решение вопроса разбито на две исторические ступени: «Общество неограниченно будет удовлетворять потребности каждого индивида, как только он ограничит их подлинно общественными потребностями. Мы выступаем за нормальное, то есть ограниченное лишь самими потребностями, удовлетворение всех и всяких потребностей. Отсюда следует, что на первой фазе развития общества необходимо ограничить потребности настолько, чтобы на второй фазе неограниченно их удовлетворять».

Определяя право как неосознанную обязанность, а способность как осознанную потребность, совичи мечтают о таком времени, когда не нужен будет никакой аппарат принуждения, поскольку все обязанности войдут в плоть и кровь каждого гражданина и превратятся в естественную потребность здорового организма. Тогда юстиция сольется с физиологией, и все правоохранительные органы найдут себе место в человеческом теле: печени, легких, желудке, а главный из них будет через свои клапаны и желудочки гнать здоровую кровь по всему организму. Сердце каждого гражданина станет законодательным, исполнительным и карательным органом государства и только инфарктами

будет напоминать об имеющихся правонарушениях, а вся область права окончательно передвинется влево.

Но пока государству приходится содержать карательные органы за свой собственный счет, а не за счет слабой сердечно-сосудистой системы граждан, которая не справилась бы с задачей превратить все общественные обязанности в свою здоровую потребность. Множество учреждений помогают работе внутренних органов и поэтому сами называются «внутренними органами» — ведь у них нет другой цели, чем здоровое кровообращение и желчеотделение, здоровое дыхание и секреция в масштабах всего государства.

Мера наказания у совичей зависит от меры нарушения, а эта последняя — от меры нерушимости самого закона. Большинство законов носит временный характер, и когда истекает срок их действия, устанавливаются прямо противоположные законы, чтобы от такого чередования выигрывала справедливость и общество в целом, а не одна его своекорыстная часть. Если пять лет действует закон о взыскании излишков, то последующие пять лет — закон о возмещении недостатков. Если в один промежуток времени карается превышение скорости, то в другой занижение. Таким образом достигается средняя скорость и средняя состоятельность у всех слоев населения.

Если же установить сразу закон о средней скорости или среднем достатке, то, во-первых, ослабнет борьба с беззаконием, а, во-вторых, этим законом воспользуются средние слои населения и получат преимущество перед остальными, что опять-таки приведет к несправедливости. Ведь государство живет и мучится не ради блага каких-то отдельных своих слоев, пусть даже и средних, а ради такого усреднения общества, чтобы даже средние из него не выделялись. Поэтому лучше ограничивать сначала вышесредних, а потом нижесредних, чтобы среднесредние не знали, с какой стороны они будут ограничены в условиях неоговоренного размера превышений-занижений. Закон обычно прихватывает средних сразу с двух сторон, и сверху, и снизу, чтобы у них не осталось никаких иллюзий о своих привилегиях. Собственно «золотая середина» из общества вымывается, потому что одни оказываются «выше нижних» и подпадают под закон о превышении, другие —

«ниже высших» и подпадают под закон о занижении. Когда в середине никого не останется, тогда и восторжествует сама Средняя Середина, от которой все одинаково далеки и лишены ее преимуществ. Средняя Середина отсекает все излишки и восполняет все недостатки и не позволяет, как обоюдоострый меч, никому прикоснуться к себе. Как указано в третьем юридическом параграфе, «средние законы пишутся не для средних, чтобы они могли ими воспользоваться, а для вышесредних и низесредних, чтобы их излишками и недостатками могло воспользоваться государство для укрепления самой Середины».

Вот почему постоянных законов в Великой Сове совсем немного, ведь при длительном действии ими может воспользоваться какая-то одна группа граждан, поставив себя вне временных законов. А то, что временно, должно и под законы подпадать временные. Граждане меняются, а государство остается, поэтому и гражданские законы меняются, а государственные остаются. Постоянными считаются только те, которые относятся к деятельности самого государства и охраняют его интересы.

Самым страшным преступлением в этой стране считается то, что направлено против сновидений. Первый постоянный закон гласит: «Государство охраняет сны своих граждан, а граждане охраняют покой своего государства, взаимно обеспечивая высокое качество и неограниченную длительность сновидений». Преждевременное пробуждение наказывается последующим лишением сна от одной неполной до одной полной человеческой жизни. По отношению к государству любое пробуждение считается преждевременным: если для граждан чередуется сон и явь, ночь и день, то государство никогда не должно проснуться, потому что оно никогда не засыпало и его явь есть его сон. Преступник убежден и пытается убедить других, что явь государства отличается от его снов, что между ними нет прямого совпадения, что есть какая-то другая явь, чем этот сон, и есть какой-то другой сон, чем эта явь. Наказание точно соответствует преступлению: виновного, докопавшегося до другой яви, чем сон, лишают сна, и тогда сама явь постепенно превращается для него в сплошной сон. Его никоим образом не мучат, а предоставляют точное доказательство от противного: помещают в тенеизолятор с неперегорающим

источником света, где он не может заснуть, когда захочет, и засыпает, когда не может, и никогда не видит ничего, кроме света, и никогда не думает ни о чем, кроме тьмы, что и требовалось доказать.

Кстати, на нужды тенеизоляторов расходуется основные запасы электроэнергии в стране, так что даже карманный фонарик, не говоря уж о карманном лазере, является здесь большим дефицитом. Зато по ночам видны ярко освещенные окна изоляторов и прожекторы над массовыми исправительно-просветительными зонами. В последнее время, в связи с нехваткой энергии, многие промышленные предприятия и населенные пункты стали передвигаться поближе к этим сверкающим зонам, чтобы пользоваться от них источником дополнительного освещения. Эти города и села так и называются «прожекторными» — еще и потому, что они сначала проектируются в уме строителей, а потом уже населяются людьми по специальному призыву: «Лучу прожектора — ответ души».

Вообще уровень государственного самосознания совицей настолько высок, что именно на этой почве они чаще всего сходят с ума. Однажды на улице ко мне, как к иностранцу, подошел оборванный старик и задал вопрос, на который не мог получить ответа у своих соотечественников: почему национализация — это хорошо, а национализм — это плохо? Я смешался и не знал, что ответить, а он горестно махнул рукой и побрел дальше. Уже потом мне подумалось, что национализация объединяет вещи, а национализм — людей; но почему люди одной нации должны быть менее сплоченными, чем вещи, — это и в самом деле загадка. Сам факт, что у местных сумасшедших — государственный ум, неоднократно подтверждался мне как психиатрами, так и политологами.

Но государственное сознание не всегда является правовым: если первому свойственна масштабность, то второму — пунктуальность, и насколько совицы выигрывают в первом, настолько проигрывают во втором. Я никогда не встречал таких масштабных людей, мыслящих не минутами, а часами, не сутками, а месяцами. Если договориться о свидании в пять часов, то спокойно можно прийти в восемь на следующий день — совиц все равно опоздает, или же ты опоздаешь, потому что он приходил в три позавчера. Если

тебе обещают подготовить материалы через месяц, тебе не следует ждать их раньше, чем через год. Даже через маленький промежуток времени у них протекает сама история, раздвигая его до некоего периода, если не эпохи. Государственные люди, привыкшие к масштабам страны, оказываются наименее пунктуальными, потому, наверное, и встречаются они чаще с ангелами, которые обладают даром всеприсутствия, чем с людьми, с которыми так легко разминуться.

Столь же раздвинутый масштаб восприятия и у рядовых совичей, — наверное, потому, что их с ранних лет учат управлять государством. Договариваться с ними о чем-то — лишний труд: без договоров они делают больше того, что делают по договору, как будто закрепленность в слове вызывает у них желание раскрепоститься.

Сумрак скрадывает все расстояния, разглаживает все складки, и порой мне кажется, что само время здесь течет иначе, чем у нас, наплывами, растяжками, и нужно изобрести другие, жидкие стрелки, чтобы его измерить. Мои внутренние часы ходят в такт с наручными, а у них за час может пройти и два часа, и десять минут, в зависимости от того, ждут они кого-то или их кто-то ждет. Сердце тикает то чаще, то реже, сбивая с толку часовой механизм.

Вот почему система права так и не смогла уравновесить левостороннее движение их страны. Теперь они все чаще ставят заградительные знаки там, где раньше торчал палец левой руки, — и все равно сердце показывает налево, все поворачивает и уплывает налево. Правая рука, действующая от имени закона, не может осилить левую, которая привыкла быть заводилой в труде и бою и голосует по прямому мандату сердца. Слово «левый» у них означает не только «противоправный», но и «свой», «родной», «горячо любимый», «нежно хранимый», «тайно обожаемый». Все лучшее становится левым: товары, услуги, художники, предприятия, машины, гостиницы, — а на правой стороне остаются только те, кто не сумел сбить с рук своих прав и все дожидается покупателя, чтобы перебежать поскорее на левую сторону. По мнению большинства, путь направо всегда приводит к катастрофе, к нарушению законов всемирно-исторического движения:

*И жизнь была напрасна,
И смерть была нелепа:
Я повернул направо,
А мир катил налево.*

Что поделывать! Левшами их воспитывают с детства, и эта привычка, как выяснилось, с возрастом не проходит. Единственное, чего я не могу понять, — почему их Великий Мастер вложил все свое искусство в самое мелкое насекомое? Что общего между этим вдохновенным тружеником и жалчайшим паразитом? И почему в результате столь тонкого труда, осуществленного левой рукой под пристрельным руководством невооруженного взгляда, блоха утратила даже игривость бесполезных прыжков и стала паразитом вдвойне?

6. РАССВЕТ И РАЙ

Орган власти – рассвет. – Учение о Незримом Свете. – Полночное голосование. – «Солночь». – Полдневный праздник. – Заточка клювов. – Власть и управление. – Орган управления – рай. – Райский ком и природа комковатости.

Органы политической власти у совичей именуются «рассветами». Основа учения такова: если совичи умеют жить и видеть во мраке, то каково же будет, когда по всей стране займется заря новой жизни! Если даже ночью совичи бодрствуют, то насколько они превзойдут бодростью другие народы, когда для них настанет свой День, когда свое Солнце взойдет для них из-за края земли!

Дело в том, что совичи вовсе не являются противниками Света как такового, — они ждут его и знают, что пока еще находятся во тьме. Рассветы — органы власти, которые должны приблизить наступление этого Света, стать его опережающими вестниками, радостными бликами на верхушках деревьев. Но это должен быть совсем другой Свет, чем светит остальному миру, чем тот, от которого рано пробуждаются жаворонки, торопливо взвываясь в выгоревшее небо. Этот подкрашенный свет с грязноватыми примесями

желтка или синьки — всего лишь ложное подобие того, настоящего Света, который должен быть совершенно прозрачен, а потому и незрим. Свет, которого ждут совичи, должен быть еще большей тьмой, чем сама тьма, и поэтому родиться из нее по закону творческой противоположности. Совичи уже многого достигли на пути к этому Свету, научившись проникать глазами непроницаемый для других мрак. Но когда эта полная и совершенная проницаемость станет свойством самого мрака, тогда и настанет повсюду проникающий Свет. Его не будет видно — но в нем будет видно. Он не может насытить — но в нем не будет голода. Потребности не будут утолены — но сами собой превратятся в способности, и тот, кто захочет получать, станет давать. Отпадет необходимость в вещах — и тогда каждая из них станет Вестью. Мир станет незрим, как чистое стекло. И тогда они встретят братьев по этому незримому свету, увидят лицом к лицу ангелов и станут обитать с ними вместе — незримиными властелинами мира.

На своих «рассветах», в играющих бликах вершин, некоторые совичи уже общаются с ангелами и получают от них вести о скором и окончательном пришествии Света, о первых лучах его, брызнувших из-за края земли, но заслоняемых стаей резвящихся жаворонков. И тогда опять начинается долгая, томительная переглядка — перестрелка. Ведь даже один жаворонок может заслонить спасительный луч. Живая Рань должна стать мертвой — только тогда позднее Солнце взойдет.

В чем именно заключается деятельность рассветов, мне выяснить так и не удалось. И вовсе не потому, что она как-то особенно засекречена, — наоборот, она у всех на виду, с ней может познакомиться любой желающий, да и по сути каждый гражданин к ней причастен. Доступ к Незримому Свету всем открыт. Но у совичей повсюду так: чем некое явление ближе к Незримому Свету, тем более оно само становится незримым. Конечно, только для тех, кто не обладает взглядом самих совичей, способным проникать мрак. Поэтому все мои попытки разглядеть, как именно работают рассветы, заканчивались безуспешно: что-то незримое маячило перед глазами и куда-то уплывало, приводя в отчаяние. Зато в голове вертелся веселый местный мотив:

*Пусть глаз уловлен в сети
Оттенков и примет,
Но вечно сердцу светит
Невидимого свет.*

Правда, есть одно мероприятие, которое всегда можно если не увидеть, то услышать, потому что оно совершается каждую полночь и будит всех жителей Леса, имеющих обыкновение спать в это время (впрочем, местные дневные жители, «поденщики», как их называют, уже привыкли и не просыпаются). Это мероприятие называется голосованием, но совицы подают свои голоса вовсе не за тех или иных лиц, избираемых на должность. «Дело в том, — объяснил мне один рассветчик, — что все представители нашего народа одинаково достойны его представлять, и выбор между ними не играет существенной роли — гораздо важнее то дело, которому они служат. Поэтому мы голосуем за дело — это первая отличительная черта нашей гласности, которая по праву называется «деловой». Во-вторых, гласность является «повсеместной», поскольку в голосовании принимают участие абсолютно все жители нашей страны. Если человек болен, то он в порядке общей очереди получает домашний голосоусилитель, который позволяет его голосу звучать наравне со всеми остальными по громкоговорителю, установленному на главной Лесостоянке. Голоса больных и здоровых, стариков и детей, мужчин и женщин сливаются в один хор, где все группы населения представлены точно в той пропорции, какая существует по всей стране, поскольку каждый подает голос непосредственно от себя. Это придает нашей гласности ту же прямоту, какая свойственна нашим взглядам. Наконец, еще одна отличительная черта, которая более всего поражает гостей, — это повседневность нашей гласности. Голосование проводится не раз в несколько лет — ведь за это время многое может измениться в настроении избирателей, — а каждую ночь, так что мы имеем возможность постоянно подтверждать и закреплять свой выбор. Итак, деловая, повсеместная, прямая и повседневная гласность — такова основа нашей общественной жизни, неуклонно темнеющей накануне полного рассвета».

Совичи не любят длинных речей во время голосования, считая, что сущность всех требований и пожеланий должна быть выражена одним словом. Такого слова, однако, не нашлось в языке их предков, и была созвана Чрезвычайная Комиссия по Учреждению Слова, в состав которой вошли лучшие ученые, писатели, деятели Рассветов. Как сказано в заключительном акте, «Комиссия по крупницам намыла нужное народу Слово из всех сокровищ нашего языка». Этим Словом, которое звучит теперь каждую полночь по главному громкоговорителю страны, оказалось **Солночь**. В нем слились воедино самое закланное и самое священное понятие каждого совича: Солнце и Ночь. Как объясняет тот же акт, «Солночь — это солнце, поглощенное ночью, и это ночь, испускающая незримое Солнце. Дневное Солнце заходит в вечной ночи — и в этот же миг из ночи восходит незакатное Солнце».

Эмблемой Солночи служит черный лохматый диск, испускающий черные лучи, а девизом — «Свет из Тьмы». Следует признать, что это слово звучит очень выразительно, возглашаемое нараспев одним слитным миллионноустым хором. «Солночь! Солночь! Солночь!» — несется в двенадцать часов ночи из главного Громкоговорителя, размноженного тысячами усилителей по всей стране, и говорят, что очень чуткие совичи умеют различать свой собственный голос, возвращаемый им по слуховоду в тот самый момент, когда они голосуют за Солночь. Некоторые чуть не плачут от умиления, жалея о том, что их железы лишены слез, другие твердеют лицевыми дисками, но никого этот личный слышимый вклад в общий голос не оставляет равнодушным.

Раз в год по всей Великой Сове проводится праздник полднего голосования, чтобы к нему могли прислушаться зарубежные поденщики, которые спят по ночам. Совичи заранее готовятся к этому торжеству и отсыпаются несколько дней подряд, чтобы в назначенный день уже не сомкнуть глаз. Ровно в полдень, под клики «Солночь! Солночь!», траурные процессии с черными погашенными факелами отправляются в самые дальние уголки страны, чтобы оттуда начать свое шествие вдоль границы. С другой стороны границы, шаг в шаг и грудь в грудь, шествуют группы друзей Великой Сове, с белыми факелами, чадающими черным пламенем. Смысл этого обряда — скорбно-тор-

жественный: дружески оплакиваются враги Великой Сови, гибель которых неизбежна в тот час, когда Белое Солнце погаснет, а Черное Солнце взойдет. После обхода границы, уже в самом центре страны, начинается веселая часть праздника. Совичи расходятся парами, а иногда тройками, четверками и, вставши в кружок, меткими ударами затачивают друг другу клювы. Попутно, благодаря сближению, происходят пристальные приглядки: у кого взгляд оказывается прямее, тот приглядывает подчиненного и уводит его за собой наставлять в будущей работе. В заключение веселого праздника все совичи опять собираются вместе и исполняют танец мышей, предварительно приделав себе маленькие хвостики и забавно ими помахивая. Они также выбирают Короля и Королеву мышей и разыгрывают сцены взятия их неприступного замка и казни его жестоких владельцев, после чего весь освобожденный мышиный народ, отцепив хвостики, радостно разлетается по домам, чтобы успеть к обычному голосованию в полночь.

Однажды я спросил у рассветчика, державшего в руках эмблему Солночи, что станет с обычным, «ранним» Солнцем, когда их «позднее» Солнце взойдет. Он ответил поэтическими строками Ангела Нашего Света: «Бледнеет, словно свечка, когда пылает печка. Бледнеет, как лампада, пред полыханьем ада». Оно не погаснет — зачем? — но просто побледнеет и исчезнет как отдельная светимость.

Органы управления у совичей отличаются от органов власти — размещаются несколько ниже, но действуют более решительно. Суть в том, что власть принадлежит народу, а управляют только отдельные лица. Такое решение мне представляется очень разумным: поскольку власть находится целиком в руках народа, то эти руки, занятые властью, уже не могут дойти ни до какого другого дела. Приходится действовать тому, кто согласен частично отказаться от власти, чтобы управлять. Эта жертва стоит вознаграждения: тот, кто не так управился, имеет право объяснить, что власти у него не было, поскольку она в руках народа. Выходит, что народ всегда прав, поскольку ничем не управляет, но и управляющий не виноват, потому что ни над чем не властен. Поэтому между органами власти и органами управления нет никаких обидных подозрений и царит полное единодушие насчет взаимной правоты.

Орган управления у совейцев называется «рай».

О происхождении этого слова существует поверье, что его занесли с далеких островов райские птицы, у которых «рай» — название буквально всего: и сердца, и леса, и прошлого, и будущего — они других слов и не знают. Поскольку живут эти птицы в огромном отдалении, безвредно блистая там своими чудными перьями, то решили, что в названии этом ничего опасного нет. Потом выяснилось, что райские птицы одной расы с жаворонками, из той же ничтожной воробьиной породы, но обратного ходу имени не было, народ с ним сроднился. Теперь имеется в виду, что Рай — это не где-то там на островах или за облаками и даже не на вершинах дубов, где восседают совцы, а здесь, в непосредственной близости к труженикам подлесков и кустарников. В своих раях они получают все необходимое для повседневного существования, прежде всего светозаменители слабого накала, которые в силу сумрачных условий и до появления настоящего незримого света пользуются повышенным спросом, как предмет постоянного дефицита.

«Рай» в языке совичей — не только слово, но и приставка ко всем местным органам управления, указующая на райские плоды их всевозможной деятельности. Райплод, райовощ, райком, райкорм, райторг, райздрав... Номенклатура райских изделий, как подчеркивают совичи во время экскурсии, гораздо шире, чем в примитивном древнем Эдеме, где различалось только два сорта плодов.

7. НАУКА УМИРАТЬ

Мрак во мраке. – Автоматика. – «Будь солдатом, все равно умрешь!» – Подготовка к сознательной смерти. – Работа с противником. – Помощь природе. – «За что?» и «от чего?» – Товарищ Смерть. – Победа – это битва сегодня.

В этой сумрачной стране воинская служба составляет область особого мрака. Иностранцам рекомендуется время от времени проявлять к ней интерес, потому что иначе решат, что они закрытые шпионы, и вышлют из страны. Если

же изредка допытываться о кое-каких секретах, то они сочтут тебя открытым шпионом, а поскольку все иностранцы таковы, оставят в покое. Я порою спрашиваю своих местных знакомых о том, о сем, но путаюсь в вопросах, а они как назло отвечают чересчур подробно и доверительно. Все равно я почти ничего не запомнил, кроме слова «автоматический», которое они очень часто употребляют, потому что любят, когда все само делается: автоматическое крыло, автоматический глаз, автоматическая голова. Самое сильное их оружие, насколько я понял, также называется «автоматом», и всеми своими техническими свойствами оно обязано Прямому Взгляду, как бы отлитому в металле. И там и здесь — мушка, наводка, спуск, мишень.

В местах обучения и наибольшего скопления молодежи у них висит доходчивый лозунг. «Будь солдатом, все равно умрешь!» Эти же слова всякая мать повторяет своему сыну с рождения, чтобы мысль действовала **автоматически**.

Однако ничего плохого в эти слова не вкладывают, а просто видоизменяют известное изречение Сократа: «философствовать — значит готовиться к смерти». Дело в том, что основная цель их армии — это формирование жизненной мудрости, которая невозможна без подготовки к смерти. Вот их и ставят порой в смертельно опасные положения, но только для того, чтобы сделать сознательными людьми, а вовсе не из желания причинить увечье. Армия будет и тогда, когда никаких врагов уже не останется, ведь главный враг человека — его собственная глупость и ослепленность яркими предметами, а смерть учит правильно закрывать глаза.

Смерти придается в этом обществе большой гуманистический смысл. Поскольку человек все равно обречен умереть, как и всякий червяк, то важен не сам этот факт, а тот смысл, какой он приобретает в сознании самого человека и всего общества. Конечно, и обычный, невоенный человек может своей смертью принести пользу, например, спасти кого-нибудь из огня или отдать свою кровь для раненого. Но это бывает редко — чаще человек живет со смыслом, а умирает совсем бессмысленно, и тем самым бросает подозрительный свет на всю прежнюю, достойно прожитую жизнь.

Вот армия и выручает человека из такой нелепой ситуации, когда смерть оказывается недостойной жизни. Все, что развивается, должно развиваться поступательно, и, значит, смерть должна быть высшей, наиболее осмысленной и героической точкой в жизни человека — иначе жизнь похожа на деградацию, упадок, капитуляцию перед превосходящей силой абсурда. Армия — единственное учреждение в стране, призванное обеспечивать осмысленную смерть гражданам, а значит, и достойную, поступательно прожитую жизнь. Нравственный потенциал страны измеряется ее армией — количеством граждан, умирающих достойно, не просто так, а за **что-то**.

Как записано в постоянном законе №2, «государство обеспечивает своим гражданам равно достойную смерть, обязуясь донести до их сознания, за что они умирают». Именно армия — тот единственный институт, который позволяет не просто провозгласить, но обеспечить на практике выполнение этого закона. В других странах воинская повинность не является всеобщей и обязательной, — значит, некоторые люди лишаются своего законного права осмысленно умереть, и тем самым грубо попираются элементарные права человека. Как сообщает статистический справочник, «в нашей стране наибольший процент осмысленных смертей».

Что касается женщин, то известно, что смысл жизни у них опосредованный: только зарождать жизнь, а уж дело мужчин — достойно подводить ее к концу. Женщины здесь особенно почитаются как матери будущих солдат, через смерть которых они сами могут выполнить высшую задачу своей жизни. Поэтому женщины не служат в великосовской армии, хотя в конечном итоге и служат все той же цели: обеспечить каждому достойный конец, чего не могло бы быть, если бы не было начала — здорового и счастливого детства. Ведь больной человек не в состоянии осмысленно отдать свою жизнь — как можно отдать то, что не сумел вполне получить или что само валится из рук?

Будущему воину приходится пройти множество специальных предметов, потому что смерть — наука не простая, совсем не то, что биология. Жизнь делается сама собой, а смерть человек учится причинять, желая довести ее

до полного автоматизма, чтобы по воле человека она могла причиняться всюду, где есть жизнь: на море и на суше, в воздухе и под землей, в разряде бактерий и в масштабе галактик. Для этого в армиях проходятся в точности те же предметы, что и в университетах, но только наоборот, в аспекте применения не к жизни, а к смерти. При этом общепризнано, что даже врага смерть должна не только ослаблять, но и умудрять. В уставе записано: «Каждый противник имеет право на осознание своей смерти». Иначе, как объясняет комментарий, никакой настоящей помощи природе от человека не будет: бессознательно с живым она и сама справляется.

Для этого противнику предлагаются долгие предварительные разъяснения, почему он должен умереть не от природы, а от истории, и притом общечеловеческое в нем не умрет, а наоборот, возродится и станет еще краше. В специально созданных военных органах, политрассветах, ведется большая воспитательная работа по подготовке всех врагов к сознательной смерти, на что гуманно тратится уйма лишних средств — но для смерти приказано ничего не жалеть.

Я не совсем понял, чем же в такой ситуации роль своего солдата отличается от роли противника, на что в частной беседе получил туманный ответ: «мудрость объединяет людей». Тогда я рискнул послать письменный запрос в редакцию газеты «Опаленные Солнцем». Она целиком посвящена воинам, которые на передовых границах невидимого сиянья борются с его ложным подобьем. И хотя не всегда и не во всем они добиваются успеха, общество верит, что даже и стараться особенно не стоит. Раз то внешнее Солнце само погаснет, можно и не воевать, только врагов жалко — умрут бессознательно, так и не поняв за что. Поэтому всемирное дело природы лучше все-таки делать своими руками.

Из редакции я получил вполне четкий и исчерпывающий ответ, который привожу целиком, за вычетом нескольких любезностей в адрес гостя, «по достоинству оценившего мирный труд наших воинов на заминированных полях далеко от Отчизны»:

«Что касается наших противников, то наш закон ставит их в равные условия с нашими гражданами. Противник

имеет полное право на осмысленную смерть, и мы всеми средствами стремимся донести этот факт до его сознания.

Единственная разница состоит в том, что наш солдат знает, **за что** он умирает, а противник должен знать, **от чего**. У его смерти нет определенных целей и, к сожалению, нет сколь-нибудь значимых последствий — но есть вполне определенные и значимые причины. Он умирает потому, что общество, в котором он жил, обречено на гибель. Смысл его смерти принадлежит прошлому, сфере причинности, а не будущему, сфере целеполагания. Но если причина четко отпечатывается в его сознании, то можно считать, что он тоже умер достойно. Ведь если бы не было причин, ведущих издалека, не было бы и следствий, далеко уводящих. В настоящем, на грани двух времен, происходит осознание самого факта смерти, которое одних отбрасывает назад, в прошлое, других устремляет вперед, в будущее. Все солдаты равны перед настоящим, и потому мы относимся к армии противника без излишней любви, но с должным уважением. Мы пополам делим смысл смерти, который вручен нам историей: если бы не умирали они, мы тоже не могли бы умирать достойно.

В заключение должен обратить ваше внимание на следующее. Сознвая свою ответственность перед историей, мы строим ряды своей армии с таким расчетом, чтобы она обеспечивала достойный смысл жизни гражданам не только нашей страны, но и других стран — как дружественных, так и, подчеркиваю, враждебных. Еле сводя концы с концами, они не имеют достаточно средств, чтобы содержать необходимую армию. Мы берем на себя эту заботу исключительно за счет непрерывно возрастающего материального и духовного потенциала нашей страны. С боевым приветом, доктор англоведения Ы. Г.»

Такое отношение к смерти разделяют далеко не все соотечественники, поэтому приходится постоянно им напоминать о людях, которые дружат со смертью. Наиболее отличившимся гражданам после их кончины вручается почетное свидетельство, где обводится черной рамкой ее организационный коэффициент. Смерть считается у них почетным организатором и передовиком производства, в том смысле, что умерший включается в работу живых и даже превосходит их производительностью труда. У некоторых людей смерть

оказывается таким хорошим организатором, что удостоивается самостоятельных званий, помимо тех, которые умерший приобрел за свою жизнь, например, Смерть Ангела Битвы была удостоена звания Герой Борьбы за Мир. Но многие совичи с тоской вспоминают о тех временах, когда они не чествовали смерть на званных обедах и ужинах, а ходили с ней в обнимку по улицам, не стесняясь косых взглядов прохожих, грелись у одного костра, ложились на одни нары. Приведу отрывок из книги «Воспоминания о жизни и смерти» — ее написал Ангел Победы, получивший смерть в свое личное распоряжение непосредственно от Ангела Смерти:

«К смерти у нас относятся все еще как-то настороженно, с опаской, путая страх и ответственность. Как будто она какой-то генералиссимус, перед которым нужно вытянуться по швам и не проявлять своей инициативы. Нет, у нас смерть была заводила, запевала: голос звонкий, грудь вперед, гимнастерка в обтяжку, пятки вместе, носки врозь: здоровья желаю, товарищ генерал! Прибыла в ваше полное рапоряжение! — Очень полезный товарищ, со смекалкой и огоньком — не унывает, не сидит без дела, шныряет по окопам, по землянкам, и ко всему у нее такой интерес, боевой настрой, что никто носу не повесит. Я так скажу: без смерти никакой настоящей жизни не было бы — одно вымирание. Смерть ставит точку. А когда нужно — и восклицательный знак!

В наше время иногда можно услышать жалобы: дескать, нет того боевого духа, как прежде, молодежь пала духом, потому что не может пасть смертью храбрых. На это отвечаю:

Победа — это битва сегодня. Да, времена битв прошли, но они продолжают сегодня в наших победах.

Конечно, и смерть нынче не дается даром — она дорожает как предмет жизненной необходимости, и нужно проявить немало молодого задора, творческого азарта, чтобы добыть себе смерть по душе. Для этого и нужен нам постоянный, прочный мир, чтобы умирать не случайно, с полной самоотдачей. Как говорится, на миру и смерть красна — живи опасно, умирай красиво!»

8. ПОДЗЕМНЫЕ ХРАМЫ И УГОЛЬНЫЙ ВЕК

Любовь к мудрости. – Совоокая Афина. – Материализм и почитание Матери. – Разрушение храмов Небесного Отца. – Матрополис и его достопримечательности. – Изваяния великого Сова. – Обряд ускорения. – Махание и планирование. – Сестра-Ночь. – Солнце Земли. – Углекопы. – Могильщики. – Народное украшение. – Уголь и алмаз. – Сумеречный полет.

«Готовность к смерти — вот мудрость жизни». Так называется картинка, изображающая старуху с косой за плечами и девушку, заплетающую волнистую косу. Причем одна коса в точности воспроизводит очертания другой, что делает картинку любимым украшением в домах совичей. Они вообще любят аллегории, символы, эмблемы, параболы и прочие переносные средства выражения, слегка затемняющие прямой смысл. В сущности, об их собственной жизни и можно рассуждать только притчами, поскольку она погружена в сумрак и снаружи видится **иначе**, чем изнутри, — отсюда **ино**сказание.

Но недаром говорится, что сумрак — условие, а притча — орудие Мудрости. Совичи всегда рады упомянуть, что их легендарный предок — Великий Сова — служил олицетворением Мудрости у многих народов, и даже таких древнейших и величайших, как греки и римляне. Древние богини мудрости, покровительницы справедливой войны Афина и Минерва назывались «совоокими» и имели при себе спутницу сову, прозорливо восседавшую на их плече для освещения своим взглядом всякого предстоящего жизненного мрака. Когда природа удаляется на отдых, когда скрывается зримое солнце — тогда-то и восходит бессмертное солнце ума и выходит на охоту богиня премудрости, посылая впереди себя, как ночного сокола, сову, чтобы бесшумно настигать и когтить незримую добычу. Совичи особенно чтят и охотно цитируют Ангела Разума, который переосмыслил мифологическое предание в философский постулат, сказав: «Сова Минервы начинает свой полет в сумерки». И совичи не без основания счита-

ют, что именно в их крайне сумрачной стране она должна и завершить свой полет.

Совичи часто собираются между собой для обсуждения различных философских материй, разумеется, при условии их сугубой материальности: всякий иной подход был бы смертельно оскорбителен для матери-Земли, из недр которой, по преданию, вылетел Великий Сова. Материализм в понимании совичей — это древнейшая и глубоко народная традиция почитания одинокой матери, покинутой безответственным отцом, удалившимся куда-то в небесные пустыни. Испокон веков совичи чтили в образе совы женское начало, особенно одинокое, безмужнее, девичье, вдовье. Порою в ней видят символ незамужней женщины, и тогда ее крик сулит рождение внебрачного ребенка... Но таких внебрачных детей в великосовском обществе едва ли не больше, чем брачных, и матерей-одиночек здесь не осуждают, потому что и сама Земля, да и вся материя в их представлении — мать-одиночка.

Родную землю они гордо называют Отечеством, гордась тем, что мать заменила им отца и воспитала не маленькими сынками, а матерыми воинами. Никакой другой родины, кроме земной, совичи не признают и в холодную небесную чужбину уже не верят и не стремятся. Опомнившись от заблуждений предков, они разрушили почти все храмы, построенные когда-то в честь загулявшего отца, в тщетной надежде на его возвращение в осиротевший дом. Но одновременно с разрушением наземных храмов стали строиться подземные, посвященные Матери-Земле и ее «любимому первенцу», как говорит одно из преданий, — Великому Сове.

Украшенные мрамором, гранитом, малахитом и прочими драгоценными породами, эти храмы как бы представляют разверстое лоно самой Матери, любвеобильно принимающей своих детей, потомков великого сына. Все лучшее, чем дарят недра Земли своих питомцев, представлено в этих храмах на гладко отшлифованных срезах, поражающих воображение иностранцев. Храмы обладают разветвленной системой подземных ходов, по которым организовано регулярное скоростное сообщение, чтобы посетители могли за кратчайшее время побывать во многих храмах, поклониться и Ангелу Будущего, и Ангелу Битвы, и Громкому Ангелу, и

Ангелу Бури. Система коммуникаций, проложенная с целью ритуального обслуживания совичей, считается самой совершенной и бесперебойной в мире. На стенах храмов можно увидеть изображения величайших событий велико-совской истории, начиная от сражений с Белым Воинством и кончая освоением Черной Пустыни посредством летных конструкций, названных «автоматическими совичами».

Но, конечно, главной достопримечательностью этих храмов являются подвижные изображения самого Великого Совы, бесшумно проносящегося из храма в храм по подземным путям. Причем лицевой диск и огромные, круглые, сверкающие глаза воспроизведены в натуральную величину по самым древним из дошедших изображений. За эти подвижные скульптуры, воздвигнутые в самых недрах Матрополиса (города матери), создатели были награждены знаком Серебряного Крыла.

Поклоняться Великому Сове — вовсе не значит становиться перед ним на колени, бить лбом об пол — все это пережитки рабской религии средневековья, поклонявшегося Царю Небесному. Поклонение Земле и ее Первенцу, напротив, вызывает в молящихся чувство небывалой гордости, сознание собственного достоинства, потому что щедрая Мать возвышает своих детей, возносит их над собой, как когда-то вознесся на крыльях из ее чрева Великий Сова. Детям Земли незачем унижаться перед неведомым и надменным отцом, будто бы взирающим на них с высоты, — они возвышаются над матерью, но любовно возвращаются к ней и блуждают в мягких недрах, почитая родившее их лоно. Даже воздух, в котором они живут, напоен дыханием Матери и ее ласковой тьмой. Не случайно сама Ночь в одном из Преданий названа любимой дочерью Земли и сестрой Великого Совы, с которой он неразлучен.

Что касается самого обряда поклонения, то у совичей он очень прост и заключается в ускорении. Молиться Сове — значит постичь главное в нем: скорость. Но сравняться в скорости с Совой невозможно простому совичу, поэтому единственно доступный путь — это ускоряться, то внезапным рывком приближаясь к заветной святыне, то последующей остановкой возвращаясь в свое человеческое состояние, чтобы получать нужный момент инерции для нового ускоренья. Размещаясь внутри изваяний

Совы, несущихся сквозь подземелье, совичи как бы отправляются в полет вослед своему пращуру, вновь и вновь воспроизводят первые движения священного зародыша в утробе Матери. Порыв — замиранье.

Но и в повседневной жизни, за порогом подземных святилищ, совичи тоже любят ускоряться, то и дело переходя от машущего полета к планированию. То они плавно останавливаются и почти замирают в неподвижной точке, то мощным взмахом крыльев резко устремляются вперед. Их не может удовлетворить равномерное, хотя бы и быстрое движение, потому что обряд, который они свято чтут, — именно ускорение. Массовые обряды ускорения они проводят примерно раз в пять лет: на исходе планирования они обычно замирают и словно бы даже застывают в воздухе, как чудесные изваянья, как живые и повсеместные памятники Великому Сове; но потом, когда период планирования закончен, снова начинается великий взмах.

Иные непрошенные советчики из-за рубежа, прозванные *антисоветчиками* за то, что подают неправильные советы, вопреки которым и нужно поступать, — эти антисоветчики рекомендовали совичам вовсе отказаться от планирования и целиком перейти на маховые методы работы. Но если бы не планирование, то не было бы и замедления, а тогда оказалось бы невозможным и эффективное ускорение. Совичи считают, что ускорение дороже самой скорости (оно, действительно, обходится им дороже), и потому планирование остается важнейшей частью их политики возрастающих скоростей.

Но суть планирования — не только сложение крыльев, но и сознательное предвидение, поэтому оно неразрывно связано с дисциплиной Взгляда. При машущем полете каждое движение вперед дается новым усилием, при планировании важно рассчитать траекторию на долгий перелет, в течение которого не поступают дополнительные мускульные импульсы и, как правило, не проводится никаких коррекций, кроме еще более замедляющих. Значит, нужно заранее размерить эту траекторию одним, но исключительно прямым взглядом, чтобы установить кратчайший путь к отдаленнейшей цели. Совичи никогда не могли бы стать планирующим народом, если бы предварительно не выработали у себя дисциплину Прямого Взгляда. Народы, у которых

отсутствие данной дисциплины не позволяет правильно определить долгую траекторию, — те народы вынуждены существовать от минуты к минуте, доверяясь только энергии непрерывно машущих крыльев.

К счастью, Великая Сось открыла иной источник энергии, который не уносит вдаль от Земли, а напротив, обретается в ее же недрах. Приведем отрывки из книги «Солнце Земли», принадлежащей перу одного из сподвижников Ангела Битвы. Эта книга, выдержавшая более ста изданий, является настольной для каждого образованного совича, и в ней доказывается, что подлинным Солнцем, источником всего живого на Земле, является сама Земля.

«Долгое время господствовало убеждение, что необходимым источником для развития жизни на Земле является энергия Солнца. Люди поклонялись Солнцу, как Небесному Господину, якобы милосердному к своим земным рабам. До сих пор вся система науки и образования в Живой Рани строится на этом грубом суеверии, будто бы Солнце — кладезь всех сокровищ Земли и магический ключ к решению ее энергетических проблем.

Но простые совичи, с древних времен селившиеся в глубоких пещерах и, благодаря бесценному дару Совы, ночному зрению, имевшие прямой доступ к тайнам Земли, — совичи раньше других народов обнаружили чудодейственные свойства угля, бесценного сокровища земных недр.

Как говорит народная мудрость, их научил этому сам Великий Сова, любимый первенец Земли, силою своих крыльев поднявшийся из чрева Матери и вынесший в клюве маленький кусочек угля, чтобы поделиться заключенной в нем великой силой со своим народом. Уголь — вот настоящее, подземное солнце, волшебный источник всех жизненных процессов на земле. В крошечном кусочке материи заложена энергия огромных преобразований, что еще раз подтверждает верность материалистического учения, воздающего дань нашей великой Матери: в каждой частице своей плоти она так же плодоносна, как и во всем живородящем теле».

По преданию, Великий Сова вылетел из чрева Земли, неся в клюве кусочек угля, — из него он впоследствии создал первого углекопа. Чтобы объяснить значение этой рабочей профессии, дорогой сердцу каждого совича, приве-

дем еще отрывок из «Солнца Земли»: «С древних времен углекоп, или, как его прозвали в народе, «черная кость», стал самой уважаемой и любимой профессией, а его кирка — символом всех людей труда. Можно смело сказать, что углекоп — это наш Икар, совершающий свой дерзновенный полет к Солнцу в недрах Земли. В отличие от мифического Икара, он не разбивается о небо, но достигает своей цели, вооруженный острой киркой и прямым взглядом.

...Издавна углекопы, разошедшиеся из Великой Совы по другим странам мира, где они получили название «карбонариев», вели борьбу с правящими солнцепоклонниками, которые ненавидели и боялись их, объявляя черный цвет знаком траура. И действительно, «белой кости» приходилось надевать траур всякий раз, когда карбонарии одерживали временную победу. Но только в нашей стране им удалось одержать окончательную всемирно-историческую победу, потому что именно совичи с детства приучались ценить труд углекопа, памятуя заветы своего Пращура. Хотя совичи — братья по крови, а углекопы — братья по труду, их взаимное братство давно уже переросло границы одной нации или одной профессии. Ведь и совичи, хотя и трудятся на поверхности Земли, — это углекопы ночи, вонзающие свой взгляд в ее черные залежи, чтобы претворить в излучение невидимого света. Для наших врагов сович и углекоп — это одно и то же: «черная кость» и «темное перо», братья Ночи и дети Земли — единственные, оставшиеся верными своей матери на протяжении веков унижительного небопоклонства.

По одному из преданий, Великий Сова помазал углем каждого из своих детей на грядущее царство, вот почему, несмотря на различие окрасок, у каждого из нас есть темное перо — знак избранничества. В одном из торжественных гимнов, сочиненных на слова Ангела Бьюги, поется: «Черный уголь — подземный Мессия, Черный уголь — здесь царь и жених...» Действительно, уголь — это наше ослепительное будущее, наш черный спаситель из царства тьмы, ибо чернь очищается чернью, — благословенный жених Великой Совы, которому она обещана от юности своей и с которым навсегда соединила свою судьбу.

...По словам нашего общего учителя, Ангела Битвы, «Великая Сось — это полет и уголь, больше ничего, только

уголь и полет». И чем больше мы добываем угля, тем выше наш полет».¹

Однако роль углекопства не ограничивается только прямым и переносным смыслом этой профессии, но имеет еще, по терминологии великосовцев, обратный смысл. На него указывал Ангел Будущего в своем духовном завещании Ангелу Битвы. Невыносимо страдая от живых ран на теле старого, «солнечного» общества, в котором жил, Ангел писал: «Живые раны заката кровоточат теперь в каждом сердце. Слезами их не залечишь. Залечить их может только время, сам ход истории. История — лучший плакальщик на поминках по старому обществу. Но, помимо плакальщиков и гораздо раньше их, в дело должны вступить могильщики. Углекопы! Никто не выроет такой глубокой могилы! Никто не проложит столь прямой путь от нашего негодующего сердца к сердцу самой Земли, чтобы она навсегда приняла и успокоила в себе эту светящуюся гниль. Глубже вонзайся, кирка! Углекопы должны научиться погружать в землю старое общество тою же самой киркой, какой извлекается оттуда новое вещество».

Не следует, однако, думать, что с углем у совейцев связаны лишь воспоминания о прошедших битвах и надежды на грядущее изобилие. Уголь — не только одна из эмблем великосовской государственности, но и одно из любимых народных украшений. Его носят в кольцах и браслетах, заключают в красивую оправу из медной чеканки, а прекрасные совейанки подкрашивают угольными карандашами глаза, чтобы выпрямить взгляд и произвести неотразимое впечатление на мужчин. Баснословная дешевизна этих украшений, удовлетворяющих самым взыскательным эстетическим вкусам, делает их доступными любому совичу. В народе по достоинству оценена лирическая теплота и неброскость этого ювелирного материала, передающего разные эмоциональные оттенки: от скрытой грусти до затаенной, но готовой вспыхнуть страсти, что уже нашло отражение в поэтическом творчестве — песнях, частушках, страданиях.

¹ Необходимо отметить, что я цитирую «Солнце Земли» по 84-му изданию, потому что почти в каждом из них имеются исторически обусловленные разночтения: например, в предыдущих Ангел Вьюги назван Ангелом Черной Маски, а в последующих — Ангелом Снежной Чистоты.

*На прощание милоч
Погарил мне уголек.
И теперь я в уголке
Вспоминаю о милке.*

Великосовские ювелиры утверждают, что по своим пластическим и визуальным качествам угольки далеко превосходят алмазы, которыми тщеславятся живоранские модницы. Алмаз — это уголь, выгоревший на солнечном свете и уже лишенный внутреннего огня, а также утративший способность к внезапным кристаллическим преобразованиям, самопроизвольным метаморфозам, — своего рода мертвый выкидыш Земли.

В том, что золотой век на Земле сменился бронзовым, а затем железным, совичи видят не упадок, а закон прогресса, ведущего к потемнению Цвета времени. Но мысль предков не могла постичь того, что их потомкам предстоит еще один, угольный век, славнейший из всех. Все, что раньше было незримым, теперь, благодаря ночному зрению, выходит из-под земли и являет свою славу, а солнце теряет ее день ото дня, склоняясь на Запад. «Великий Сова — первый святой и мученик в этом календаре Заходящего Солнца, чья кровоточащая рана истерзала ему сердце», — так писал Ангел Будущего в своем капитальном труде «Угольный век».

Но и сам этот век имеет разные оттенки, степени потемнения. Багровая эпоха сменилась коричневой, коричневая — пепельной, пепельная... Совичи крайне осторожны в определении этих оттенков, опасаясь забежать вперед исторического прогресса и отстать от общечеловеческого тыла, который все время приходится подтягивать за собой, жертвуя драгоценными минутами возможного прорыва и последней атаки. Большинство сходится в том, что время имеет оттенок спелой серости, предвещающей полночь. Последние жемчужные переливы пепла, колыхаемого слабым ветерком, угасают; все более косые лучи заходящего солнца встречают в ответ все более прямые взгляды граждан Ночи; тени ложатся длиннее, мысли — короче; Сова Мудрости находит место, где закончить свой полет, и совершает последние, сужающиеся круги над вершиной старого и развесистого дуба.

9. ЛУННЫЕ ЧАРЫ И ПРАКТИКА ОТРАЖЕНИЯ

Четыре типа обществ. – Спутник-шпион и лунные жаворонки. – Лунная прощальная. – Светлая грусть. – Зеркальность в природе. – Дружба Земли и Луны. – Щит сознания. – Рельеф мозга и лунная поверхность. – Отражать – значит затемнять. – Познание и оборона. – Практика отражения. – Пятый океан.

Великосовская наука делит все общества на четыре типа: солнечные, лунные, звездные и беззвездные. Солнечных обществ на земле много, но по своему типу они являются малоразвитыми. Лунных гораздо меньше, и среди них самым развитым является Великая Сось. Звездных обществ пока еще нет, но Великая Сось приближается к тому, чтобы стать предзвездным обществом, и даже достигла уже так называемой «стадии первых звезд». Поэтому совичей, особенно отличившихся, награждают звездочками, символизирующими их принадлежность к обществу будущего. Чем дальше от Земли находится звезда, тем больше почета: кто удостоился трех Альфа Центавр, тот снимает их и надевает одну Бетельгейзе. По количеству и величине звездочек потребности начинают приравниваться к способностям, так что награжденный постепенно получает все, что захочет, — конечно, при условии, что он хочет всего того, что получает.

Что касается беззвездных обществ, то их, как и звездных, еще нет на Земле, но когда возникнет первое звездное общество, то в нем уже будут различаться и признаки беззвездности, например, полное потемнение отдельных участков неба. К тому времени многие галактики уже разбегутся в непроницаемую даль по закону удаления всякого светящегося вещества от Земли за границы видимой Вселенной. Причем это превращение светящихся туманностей в незримые прозрачности совершается с возрастающей скоростью, что подтверждает космологический эффект обряда ускорения, который проводят совичи в подземных храмах и в своей общественной жизни. Своим непрерывным разгоном Великая Сось спо-

собствует выдворению световредящего вещества за пределы большой Вселенной и скорейшему наступлению эры беззвездного общества.

Любимое светило совичей — Луна. Правда, некоторые ушедшие вперед совичи призывают вперять взор в звездные дали, а не пялиться на ночной пережиток солнечного сиянья, но все-таки большинство еще не может оторваться сердцем от серебристого печального лика. В печати уже неоднократно появлялись предупреждения, что предзвездное общество должно вытравить с небосвода это светлое родимое пятно прошлого. «Луна — плацдарм солнечной активности в условиях побеждающей Ночи, — пишет газета «Дальняя звезда». — Это спутник-шпион, посланный для высвечиванья изнутри тайн нашей стыдливой и неприступной Ночи. Естественная природа спутника не вызывает сомнения, но в том и заключается хитроумный заговор врага с силами природы, чтобы использовать ее натуральные свойства для далеко видимых политических целей. Известно также, что с помощью этого спутника ведется настоящая психологическая война против нашего населения — световые сигналы Солнца, рассылаемые через двойника-отражателя, попадают в подкорку и возбуждают там центр противоночной активности. Вместо того, чтобы приучить взгляд к полной темноте, знаменующей приближение беззвездной эры, совичи испытывают неудержимое желание смотреть на Луну — и для них пропадает красота звездного неба и особенно беззвездных его участков. Лунные чары притупляют остроту глаз и вносят в душу непреодолимое смятение. К тому же многие стали заниматься изготовлением самодельных чар, которые наполняют так называемым лунным напитком. Шипучий сладковатый напиток не может иметь ничего общего с горькой правдой нашей действительности — в нем узнаются брызги пьянящей браги, зловещего солнцедара. У некоторых совичей, когда они смотрят на луну, пробуждаются самые древние инстинкты и начинают увлажняться глаза. Среди нас не место и тем лунатикам, которые в полночь воспаряют к ночному светилу! Вдумайтесь, чей отраженный свет они прославляют! Предадим позору этих лунных жаворонков и прекратим устаревший обычай вертикального взлета в ночь полнолуния!»

Однако в последнее время такие призывы раздаются все реже, и большинство совичей считает, что звезда, от имени которой вещает «Дальняя звезда», является чересчур уж дальней. Попытки поскорее захоронить лунное общество — это пример болезненной, подслеповатой дальнорзости, если не сказать хуже — «космического авантюризма», как выразилась недавно уважаемая газета «Ночной полет», получив в свою поддержку много читательских писем. Пусть луна с опережающих рубежей и выглядит «троянским конем мировой солнечной экспансии», «ржавым осколком разбитой солнечной короны» — все-таки она остается Луной. Той самой, на которую глядели еще деды и прадеды, радуясь избавлению от солнечного ига. Той самой, чей отраженный свет они подмешивали в свои чары, поднимая их за здоровье близких, друзей, возлюбленных и, конечно, самой Луны. Той самой, которой они посвящали свои тягучие, унылые, но просветленные песни. Они и теперь еще поются в народе — приведу одну, которая называется «Лунная прощальная»:

*О здравствуй, здравствуй, вечно юная,
Моя прощальная краса!
Бежит в моря дорога лунная —
По небу катится слеза.*

*И тонкий луч ее серебряный
Бежит волне наперехлест,
Зеркальной гладью поколебленный,
Звонит до самых дальних звезд.*

*Есть у дорог заминка милая —
Прощанье на краю небес,
И нету слез, а над могилою
Один сияет звездный крест.*

*Но час придет — сегое облако
Тот луч прощальный гонесет
И свет невидимого облика
В глаза закрытые прольет,*

*Чтоб, отражаясь светлой чарою,
Чернела чара под луной
И луч, натянутый гитарою,
Играл чуть слышно над страной.*

Это очень старинная песня, судя по тому, что в ней упоминается крест. Чтобы ее понять, необходимо основательное знакомство с древними обычаями и поверьями совицей, с их космогоническими мифами, чем я пока не могу похвастаться, — но я объясню, как сумею. В песне выражено чувство неизбежной разлуки с луной, которая станет невидимой, когда погаснет солнце, — останутся сиять только звезды. Такова диалектика бытия: гибель Солнца уведет за собой из мира и то чистое светило, которое находило в нем скрытый источник своего застенчивого свечения. Сама Ночь оплакивает эту светлую потерю, но нет и не может быть слез у влюбленного. Он знает, что даже сквозь вечный сон Луна будет посылать ему свой незримый луч; а чара темного вина, которую он поднимет за свою небесную возлюбленную, воссияет над всем миром. Нет конца путям, которыми человечество идет к звездам и дальше, в глубь беззвездного мрака: погаснет когда-нибудь Луна, удалятся и сами звезды, но, прощаясь с ними и провожая до распахнутой черной могилы, нужно верить в незримый свет, который воссияет в душе, когда исчезнут все его внешние источники.

Такова эта грустная и светлая песня, выражающая душу самой луны. Вообще светлая грусть — состояние, наиболее присущее совицам, что объясняется устойчивым воздействием лунного света на характер этого народа. Ему несвойственны та бурная радость, с какой жаворонки встречают свое восходящее светило, и то глубокое уныние, с каким они его провожают, готовясь пережить опасную ночь. Все эти крайние состояния присущи солнцелюбивым народам, с их вертикальной осью душевной жизни, восходящей к зениту. Резкое чередование дня и ночи, солнца и тьмы приводит и к внутренней поляризации, к эмоциональным скачкам и срывам. Лунные общества, как правило, не знают этих сильных перепадов, потому что во мраке им светло, а при свете темно — крайности уравниваются. Солнце не жжет сквозь прикрытые веки, ночь не душит своей

непроницаемостью — и оттого лунный свет, мягкий и задумчивый, нежный и грезящий, ясный и смутный, точнее всего передает душевный настрой совичей, почти всегда ровный и чарующий всех наблюдателей.

В песне говорится также о море, по лунной дороге которого свет будет сходить в свою вселенскую могилу. Море занимает важное место в мировоззрении совичей, как отражатель второго порядка. Они верят в то, что луна или, по крайней мере, ее свет когда-нибудь без остатка канет в море, о чем уже сейчас можно догадаться по приливам: вода чувствует свою будущую добычу и жадно тянется к ней, пока, бессильная, не вынуждена отхлынуть...

Однако вся эта мифология ничего нам не объяснит, если мы не вникнем в принцип отражения — главный теоретический вклад совичей в мировую науку. Согласно этому принципу, все высшее предстает как отражение низшего. Сознание отражает простое вещество, а само не может им отражаться. Отпечаток выше подлинника. Луна потому и отражает Солнце, что несравненно выше его в иерархии небесных тел, как сознание выше своего предмета. Луна — это мозговое вещество и самосознание солнечной системы. Солнце же, как вещество низшего уровня, не может отражать ни Луну, ни вообще ничего, оно только само светится, как какой-нибудь глупый, безмозглый лесной светлячок.

Поэтому совичи называют луну «зеркалом поступательного развития», «ясным диском, запущенным в темное будущее». Такой отраженный свет служит промежутком на пути от яркого и слепого солнечного света к незримому свету мудрости, который предстанет в конце концов как наивысшее отражение всех отражений — Сверхсознание, отражающее не только предметный мир, но и мир человеческих сознаний. Однако это Сверхсознание, или Отражение отражений, обнаружит себя только в беззвездном обществе, когда иссякнут все внешние источники света и слепая поверхность мира обернется сплошной зеркальностью, отражающей мрак в глубине еще большего мрака. До этого предела пока доходит воображение только звездных мечтателей, которые в своих подземных кабинетах, под башнями со сверкающими звездами, указывают народам путь в беззвездное будущее.

Как бы ни росла сфера сознания по мере умножения степеней отражения, луна остается отражателем первой степени, фундаментальным фактом самосознания самой природы. Вот что писал Ангеллевой Руки, внимательно проследивший прохождение Луны по всему кругу Зодиака: «Луна была и есть первое из зеркал, созданных самой природой, убедительное свидетельство ее способности к самоотражению, а значит, и к самосознанию, которое было унаследовано и развито человеческим мозгом. Существование Луны доказывает, что сознание человека не результат вмешательства каких-то сверхъестественных сил, а закономерное следствие самой способности материи к отражению и предельно высокое развитие этой способности. Вот почему наши лесные сородичи, живущие, как и мы, в условиях отраженного света, по всеобщему признанию, являются самыми большеголовыми из всех птиц. Еженочное созерцание луны, несомненно, способствует развитию мозга и усложнению его рельефа, поскольку отражает и удваивает сам рельеф лунной поверхности, созданный для того, чтобы отражать. Разумеется, у человека развитие мозга идет не за счет увеличения внешних размеров головы, а по пути усложнения внутримозгового рельефа, поэтому по своим физиогномическим приметам мы не выделяемся среди других народов. Но пример сов, этих большеголовых птиц мудрости, ясно доказывает, что лунные сообщества превосходят солнечные своим потенциалом интеллектуального развития».

Великосовцы считают, что Луна не случайно сблизилась с Землей и стала ее вечной спутницей — только благодаря согласию двух подруг и их нежной, волнующей дружбе мог возникнуть такой удивительный феномен, как человек. Сын Земли по плоти и крови, он носит Луну в своем сознании, отражая ею весь окружающий мир. Как Луна вращается вокруг Земли, так и сознание человека вращается вокруг его бытия, — высший цвет материи и ночной цветок материнства.

Совичи не могут спокойно слышать чудовищных мифов других народов о развратных действиях Солнца в отношении Земли, из которых будто бы произошел человек. Даже если этот порнографический бред и был бы правдой, — заявляют они, — то человек должен был бы отмыть

эти солнечные пятна на своем теле, тем более помня о последующем отступничестве совратителя, бросившего мать с младенцем в чреве. Но, к счастью, это неправда, человек — дитя не разврата, а чистой, целомудренной дружбы между Землей и Луной. Вот почему дружба — высшее из чувств, которое возвращает человека к источнику его происхождения, к тому, что сделало его человеком. И животный самец может любить свою самку, дающую ему приплод, но только человек способен к великому чувству дружбы, ибо сам он произошел от союза Земли и Луны — и, как социальное существо, живет по законам товарищества. Голубиная дружба Луны, как бы мирно воркующей на плече своей сильной подруги, утешила Землю в ее одиноком материнстве. Именно эта дружба, лишенная плотских желаний, и сделала человека таким, каков он есть, — верным товарищем и любящим сыном. И всякая сила искушений, которая могла бы настичь его от Солнца и сделать пленником огненных, испепеляющих страстей, — эта сила отражается лунным щитом, который охраняет совичей в опасные часы их бодрствования. Сознательность самой природы помогает сознанию человека сдерживать и укрощать жар соблазна, идущего от Солнца. Вот почему совичи, живущие под покровом сознающей себя природы, являются, по общему мнению, самым сознательным и сдержанным народом в мире. Другие народы, лишенные лунной защиты, прямо открыты жару солнечных лучей, пробуждающих похоть, алчность, вожделение. Недаром само сознание именуется у совичей «луной объективной действительности», поскольку правильно и надежно отражает ее. В научном языке используются такие слова, как «лунеть» и «лунность», означающие ясность мыслительных способностей человека.

Закономерно и то, что совичам первым удалось открыть для всего человечества обратную сторону луны — ведь именно задний ум всегда выдвигал их на первое место среди других народов. Они заранее много раз совершали этот смелый полет в полушариях своего мозга, пользуясь наличной копией для овладения свойствами далекого оригинала. Исследуя свой таинственный задний ум, они уже находили там все пятна, кратеры и пустыни, которые впоследствии автоматический сович запечатлел на обрат-

ной стороне Луны своим полуночным оком. И это не случайное совпадение, а строгий вывод общей теории отражения, которой в Великой Сове занимаются все, включая космонавтов и физиологов. Прочитирую один из докладов «Луноведческого общества», созданного при Комиссии по психологии природы: «Путь природы к самосознанию начинается с Луны, достигая высшего совершенства в человеческом мозге. Как выяснили совместные исследования космологов и психологов, мозг представляет собой точный, хотя и слегка деформированный слепок лунной поверхности — отражение более высокого порядка, а потому и более совершенное, чем прообраз. Отражательные поверхности устроены примерно одинаково у природы и человека. Для этого требуется сочетание одних и тех же условий: чередование впадин и выпуклостей, усиливающих рельеф поверхности; устройство в форме полушарий, равномерно отражающих пучки света со всех сторон; серый цвет вещества, который одинаково хорошо отражает все другие цвета и потому обеспечивает наиболее объективное воспроизведение действительности. Почва Луны, состоящая из разно-зернистого обломочно-пылевого материала, сформированного в результате дробления, перемешивания и спекания лунных пород при падении метеоритов, представляет собой прямой природный аналог мозга, серое вещество которого также сформировалось под активным воздействием предметов внешнего мира. Бомбардируя оба полушария, подобно метеоритам, объекты окружающей действительности избородили серое вещество таким количеством глубоких морщин и впадин, что отражающая поверхность мозга стала мыслить и возрастать и возрастает поныне».

Такова вкратце великосовская теория отражения — она не только связана незримыми нитями с теорией дружбы и товарищества, но и уходит своими корнями в глубь древнейшей мифологии, что делает ее понятной и близкой сознанию всего народа. Глаза совичей настолько привыкли к отраженному свету луны, что любой предмет воспринимается ими только в свете этой теории.

Но теория для совичей значима лишь постольку, поскольку служит проверкой практики. Если теория отражения утверждает, что любое духовное явление отражает

менее духовное, то практика требует, чтобы отражение было на порядок тусклее отраженного, т. е. не пассивно его повторяло, а активно погашало. Как в Луне погашен солнечный свет, так в море — лунный, результатом чего и становится незримость света. **Практика отражения** — очень трудная дисциплина, которая требует отражать предмет в двойном смысле: воспроизводить — и тут же отбрасывать, чтобы первоисточник становился ненужным и можно было ограничиваться цитатой, как луна — блестящая цитата из ослепляющего первоисточника. Лунная дорожка — еще более сокращенная, разбитая морем и по кусочкам составленная цитата и так далее, пока не остается, как отражатель высшего порядка, только ум человека, все погасивший в своем правильном и насквозь цитатном мышлении. Если теория отражения заботится о том, чтобы предмет отражался верно, то практика — о том, чтобы он отражался мощно, отбрасывался резким толчком и как можно дальше.

Например, естественные науки, отражая природный мир, должны обеспечивать его растущую избыточность и ненужность для человечества. Чем вернее он будет познан, тем скорее придет в негодность, потому что все нужное в нем будет надежно отражено в смысле 1 (повторено), а все ненужное достойно отражено в смысле 2 (отброшено). Вот, кстати, почему познание и оборона неотделимы друг от друга: оба отражают свой предмет, только познание отражает его как зеркало, а оборона — как щит. «Зеркало-щит» — любимая эмблема совичей, знак нерушимого союза армии и интеллигенции.

Усвоив теорию и перейдя к практике отражения, совичи за короткий срок добились таких результатов, которые стеснялись предсказывать даже самые отчаянные теоретики. Например, стоило совичам воспроизвести какой-либо предмет, создаваемый в других странах, как он тотчас же исчезал там из производства. Таким способом удалось значительно снизить выплавку стали и чугуна в ряде стран, ранее считавшихся высокоразвитыми: как только совичи стали отражать их действия, эти действия замедлились, а кое в чем и прекратились. С тех пор принцип отражения стал работать безотказно, обеспечивая растущий отрыв Великой Сови от других стран в сторону избытка вещей, забытых в

остальном мире. Стоит совичам наладить выпуск какой-нибудь ткани или прибора, как они тут же повсюду исчезают из употребления. И вовсе не потому, что эти предметы устаревают, выходят из моды или совичи незаконным образом их похищают, — нет, действует сам закон отражения, по которому «отблеск выше блеска и вытесняет его из наличного бытия» (Ангел Повтора).

«Вы нас чаруете своими отражениями», — жалуются в других странах, подозревая черную магию: дескать, сводные дети Луны усвоили науку чаровать и теперь ночным блеском своих отражений пленяют другие народы. Недаром они преуспели больше всего именно в черной металлургии. Но совичи отвечают, что никакой магией не интересуются, а если черный цвет у них любимый, то это выражение объективных законов потемнения мира.

Практика отражения дала великолепные результаты и во внутреннем развитии страны. Стоило, например, развить учение, отражающее законы развития материи, как сразу стала куда-то исчезать сама материя. Она оказалась избыточной — устаревшим подлинником при наличии более совершенного оттиска. Материализм вобрал все самое нужное и насущное, что есть в материи, и она стала потихоньку отсыхать и отпадать от бытия, как жухлая оболочка, уступившая место свежему ростку, который дальше понесет ее силу и семя. «Отражение — это взятие силы при отпадении массы, взятие сути при отпадении субстанции, взятие главного при отпадении второстепенного», — любил повторять Ангел Лунных Чар. Точно так же, усвоив учение о кризисах перепроизводства, совичи счастливо избежали самих этих кризисов и для верности даже кое-чего недопроизвели. Научное отражение такого факта, как **власть капитала**, позволило им стереть этот факт до самого минимума, оставив только главное — власть, при исключении второстепенного — капитала. И так во всем: нет такой стороны действительности, которую совичи не отразили бы тем или иным путем, сведя ее окончательно на нет или приблизив к отчаянию. Уже отмечалось, что практика отражения, в единстве с теорией, позволила им накрепко связать нужды науки и обороны, поскольку та и другая занимаются одним и тем же: отражают в теории и

отражают на практике, и чем вернее отражает одна, тем сильнее отражает другая.

Нет такой сферы, где закон отражения не давал бы чудодейственных эффектов, и только одна природа, к сожалению, лишена способности активно отражать: как ни трудится Луна, а Солнце не утасает. В этом и состоит превосходство человека над природой: он обеспечивает ударную и поражающую силу всякому отражению. Один из проектов, который здесь обсуждался, предполагал строительство огромного зеркала, которое посылало бы назад все лучи Солнца и закрыло бы проблему по крайней мере в земном масштабе. Но расчет показал нехватку материалов, и защита от солнца стала осуществляться материалистическим учением о небесном тиране. Потом чей-то светлый взгляд упал на моря и поразился мощным отражательным ресурсам самой планеты — однако их тоже, видимо, недостаточно, чтобы похоронить последнюю и величайшую корону в мире. И тогда решено было увеличить отражательную способность Земли путем создания искусственных морей и распространения водного зеркала на территорию всей страны, за исключением нескольких островов, где люди могли бы сосредоточить технику для рытья каналов и водохранилищ.

Пока что эта задача еще далека от разрешения, но по разливу своих вод Великая Сось уже заняла первое место в мире, и наблюдатели из космоса сообщают о невиданном отблеске, разливающим голубой свет из этого растущего пятна на карте мира. Теперь лунные дороги бегут наперерез уже через всю страну, ее столица стала портом многих сливающихся морей. «Отблеск на блеск, отсвет на свет!» — так повторяют совичи клятву своего учителя, и они достигли почти всего, чего желали: страна превратилась в сплошное зеркало самого передового, что есть в других странах. Взглянув на эту страну, каждый может увидеть в ней самого себя, взволнованного и отброшенного далеко назад. Весь мир зачарован блеском своего пятого океана, которому Великий был вынужден уступить свое гордое название, оставшись для скромности просто Тихим.

10. ТЕНЕВЫЕ НАУКИ

Эпоха Великих Сумерек. – Теневая философия. – Классический разум и классовая мудрость. – Теневая лингвистика. – Говорить, чтобы молчать. – Тихий Ангел. – Прямое слово. – Слово «борьба» и его народнохозяйственное значение. – «Зрительные резервы». – Слово «мир» и его внешнеполитическое значение. – Выпрямление Слова и Взгляда. – Теневая экономика. – Товарищество без товара. – Теневая социология и психология. – Счастье в грусти. – Необщительность и общественность.

«Высшая и последняя стадия цивилизации, — писал Ангел Битвы, — это одновременно первая ступень эпохи Великих Сумерек, в которых открывается простор для нового видения, но зато решительно закрывается все остальное: академии, университеты, школы, церкви, заводы и фабрики, столовые, больницы, — если они оказываются неспособными к новому видению. В эту эпоху все будет происходить под знаком тени: теневая политика, теневая экономика, теневая культура. Что выходит на свет и действует в свете — или слишком старо, или слишком ново, а значит, обречено умереть либо вовсе не родиться. Живет только то, что в тени» («Токования со старого дуба», т. 17).

Предсказание полностью осуществилось. До сих пор в мировой цивилизации развивались только так называемые «дневные» науки и искусства, между тем у каждой из них есть своя теневая сторона, своего рода обратная сторона Луны, которую, как не устают здесь повторять, впервые в истории запечатлел своим ночным оком автоматический совиц. Великая Сось — это царство теней, где разработаны тысячи новых наук и искусств, носящие по видимости те же названия, что и старые, но имеющие совершенно другие возможности и задачи.

Например, теневая философия решает задачу так очертить свой предмет, чтобы он стал неразличим в окружающих сумерках. Этому помогает руководящее изречение, помещенное в виде эпитафии к сорока томам Совской Философской Антологии: «Мыслители до сих пор лишь различным образом проясняли мир, тогда как задача состоит в том, чтобы его затемнить». Это значит — привести

в соответствие с условиями темной среды и законом ее самовозрастания. Совичи справедливо утверждают, что только мелкие философы что-то объясняют в мире, подбирая парочку-другую причин с сомнительными последствиями, а великие философы, напротив, делают мир еще более таинственным и непостижимым, чем он был прежде, оставляя в наследство «Непроясненное», и тем самым способствуют общему потемнению мира, чтобы потомки могли успешно вглядываться в него глазами Совы (или совокой богини мудрости). Как писал Сович из Совцов, «классический век разума уже давно сомкнул веки, и классовая Немезида, отбросив повязку и весы, широко раскрыла глаза». Разум испокон веков обожествлялся живоранцами, которых здесь в шутку называют живодранцами, поскольку для перевоспитания с них гуманнее всего было бы заживо содрать лживое оперение, оголив сплошные раны. Но теперь классический разум, призванный разгонять облака с лица действительности и доводить ее до ясности полуденного небосвода, уступает место классовой мудрости, которая из темных туч обрушивает громы и молнии на ясноголовых.

Впрочем, я не философ и, быть может, сам затемняю что-то в этой области по своему невежеству. Но теневая лингвистика... Поскольку именно с ней связаны обстоятельства моей работы в этой стране, позволю себе остановиться чуть поподробнее.

Теневая лингвистика изучает, а в соответствии с критерием практики и продуцирует речь как сферу более глубокой тишины, чем само молчание. Когда кто-то молчит, кажется, что он хочет или может что-то сказать и молчит потому, что задумался или подбирает слова. Но если кто-то говорит непрерывно, из его речи возникает абсолютная тишина, которую не в состоянии прервать даже самое громкое слово. Теневая лингвистика — это наука о том, как расставлять знаки, чтобы они ничего не обозначали. Если один знак ставится направо, то противоположный знак ставится налево, тогда они будут означать «праволевое», т. е. все или же ничего. Среди совичей приобрели популярность такие выражения, удачно перечеркивающие свой смысл, как «сиянье сумерек», «покой полета», «борьба за мир», «ненавидящая любовь», «на грани земли и неба», «обратный

рост», «ненавидящий взгляд», «неиспользуемый резерв», «выгоревший свет», «незримое сиянье», «нижневерхний», «утренневечерний» и т. п.

Но задача в том, чтобы добиться столь же идеального равновесия не только в кратких выражениях, но и в длинных речах — выстроить из множества разных слов нечто совершенно молчащее. Этим высшим искусством овладел Сович из новых совцов, удостоенный особого звания Тихого Ангела за то, что он умел произносить многодневные речи, старательно подчеркивая и с огромным усилием выговаривая каждое отдельное слово, — но при этом не тревожа ничьего слуха. Надо сказать, что зевать в стране Совы не считается чем-то особенно неприличным, потому что сумрачные условия так или иначе клонят ко сну, — поэтому в открытых ртах и прикрытых веках никто не усматривает кощунственной реакции на подобную речь, а лишь признак ее отменной закругленности и усыпительной правоты. Если сович засыпает посреди ночи, то это что-то да значит, прежде всего, обстановку полнейшего уюта и безопасности, которая в немалой степени зависит как от наличия речей, так и от степени их беззвучности. Сочинения Тихого Ангела, признанные за образцовые: трилогия «Великая малость» (о детстве), «Целая середина» (о зрелости) и «Малое величие» (о старости), — до сих пор изучаются как пример блестящего смыслового равновесия на разнородном языковом материале.

Теневая лингвистика преподается в школе с первого класса как искусство говорить, ничего не говоря, и тем меньше говорить, чем больше говоришь. Наряду с уроками Твердого Взгляда теми же учителями проводятся уроки Прямого Слова, когда выстраиваются в одну линию слова, подкрепляющие смысл друг друга, так что у всех слов в результате получается один-единственный смысл, или смысл одного слова. Например, лозунг «Укрепляйте силу нашей мощи!» — образцовый пример словесного выпрямления (да и словосочетание «образцовый пример» тоже подсказано мне теневой лингвистикой — вообще ее идеи очень разительны). Более развернутый пример: «Повышению мощности летальных возможностей способствует укрепление мышц, обеспечивающих усиленное развитие органов, необходимых для увеличения скорости полета» (это я вы-

писал из «Настольной книги любителей длинных полетов»). Такое Прямое Слово называется «да»; а противоположное ему называется «нет», например: «Недостаток содержания белковых веществ ведет к ослаблению организма, что в конечном счете приводит к кризису летательных возможностей, а порою разрушает как биологические, так и моральные предпосылки полета» (оттуда же). Выпрямляемость Слова обеспечивает ему внутреннюю правоту и близость к Прямому Взгляду.

Из всех слов самым прямым, а подчас даже мерилом всякой Прямоты, считается «борьба». Оно может заменять все другие слова и производить очень длинные, обстоятельные мысли, которые находят в нем источник саморазвития. Например, вместо «летать» часто говорят «бороться с воздухом». Еще чаще: «бороться с плотностью воздуха». Но лучшим считается выражение: «бороться с плотностью воздуха, оказывающей сильное сопротивление и все-таки поддающейся преодолению». Иные виртуозы доходят до того, что говорят: «бороться с плотностью воздуха, оказывающей сильное сопротивление, но необоримо преодолеваемой в ходе развертывающейся борьбы». Вместо одного мимолетного словечка «летать» появилась целая стая мыслей из 11 слов, которые увлекают в полет, вызывают раздумье, — а все благодаря Прямому слову «борьба», повсюду вносящему общественное оживление и порыв. Тем самым оправдывается изречение Ангела Бури о том, что «в мире всегда есть место борьбе». Академик-Инженер Речи дополнил его изречением: «в языке всегда есть место слову «борьба». Поэтому совичи не говорят «охотиться», а «бороться за улучшение качества и увеличение количества дичи, добываемой посредством целенаправленного облета местности». Волшебное слово «борьба», как некий фокусник, сразу вытягивает изо рта длинную ленту слов: проглотил один белый шарик, а вытащил десять разноцветных. С таким словом и жить веселее, потому что знаешь, с кем борешься и за что борешься, а просто заниматься своим делом тоскливо и одиноко. Приветствуют друг друга совичи этим же самым словом «как борешься?», подчеркивая прямоту своих взаимоотношений, а также определяя самое главное в жизни: если есть борьба, то все остальное приложится — и полет, и зрение, и охота.

По утверждению многих специалистов, лингвистика у совичей является главной производительной силой страны. Теория о том, что язык — только средство общения, безнадежно устарела и заменена теорией о языке как орудии общественного производства. Возьмем то же слово «борьба», играющее заметную роль в интенсификации хозяйственного процесса. Совичи неустанно борются за всестороннее развитие визуальных способностей и целенаправленное использование зрительных резервов. Если бы они только «глазели», в стране моментально воцарилась бы безработица, а уровень развития производительных сил упал бы до уровня натуральных хозяйств средневековья. Понятие борьбы вносит динамику в этот процесс и определяет наилучшее распределение рабочих участков и отраслевых комитетов. Одни занимаются изучением зрительных резервов и выявлением их роли в растущей дифференциации труда. Другие налаживают взаимосвязи между разработчиками этих резервов и их смежниками по осязательно-обонятельным ресурсам в ходе ускоряющейся интеграции производства. Третьи осуществляют контроль за учетом этих резервов, поскольку в случае их переоценки можно недовыполнить план, а в случае недооценки перевыполнить, так что план следующего года возрастет и опять-таки останется недо-выполненным. Таким образом, еще до начала использования этих резервов образуются четыре комитета: Дифференциации, Интеграции, Учета и Контроля, а сколько их образуется впоследствии — об этом могут судить только специалисты. Это не значит, что в обществе отсутствуют лица, которые просто смотрят или, по-народному, «глазуют», — этим специально занимаются видеологи. Но все остальные разворачивают широкий фронт борьбы за новое качество **видения** или проводят регулярные **смотри** самого этого фронта борьбы.

Ну и, разумеется, нельзя забывать, что если «в мире всегда есть место борьбе», то и в борьбе всегда должно быть место миру, и что борьба за мир считается высшей формой борьбы, в которой должны принять участие все борющиеся на других участках. При этом слово «мир», в свете теневой лингвистики, имеет два равнообязательных значения: «дружба» и «вселенная». Таково удивительное свой-

ство великосовского языка: он играючи решает проблемы, над которыми испокон веков бьется человеческая мысль, а также мировая политика. Когда совичи борются за мир, они достигают двойной цели: приобретают все больше и больше друзей и приобретают господство над всей доступной Вселенной. И чем больше они господствуют, тем крепче дружат. До сих пор это не удавалось ни одному народу на свете: как только они пытались овладеть миром или хотя бы лишней его частицей, так сразу же приобретали множество врагов, которые отнимали у них и лишнее, и насущное. Но ведь ни один народ не создал такого чудесного слова «мир», единым ударом разрубающегося все гордые узлы международных противоречий. У борьбы за мир не может быть врагов, которых само миролюбие этой борьбы тотчас не превращало бы в друзей. Прямое, честное, открытое слово, которое, к сожалению, нельзя точно перевести ни на один язык!

Великосовские ученые систематически проводят междисциплинарные занятия и семинары «Выпрямление Слова и Взгляда», где лингвистика и видеология образуют неразрывное целое в гармонически развивающемся комплексе гуманитарных наук. На случай искривления самой линии их взаимодействия в лингвистических кабинетах висит лозунг: «Прямому Слову — Прямой Взгляд», а на видеологических кафедрах: «Прямому Взгляду — Прямое Слово».

На примере теневой лингвистики можно видеть построение других теневых наук. В частности, теневая экономика учит, как, работая, не производить никакого богатства, чтобы накопленное богатство не мешало человеку работать. Труд не должен превращаться в капитал — поэтому в экономике совейцев трудно найти что-либо капитальное, кроме самого труда по этой экономике, который так и называется «Капитальный». Чтобы быть свободным, труд должен непрерывно воспроизводиться в сфере самого труда, не отчуждаясь в виде товаров. В древности слово «товарищ» производилось от слова «товар» и обозначало спутника и компаньона в торговле. Но в ходе истории производное значение разрасталось, а корень его отмирал. Коль скоро общество сплошь состоит из товарищей, то и товары ему не нужны, ведь целью вещей было сблизить людей, целью

товара — создать товарищей. **Товарищество без товаров** — это высший принцип теневой экономики. На языке древних совейских тотемов это называется: «ронять перья, не теряя крыльев». Если перевести это обратно на язык теневой теории систем, перья — это субстанция, крылья — функция, функция же может работать в любой субстанции, как закон товарищества может действовать в бестоварной среде.

Теневая социология и психология — это две столь сильно переплетенные науки, что никто еще не решил, где кончается одна и начинается другая. Большинство склоняется к тому, что психология — это социология, обращенная личностью внутрь себя, так сказать, тень, отброшенная средой на свое средоточие, поскольку общественное сознание — это, по словам Ангела Дружбы, «тень и оттенок» общественного бытия.

Теневая социология сталкивается с такими трудностями в своем развитии, что, только оставаясь теневой, она может их преодолеть. Дело в том, что совичи, как показывает опыт, — народ не очень общительный, но при этом очень общественный. Собираясь на людях, они проявляют свойства нелюдимости, но именно эта нелюдимость и побуждает их особенно любить людей. У некоторых народов в ходу даже поговорка: «нахохлился, как сович». Сумеречный образ жизни, конечно, наложил отпечаток на их характер, довольно суровый и угрюмый, что выражается во внешней насупленности, сдвигании бровей, к чему склонны порой даже самые зоркие и видные общественные деятели. В языке совичей преобладают тягучие звуки: г-у-у-у, х-ы-ы-ы; а в народе поются протяжные песни, что объясняется многократным эхом, которое в глухом лесу неизбежно повторяет и растягивает окончание каждого слога. Той бьющей через край жизнерадостности, которая у жаворонков запечатлелась в почти постоянной улыбке, конечно, не отыщешь у совичей.

Однако теневая психология доказывает, что по-настоящему счастливы бывают не веселые, а скорее грустные люди, поскольку счастье — это функция взаимосоответствия индивида и среды. Так как внешние обстоятельства чаще всего складываются неблагоприятно, чтобы всемерно способствовать борьбе за выживание и наилучшему историче-

скому отбору, то именно грустные люди наиболее гармонически приспособлены к таким трудным и несчастным обстоятельствам, а значит, в глубине души наиболее счастливы. «Грусть — это мера выживаемости вопреки возможности выжить», — писал крупнейший советский психолог, названный Ангелом-Инженером Подлинного Счастья. Именно грусть, которая сама в себе светла, дорога совицам как возможность насладиться общей сумеречностью своего существования. Считается, что ангелы особенно расположены к общению с грустным человеком и слетаются на погашенный свет его души, чтобы порезвиться в потемках и шепнуть слова утешения.

Теневая социология, на мой взгляд, очень остроумно объясняет странный парадокс великосовской жизни: малую общительность жителей при их страсти к общественной работе. Дело в том, что общественность здесь рассматривается как прямая антитеза общительности. Общаются между собой, как правило, близкие люди, которым нет дела до дальних, а именно ради них и ведется общественная работа. Общества заседают не для того, чтобы и так социально близкие стали еще ближе, а для того, чтобы они могли сблизиться с дальними, послать свой привет, дружбу и прямое участие под палящий небосвод черной земли. Сколько среди людей есть отсутствующих, неизвестных, затаившихся — надо же и с ними соединиться для всеобъемлющего единства человеческого рода.

Это даже хорошо, когда люди, собравшись вместе, чувствуют некоторую нелюдимость, — тогда-то они и становятся настоящими людьми, представителями всего человечества. Пусть один совиц хмуро глядит на другого — но ведь нужно проследить до конца траекторию этого взгляда, который преобразуется в незримую улыбку там, где он видит будущих совцов, и совков, и совейцев в одном общем полете за край земли. Цель общественности — так разъединить ближних, чтобы раз и навсегда сблизить дальних. Вот откуда этот замечательный феномен, описанный в классическом труде теневой социологии «Необщительные сообщества».

11. ВИДЕОЛОГИЯ И СТРАННОВЕДЕНИЕ

Черно-белое зрение. – Третий лишний. – Роль сновидений. – Дальносторкость. – Близорукость. – Дальномыслие. – Цельность. – Наука по совместительству. – Странновика и тенивики. – Странность номер 1. – О шершавости языка. – Служебные перелеты. – Мелиорация и эстетика. – Засухи-наводнения. – Моря-чемпионы. – Сказ о Лысе Залысьевиче. – Странник в стране теней.

Какую бы тeneвую дисциплину мы ни взяли, в ней ничего нельзя по-настоящему понять без видеологии. Если все прочие только переименовывают уже известные науке принципы, то видеология — совершенно оригинальное порождение совской манеры видеть мир. Именно в свете видеологии все науки отбрасывают такую длинную и непрерывно растущую тень.

Основа видеологии — черно-белое зрение. Наличие цветного зрения у совичей, так же как у их тотемных лесных сородичей, подвергается наукой сомнению, а видеология прямо утверждает, что его нет и быть не должно. Все деления и классификация у совичей носят строго двоичный характер. Даже в Средние века у них отсутствовало представление о чистилище как о средней части загробного мира, а в наше время совершенно неприемлемым считается Третий Путь, пролегающий точно по границе между Великой Сосью и Живой Ранью. Лучше сразу отдаться врагам, чем ступить ногой на проклятую середину, разделяющую цельного человека на мучительные части. И вообще поговорка «третий лишний» применяется у них всегда и ко всему: к делению на богатых и бедных, левых и правых, правых и виноватых и т. д. Их восприятие мира отличается необыкновенной галлюцинаторной яркостью, присущей только сновидениям, — но не выходит за пределы черно-белой гаммы. Вещей, настолько белых и настолько черных, как в восприятии совичей, пожалуй, никогда и нигде не увидишь, — для этого нужно обладать их глазами.

Другой параметр зрения, помимо цветности, — фокусировка, и здесь видеология также имеет свои биосоци-

альные предпосылки. Дальnozоркость совичей вошла в поговорку; они не только видят очень дальние предметы, но и ставят перед собой самые дальние цели, какие только могут увидеть, а видят они дальше самых дальних звезд. Ближнее зрение развито у них гораздо хуже, так что они постоянно путаются в вопросах тактики, хотя никогда не ошибаются в вопросах стратегии. Сович из совцов предостерегал: «Выбирайте самую дальнюю цель и идите к ней самым ближним путем!» Но большинство совичей не вполне справляются со второй частью задачи и идут к дальней цели дальним путем, за что сами беспощадно осуждают себя.

На дальние цели сович может подолгу смотреть, совершенно не мигая, но, пытаясь разглядеть ближние предметы, он отчаянно щурится, что придает его лицу растерянное выражение. Даже поднося еду ко рту, совичи мгновенно теряют ее из виду, так что они довольно безразличны к виду того, что подается и поедается, хотя этот же продукт в поле, на прилавке или на столе у соседа вызывает у них пристальное внимание. Забавно бывает видеть самых смелых и прозорливых видеологов, когда им предлагают на рассмотрение какой-нибудь пустячный, но очень близкий вопрос. В момент этого внезапного близорукого прищура лица у них бывают удивительно симпатичными, что отмечают даже совичи, знавшие Совича из совцов, — а уж он как далеко глядел!

Христианство прочно не укоренилось в Великой Сове отчасти и потому, что оно требовало любви к ближнему, который органически не мог попасть в кругозор совича по причине его близорукости. Он бы и рад протянуть руку, да не видит кому и тянет дальнему, погруженному в свой тесный мирок, — так и возвращается часто рука, не совершив доброго дела и отчаянно тоскуя от чужой пустоты. Да и себя в ближние сович никому не навязывает, прекрасно понимая, что в такой огромной стране вряд ли он может кому-то и где-то оказаться близким.

Наряду с дальnozоркостью и по аналогии с ней у совичей выработались такие гноселогические понятия, как «дальномысле», «дальночувствие», «дальнолюбие». Высший этический принцип требует «возлюбить дальнего больше, чем ближнего, возможное больше, чем наличное,

ибо туда мы летим, а здесь только пребываем» («Одиннадцатое поучение Ангела бури»).

Итак, видеология — это и есть дальномыслие и дальновидение, причем только в черно-белом варианте. Но отсюда вытекает качество, которое совичи находят у себя чаще, чем у прочих, — цельность. У них врожденное нежелание и неспособность разделять предмет на мелкие части и употреблять каждую самостоятельно, отдельно от другой. «Если все, то все, а если нечто, то ничего», — так учил их Ангел Бури, слагая свои заповеди гордого небытия. По преданию, сам Великий Сова ловил и употреблял в пищу только таких животных, которых мог проглотить целиком, — правило, которому инстинктивно следуют и его лесные потомки. «Если брать по частям, то одному достанутся яства, а другому останутся объедки. Пусть каждый съедает все целиком. Нецельность — предпосылка неравенства», — говорил Ангел Левого Крыла, прозванный так за то, что с рождения плохо владел правым крылом и достиг неподражаемого совершенства в полетах по замкнутому кругу.

Цельность выражается и в обычае поедать своих больших сородичей — у совичей он восходит к их птичьему пращуру, который отличался этим от остальных птиц. «Ворон ворону глаз не выклюет», а вот сова, тоже не выклевая сородичу всякую мелочь, старается заглотив целиком по крайней мере самое важное из внутренних органов: сердце, легкие, желудок, печень... У совичей на этот счет существует, во-первых, этическое, а во-вторых, диалектическое обоснование. Чем роднее тебе человек, тем больше ты его любишь. А любить — желать приобщить к себе, так слиться, чтобы уже не осталось ничего отдельного, поэтому влюбленные съедают друг друга поцелуями и укусами, да и матери порой хочется вылизать-проглотить свое дитя. Но так поступать совичам не позволяет сознание, что их сородичи, равноправные граждане, могут и внешне оказаться полезными обществу. Если же гражданин заболевает — физически или социально — то нужно поскорее воспользоваться тем здоровым, что в нем еще осталось, чтобы приобщить без остатка к более сильному организму, который больное выбросит из себя, а здоровое усвоит и сам станет еще здоровее. Нет таких здоровых людей, которые не были бы чуть-чуть больны и не нуждались бы в профилактике; и

нет таких совсем уж больных, которые не были бы чуть-чуть здоровы и не заслуживали бы трансплантации. Охрана общественного здоровья включает, таким образом, постоянное перераспределение менее здоровых элементов в более здоровые организмы, чтобы даже едва здоровое не умирало, а жило на пользу едва больного. Правильнее называть такой порядок не взаимным поеданием, а взаимным исцелением.

Цельность приводит к тому, что совицы прекрасно знают друг друга изнутри, как часть собственного растущего организма. Изучать же друг друга и самих себя иными методами, чем органическое слияние, считается нескромным и небратским занятием. Вот почему страна по праву гордится своими бесчисленными теневыми науками во главе с видеологией, но чуждается единственной в мире науки, которая создана о самой этой стране и так и называется: «странноведение». Она изучается во всех странах мира, кроме самой Совы, которая в ней не нуждается и посвящает себе только любимые народные песни.

Если видеология — это взгляд Великой Совы на окружающий мир, то странноведение — взгляд всего мира на Великую Сось. И хотя они диаметрально противоположны по своим предпосылкам, но удивительно сходятся по результатам. Главные законы видеологии становятся главными исключениями в странноведении, или, выражаясь его собственным языком, — «странностями».

Получается, что странноведение — это комплексная наука: она изучает одну страну и вместе с тем — все странности, какие только есть на свете. Два эти предмета при долгом изучении совершенно друг с другом совпадают, так что одна страна и вправду оказывается целым светом, — конечно, только в том смысле, в каком он отбрасывает тень. Сюда собираются тени со всего света, странности из всех остальных стран. Странноведение имеет все те же разделы, что и теневые науки: странную лингвистику, странную экономику, странную психологию и т. д. Некоторые недружелюбные ученые окрестили все странноведческие дисциплины словечком «пато»: патоллингвистика, патоэкономика, патопсихология, а самому этому комплексу дали название «всемирная патология», но я патологом себя отнюдь не считаю: я странновед. Странность — не обязательно бо-

лезнь, она может говорить о высшей, пока еще недостижимой норме, о цветущем здоровье такого сверхорганизма, что на своем мелком уровне мы можем разглядеть лишь населяющих его микробов. Еще неизвестно, окажется ли жизнеспособной стерильно чистая солнечная среда, или болезнетворные вирусы необходимы для процветания общества, на дне которого в лунную ночь можно разглядеть и сырость, и плесень. Ведь прививка только укрепляет растущее существо, и оспинки на плече — залог того, что они никогда не появятся на лице.

Если признаться, мне давно уже тесно в рамках странноведения. Мне хотелось бы внести посильный вклад в видеологию и теневые науки и изучать разнообразные явления местной жизни как закон, а не отступление от закона. В наших странах со странноведением очень считаются и не предпринимают ни одного международного шага, предварительно не посоветовавшись, к каким странностям это могло бы привести. Но в стране совичей любой совет странноведа воспринимается как поступок антисоветчика. Да и мало приятности странновика изучать те же явления, что и теневику, и выводить досадные отступления там, где они выводят мирообъемлющие закономерности. Предмет тот же, работа ума такая же, а в результате твои заключения печатают крошечным петитом в параграфе «Исключения», а их обобщения печатают крупными буквами в разделе «Основные законы».

У нас, например, закон отражения формулируется как «Гносеологическая странность N1», как исключение из всеобщего закона «Поступательного распространения света», в разделе «Поверхности не пропускающие света», после главы «Светопоглощающие поверхности», в главе «Светоотражающие поверхности», в параграфе «Непрозрачность ума, или Интеллектуальная светобоязнь». Точно так же главный закон здешнего красноречия — «Выпрямление Слова» загнан у нас в самую последнюю колонку «Черные речевые дыры», в параграф «Незначащий повтор значащих слов». Главный закон теневой психологии «Грусть приносит радость» описывается в странноведении как «колебательная фаза в развитии маниакально-депрессивного психоза». И вот ради этих задов науки приходится перенапрягать мозг, тогда как здесь этот

же вывод оказывается на переднем плане самой передовой из наук.

С огромным трудом и риском для жизни мне удалось выявить агрономическую странность, которая могла бы подняться до рекордных высот в мировом индексе патологий. Вся страна регулярно страдает от комплексного несчастья — засух-наводнений. Урожай гниет от избытка влаги и одновременно его палит беспощадное солнце. Я бы никогда не поверил в сочетание таких факторов, если бы лично не обнаружил, что моря и пустыни в этой стране взаимно кочуют. Море, испокон веков плескавшее в свои берега и поившее ораву народа, вдруг за несколько лет уходит в песок, будто его вовсе не бывало. Зато совсем на другом краю страны выныривает из-под земли точно такое же море, заливая огромные площади первоклассных угодий. Поскольку в Великой Сове проводятся соревнования не только между людьми, но также заводами, фабриками, областями, краями, регионами, ныряющие моря занимают на этих спортивных праздниках всегда первое место в водных видах спорта. Но сельскому хозяйству данного края не легче оттого, что его море поднялось на высшую ступень почета, нырнув на пять тысяч километров из пустыни в тайгу. И даже плакат, прибитый над райводом: «Наше море — чемпион мира» — не утешает потопленцев.

И вот замечательный закон ныряющих морей, едва ли не основной в теневой агрономии, мне приходится описывать, по правилам моей дисциплины, как патоанатомию здешней земли, которая от чрезмерной дородности слишком много пьет в одних местах и потеет в других.

Я хотел бы перейти в теневые науки не из соображений престижа, а ради великого счастья двойного зрения. Мне дано смотреть только из света на тень, а они смотрят из тени на свет и поэтому видят гораздо больше. Мне хотелось бы немного побыть в тени и увидеть наш дневной мир таким, каким он виден оттуда. Каким бы он мне показался? Прекрасным? Ужасным? Или прекрасно-ужасно-прекрасно-ненавистным миром? Во всяком случае я не могу считать человека совершенным, пока он не увидел наш мир оттуда. Даже если он из дневной страны, он не узнает по-настоящему Дня, если не увидит его из тени. Увы, мне этого не дано. Я обречен навсегда остаться странноведом —

странновиком, или «странником в стране теней», как в шутку называют себя мои коллеги.

Правда, в последнее время они замечают мне, что странности я описываю как-то слишком участливо, что под моим пером они превращаются почти в законы. Неужели я становлюсь теневи́ком? И вернувшись, буду тенью скитаться по своей полудневной стране?

12. ВКУС ГОРЕЧИ

Закон органической прибыли. – Методы соледобычи. – Перегонная промышленность и ОТК. – Органика и автоматика. – Легенда об Алконосте. – Вкус Ночи. – Горькая приправа. – Философия перегона. – Борьба вкусов и идеал безвкусыя. – Дым Отечества. – Звезда Польшы. – Чередование поколений.

В самом деле, меня возмущает, когда законы Великой Совы начинают описываться как странности, лишенные органической связи с жизнью этой страны. Нигде не придают такого значения органике, даже в сугубо технических и производственных вопросах. Закон **органической прибыли** здесь давно уже сменил закон прибавочной стоимости, отчуждавший организм рабочего от продукта его труда. Если прибавочная стоимость утекает неизвестно куда и оседает золотыми слитками в кармане хозяина, то органическая прибыль, вытекая из рабочего, вскоре втекает в него обратно. Жесткая потогонная система, принятая в наших странах, здесь давно уже уступила место перегонной системе, которая не только отработана до высшего автоматизма, но и с лихвой возвращает самому работнику то, что берет у него, и потому в народе получила название «самогонной». Кстати, слово «органический» соперничает здесь по популярности со словом «автоматический», и вместе они сливаются в образ некоего земного рая, где автоматика сама работает, а органика сама произрастает и плодоносит. Правда, в мыслящей среде выделяются два основных течения: «органиков» и «автоматиков». Одни говорят, что все должно происходить само собой, из грунта, а другие возражают, что все должно происходить само собой, от машины.

Но все дружно соглашаются, когда звучит примирительное слово «Самость». В общем-то органике и автоматике друг без друга деваться некуда. Перегонная промышленность — доказательство того, насколько народ органически освоил автоматику и насколько автоматика отвечает органическим нуждам народа.

Основной продукт перегонной промышленности — горечь, любовь к которой объединяет совичей всех возрастов и занятий. Вкушая горечь, они еще глубже переживают свою любовь к Ночи. В «Учебнике хорошего вкуса» можно прочитывать: «Говорят: о вкусах не спорят. Сам подобный спор есть проявление безвкусицы. Поэтому мы не станем доказывать, что горечь превосходит все другие вкусовые ощущения. Таков вкус и аромат самой Ночи, которую глазами мы видим как темноту, а языком вкушаем как терпкую, саднящую горечь. Конечно, эта горечь нестерпима для сладкоежек, как непроницаема тьма для поденщиков; но для кого тьма прозрачнее света, для того горечь слаще сахара... Зрения и слуха совершенно недостаточно для глубокого восприятия Ночи, потому что эти органы чувств оставляют свой предмет на прежнем расстоянии и не осваивают его достаточно органически. Пестрое или радужное может существовать, хотя бы иллюзорно, в отрыве от глаза, но вкусное не может существовать в отрыве от языка, поэтому, поглощая горький запах и вкус Ночи, мы подрезаем крылья всякому отчуждению. Отныне Ночь внутри нас, и мы получаем не только формальное, но и органическое право считаться ее верными гражданами, достойными отключить как внешнее, так и внутреннее освещение».

Эти правила хорошего вкуса действуют повсюду, например, в столовых вы увидите на столе заранее приготовленные горчицу и перец, которые считаются продуктом первой жизненной необходимости. Любой сович, проголодавшись или просто соскучившись по любимой пище, может забежать и на ходу отведать ее, сколько душе угодно, причем это не стоит ему ни копейки — совичи считают преступным наживаться на жизненно важных продуктах. Да и другие кушанья макаются в ту же самую горечь, чтобы приобрести недостающий им вкус. Я заметил, что здешнее мясо и картофель как-то безвкусны и пресноваты сами по себе именно для того, чтобы не заглу-

шать главный вкус горчицы, которому они служат только калорийной добавкой.

Наоборот, торты и прочие сладкие деликатесы здесь выпускают только для иностранцев и немногих оставшихся сладкоежек. Самый популярный торт называется «Полярная ночь», чтобы даже в сладость хотя бы символически был подмешан, как приятное воспоминание, вкус Ночи.

Редкий сович употребляет пищу без горькой приправы — но такая горечь, происходящая от самой горечи, кажется ему недостаточно горькой. Поэтому из всех видов горечи предпочитается та, что добывается из самой сладости по закону полного и окончательного диалектического превращения. Перегонная промышленность в Великой Сове — отнюдь не просто отрасль индустрии, средство для борьбы с безработицей, область культурного досуга, стимул для развития ночного воображения. Все это функции важные, но побочные. Главная же — подтверждать верность общего учения, о чем прямо написано в сборнике «Философские проблемы перегонной промышленности»: «Перегон — это ускоренный переход диалектических противоположностей. Переход такого рода постоянно совершается в самой природе, например, сладкое яблоко, полежав некоторое время на земле, становится горьким. Но призвание человека — ускорение всех процессов, идущих в природе. Поэтому то, что классики нашего учения называли «переходом», мы в условиях поступательного развития общества называем «перегоном». Автоматизация производственного процесса позволяет перегонять одну противоположность в другую с растущей скоростью... Благодаря правильным философским предпосылкам дают о себе знать не только технические возможности, но и социальные последствия перегона: именно в этой области мы не только догнали, но и намного перегнали все высокоразвитые страны мира, вместе взятые. Общей продукции нашей перегонной промышленности хватило бы на то, чтобы залить все сухие лунные моря и улучшить отражательные, а также обонятельные качества древнего спутника. Таким образом, закон борьбы и единства противоположностей осуществляется в полном объеме: технически одна противоположность перегоняется в другую, а социально одна система перегоняет другую. Ускорение в нашем деле — не просто обряд, но жизненная

потребность и всенародный обычай. Перегоняя будущее в прошлое, мы обгоняем само время».

Итак, формы исторического перегона в этой стране весьма разнообразны. Во-первых, сладкие вещества перегоняются в горькие. Во-вторых, «сладкие» страны перегоняются горькими. В-третьих, сладкое будущее перегоняется через настоящее и становится горьким прошлым. Будущее — это неисчерпаемый сладкий запас, из которого изготавливается горькое прошлое, настоянное на лучших воспоминаниях. Стоит какой-то эпохе начаться — и она объявляется сладкой. Стоит закончиться — и она объявляется горькой. Собственно, каждая эпоха и служит коленчатым валом для поступательного перегона исторической сладости в горечь. Сладость предстоящего даже нарочно преувеличивается, чтобы вкус прошлого оказался еще горше.

Объявляют эпоху атома и космоса — и сквозь страну проступает гигантская черная дыра. Объявляют эпоху королевы полей — с бала выбегает Золушка в рваном наряде. Объявляют эпоху кадров — и кадры начинают так быстро мелькать, что тут же неведомо куда исчезают. Объявляют эпоху сплоченности — а выживают только одиночки. Объявляют эпоху возвращения из плена — и вернувшихся тут же берут в плен. Объявляют эпоху покорения рек — и на их месте вырастают моря, которых уже никому не покорить.

В общем, сладость будущего до того всем опротивела, что ее и в рот брать никто не хочет, а все только пьют до дна и смакуют свое горькое прошлое. И поскольку совицы любят горечь, то подслащенное будущее еще вернее обращает их назад, к временам древности и средневековья, вкус которых никак им не надоеет: там и дым, и пепел, и настойка из сухих, жестких трав, которыми поросла память былого. Так что исторический перегон — не только успешное соревнование с другими странами, но и соревнование прошлого страны с ее будущим, где завтрашний день уже заметно отстает от вчерашнего, несущегося в прошлое со скоростью тени, опережающей путника. Так всегда бывает, когда удаляешься от света: сделаешь несколько шагов — а тень гигантскими прыжками уже несется впереди тебя.

Какие ни есть в этой стране запасы сладкого: от надежд и утопий до сахарной свеклы и песка — все расходуется на

процесс огорчения. Во всем мире Великая Сось известна как экспортер разнообразных по вкусу, но одинаково превосходных по качеству горечей, в которые превращаются ее богатые залежи сахароносных веществ. К сожалению, сладкодобывающая промышленность не успевает за горькопроизводящей. Заводы по переработке сахара в горечь работают непрерывно в каждом городе, селе и даже дворе — это единственный вид промышленности, который здесь интенсивно развивается в домашних условиях. В результате сладость истреблена уже по всей стране, но это только приписка — начинается ускоренный завоз сахаристых веществ из-за рубежа и попутно возрастает вывоз горечи за рубеж, так что во всем мире скоро не останется никаких тортов, кроме сказочной «Полярной ночи». Когда сладость исчезнет, а горечь восторжествует в мировом масштабе, не понадобится уже и сама горечь: вкуса не будет, как не будет и цвета, а полная во всем незримость и невкусие.

Ошибаются те, кто приписывает совичам одностороннее намерение вытеснить одну противоположность другой: вкус — вкусом, класс — классом, цвет — цветом. Нет, одна противоположность — по старой традиции худшая, а по новой теории лучшая — должна уничтожить другую только для того, чтобы в конце концов уничтожились сами противоположности. Если низ станет верхом, а верх станет низом, то значит, низ обнаружит свою верховность, а низость восторжествует наверху, и не останется уже ничего высокого, что не было бы и неизменным. Тогда стороны исчезнут и останется только одна страна на все стороны света и уже без различия всяких сторон. Чем больше сладкого будет переработано в горькое, тем скорее истребится их роковая противоположность, и люди будут поедать пищу, как смотрят в прозрачную тьму, без всякой разницы в ощущениях, что позволит им в конце концов обходиться без пищи и стать людьми в полном и независимом смысле слова.

«Безвкусие — первая стадия бескормья как прогрессирующего освобождения человека от гнета обстоятельств. Переход в царство свободы осуществится не в один скачок, как предполагали утописты древности, а в два скачка: сначала пища утратит всякий вкус, а затем человек утратит потребность в пище. Одно недостижимо без другого. Но и первый скачок раскладывается на несколько скачков мень-

шей длины. Один из них — преодоление инстинктивной тяги к сладкому, за которое древние люди готовы были перегрызть друг другу глотку — лишь бы вытянуть кусок послаще из горла соседа. Чтобы отвратить людей от этой дикарской привычки, следовало бы всем нашим просвещенным дикарям, облаченным в цивилизованную одежду, преподносить на десерт кусок хлеба, облитый потом рабочего, чтобы они узнали и цену этого хлеба, и его настоящий вкус. Когда потребность в сладком будет окончательно вытеснена потребностью в горьком, тогда наступит черед вытеснения всяких потребностей, ибо сама природа позаботится о том, чтобы человек не слишком был привязан к горькому. Однако только общество может преодолеть его привязанность к сладкому, и на это должны быть в ближайшее время брошены силы промышленности, чтобы сама природа потом помогла обществу горечи перейти в общество безвкусицы», — так писал Ангел Будущего в своем знаменитом труде «Общественный труд и борьба вкусов».

Я позволю себе думать, что Ангел Будущего немного ошибался или преувеличивал. Природа не так уж противится влечению человека к горечи. Во всяком случае великосовцы сами активно помогают перегонной промышленности и по выходным дням трудятся добровольно, потому что знают, что трудятся для себя — в подвалах, на чердаках, в сараях, не гнушаясь никакими бытовыми неудобствами, с вечера и до утра.

И в сфере обоняния заметно то же самое предпочтение. Любимый запах великосовцев — дым, который неотделим от их любви к Ночи. День представляется им ярко разгоревшимся пожаром, который гаснет к вечеру, оставляя как бы волны неощутимого дыма, пряно щекочущего ноздри совичей во всю оставшуюся ночь. Их поэты вдохновенно описывают дневной мир, испепеленный собственными лучами, — а Ночь бродит по этим дымящимся развалинам, вдыхая их едкую горечь. Да разве и сама Ночь — не торжественное пепелище, не плотный, навсегда застывший клуб дыма, поднявшийся над всем этим грустным пожарищем?

С дымом у совичей сливаются самые противоречивые ощущения, и прежде всего — сожаление о гибели солнечной цивилизации, так неразумно спалившей себя в огне

вожделений, в вулканических извержениях похоти и алчности, в безумной погоне за блеском, богатством и славой. Что остается от этого? Только дым. Но дым и что-то обещает, куда-то зовет, в нем уже ощутима та волнующая незричность, на которую и душа, и зрение, и обоняние совичей всегда отвечают тихим томлением: мягко стелется, заволакивая внутренний мир, серый дымок.

Запахи вообще ворошат самые древние слои памяти, и дым напоминает совичам о прошлом их страны: Лес то и дело горел, и в одной его части всегда стоял запах дыма от пожара на другой. Вот почему чувство Леса слилось у совичей с запахом дыма, и они долго не хотели воздвигать среди разреженных деревьев новые, каменные строения. «В нашей деревянной стране, — делился со мной один сович, — всякий камень ложится как надгробный на сердце народа, на его священное прошлое». Но и в каменной части Леса они сумели сохранить заповедные уголки своего любимого запаха — угарного, настоящего, плотного, как в древних черных избах, где дым не выводился наружу. Как и горчица, этот горючий воздух считается предметом первой жизненной необходимости и ничего не стоит. Самое дорогое у них вообще не продается. Если в наших больших городах любимый разреженный воздух высот можно приобрести только за плату, то у них едкий чад и угольная дымка подаются бесплатно, как горькая приправа в столовых.

Дым настолько любим в народе, что когда нарастает всеобщий прилив любви к родине, это всегда пахнет дымом. Начинают гореть деревья, а совичи стоят вокруг тесным кружком, жалеют природу и вместе с тем наслаждаются ее запахом. У меня в таком положении сразу начинает щипать газа и навертываются слезы. Но у совичей удивительные глаза — дым не выедаёт их, а наоборот, прочищает. Если у кого-то о чем-то болит душа, он устраивает себе из любого предмета дымное зрелище и быстро утешается. Дома сжигают часто, как мосты, чтобы не оставить следа от прошлого — и чтобы протянуть к нему дымный, пряный, пропадающий след. Поэт сказал, обращаясь к дыму, оставшемуся от дома:

*Хорош был твой бревенчатый приют,
но сердцу Ты всего дороже!*

Если дом принадлежит одному человеку, то дым — всему Отечеству, и потому счет всем маленьким домам ведется в конечном счете на один большой дым.

Поскольку всякая горечь — и вкуса, и запаха — происходит от горения, то людей «внутреннего горения», «пламенной души» здесь хотя и не любят, но отчасти ценят: после них остается столько пепла и дыма, что тянет гарью на тысячи верст и хватает для огорчения миллионов потомков. Обычно «горящие» и «горькие» поколения чередуются, как имена-отчества в одном сплоченном роде: у Горела Горькиевича рождается сын Горький Горелович. Отцы горят и пылают, у детей разводится жженка, горилка, перцовка и другие горечи, а внуки настолько уже пропитываются этой горечью, что вспыхивают и сторают без следа, не оставляя Отечеству даже дыма.

13. ГЛУБИНА ЖИЗНИ

Новые Афины и Древний Совск. — Проспекты и переулки. — Борьба «глядовиков» и «слуховиков». — Подземный Совск, красивейший город мира. — Легенда о Китеже и явь Нижнесовска. — Верхнесовск. — Небоскреб и подполье. — Главная потребность. — Кто во что прячется. — Смерть в дупле. — Ритуал ресторана. — Тайновластие. — Сбор грибов. — Рыбная ловля. — Глубокообразованная страна.

По всеобщему признанию, нигде принципы идеологии и теневедения не выразились у совичей так ясно, как в зодчестве. Процесс урбанизации шел в Великой Сове ускоренными темпами, но когда он достиг наивысшего уровня, выяснилось, что в этой стране есть по существу только один город. Зато жители гордятся им настолько, что переделали старинное его название Совск в Новые Афины. Этот перевод лингвистически оправдан, поскольку и колыбель древней эллинской цивилизации получила свое название по имени совы, сопровождавшей богиню: Athene до сих пор в международной транскрипции означает сову. В некоторых странах даже есть поговорка: «посылать сову в Афины» — все равно что везти дрова в лес

или поливать море из лейки. Вот почему и совичи в своем Совске не принимают посланцев чужой мудрости — им вполне хватает своей.

Но кроме того, перевод названия имел в виду важные последствия самосознания граждан, осознающих себя прямыми наследниками античной мудрости в период своего решительного разрыва со средневековьем. В отличие от произвольных переименований у других народов, типа «Париж — третий Рим» (то же самое говорилось в свое время и о болгарском Тырнове, и о русской Москве), совичи имели на это нормальное и моральное право, тем более что они не пытались своей столицей занять место древних Афин, а лишь скромно подчеркивали ее новизну. Правда, в последнее время совские публицисты все чаще возвращаются к исконному наименованию города, а иногда, упоминая ради такого случая первые Афины, столицу греческого мира, как бы вскользь роняют «Древний Совск».

В планировке этого города заметна борьба двух градостроительных концепций, которая отражает внутреннюю диалектику всего великосовского общества, где верх берут то «глядовики», то «слуховики». Город состоит из проспектов, прямых, как самый выдержанный взгляд, и переулков, кривых, как самый превратный слух. В эпохи потемнения больше строились переулки, намертво стягивавшие петлями слухов самые знатные и уважаемые дома. В эпохи просветления начинали строиться широченные проспекты, вдоль которых взгляд мог ясно различить очертания самого отдаленного будущего. Так и доньше приходится то нырять в переулочек, то выплывать на проспект, ощущая все время перепады исторических давлений.

Здания в Совске не отличаются особой высотой сравнительно с другими столицами мира. Известно, что низкий полет, подстерегающий все живое на земле, отличает потомков Совы так же, как высокий полет и небоскрежное зодчество — жаворонков. Но здание и тем более город в Сове — это совсем не то, что в других странах, и мерить его высотой — все равно что мерить глубину колодца по его срубу. Город врастает в землю гораздо быстрее, чем вырастает над землей, так что в лучшей и преобладающей его части всегда царит сумрак. Многие иностранцы, удивляясь тому, что за целые десятилетия почти ничего не меняется в

Совске, просто не подозревают, как растет и хорошеет этот город в своих тайных основаниях и лабиринтах. Чего там только нет: магазины и рестораны, ателье и парикмахерские, комендатуры и лаборатории — и все самого отменного качества, гораздо выше, чем в верхнем городе. Там имеется даже университет с теологическим отделением, куда принимают только отслуживших в армии, да и то после отборочных состязаний во всех видах десятиборья.

К сожалению, обо всем этом я знаю понаслышке. Иностранцы в Нижнесовск не допускаются — это закрытый город, очевидно, по той причине, что на всех иностранцев не хватило бы тех превосходных товаров, которые продаются там на каждом углу. Для посещения им открыта только храмовая часть Нижнесовска — Матрополь, где они всегда, при благочестивом желании, могут воздать дань Великому Сове и совершить обряд ускорения в его подвижных скульптурах. Но уже по этим освещенным участкам подземного города можно составить представление о его величии и пышном убранстве. По утверждению путеводителей, которые, правда, туда не зовут, Нижнесовск — красивейший город мира.

Как объясняют жители, подземный Совск был построен на случай коварного нападения жаворонков, обладающих преимуществом в своем высотно-оборонительном потенциале, тогда как совицы превосходят их в широтно-наступательном. Никто из совичей, насколько я мог заметить, не верит в угрозу с высокой орбиты, но раз она послужила причиной построения столь прекрасного города, они не имеют ничего против дальнейшего усиления этой угрозы. Порой создается впечатление, что всякое движение в глубину здесь происходит только из-за опасности с высоты — как будто самой по себе любви к Земле и ее недрам недостаточно. Народ кротичей, обитающий несколько южнее, в этом отношении гораздо более искренен: они не враждуют с небом, а просто-напросто любят свою землю и излюбляют ее вдоль и поперек.

Часто совицы вспоминают легенду другого соседнего народа о чудесном граде Китеже, ушедшем под воды светлого озера. Но то, что у росичей красивая сказка, у них — настоящая быль. Правда, их город ушел в землю только наполовину, но ведь и земля — не открытое озеро, загля-

дывать в себя не приглашает, хранит свою тайну, как добывает Матери, хранящей свое лоно от чужеземцев. Хоть и пребывает этот второй город рядом с первым, а все равно как за тридевять земель, словно в волшебной сказке: днем не дойдешь, ночью не увидишь. «Наша явь чудеснее ваших вымыслов», — иногда дружески гордятся совичи перед росичами.

Наружная часть Совска, довольно бледная и бесцветная в дневном освещении, ночью тоже волнующе преобразуется, производя внушительное впечатление на бодрствующих граждан, как гигантские раскопки какого-то давно исчезнувшего подземного города. Будто только что его открыли, извлекли из толщи археологических слоев, и сияет он под луной во всем своем варварском потустороннем великолепии. Да, Верхнесовск и Нижнесовск — а они практически уже разделились на два города, — оба построены не для дневного зрения, не для заезжего жителя полдневной страны, который ничего здесь не увидит, кроме обшарпанных стен и кособоких углов. Чтобы по достоинству оценить оба города, нужно иметь по крайней мере чутье археолога, привыкшего по малым останкам восстанавливать картину целого, по отпечатку земли воспроизводить воздушные очертания невиданных храмов.

Совичи вообще считают, что уровень жизни должен мериться не столько высотой, сколько глубиной. Да, вы хорошо живете, — говорят они иностранцам, — но только поверхностно. Все у вас наружу: и города, и дома, и тела, и мысли. А у нас все очень глубоко запрятано и снаружи почти не видно, зато там внутри... Что внутри, не говорится, потому что это и не должно выговариваться наружу. Действительно, мы, обитатели Полдня, достигли самого высокого уровня жизни за всю историю человечества — зато они достигли самого глубокого. Времени зря не теряли: зарывались все глубже, прятали все самое важное, окружали мраком самое дорогое. Под каждым их домом образовалось такое глубокое подполье, что нам хватило бы на сто этажей самого шикарного небоскреба. И все равно эти этажи, вместе взятые, не равнялись бы одному маленькому подвалу, где зарыт никому не ведомый талант и куда владелец спускается по ночам, чтобы втайне прикоснуться к своему сокровищу.

Помню, я сидел со своим знакомым совичем в ресторане на самом верху нашего знаменитого небоскреба. Играл оркестр, танцевали роскошные пары, мигали светомузыкальные устройства. Мы подошли к окну и долго смотрели на оцепивший нас высокими огнями город. «Ты знаешь, — сказал он, — чего мне здесь не хватает? Подполья».

В этом все дело! В нашей стране, где стремительно рвутся в зенит и набирают высоту дома, заработки, фонтаны и ракеты, биржевой курс и балетное искусство, ему не хватало одного — возможности забиться под землю. На всех наших просторах для него не нашлось бы уголка, где он мог бы остаться самим собой — вопреки всему. Нет, и у нас он смог бы найти себе тысячу уголков и вырыть сто десятиэтажных землянок, но не вопреки, а в согласии и благодаря. Это было бы не подпольем, а все тем же небоскребом, растущим вниз — какая разница! Глубина — вовсе не верх, опрокинутый вниз, это другое измерение, это возможность жить вне общего закона, это право стать исключением из правил. Там, где исключения становятся правилом, уже не может быть исключений. Глубина — не просто возможность скрыться, это еще и невозможность показаться наружу, невозможность выразить себя. Там, где есть только возможности: показаться или скрыться, выйти наружу или уйти в себя, — там не может быть настоящего подполья. Ибо его не выбирают для жительства, а загоняют туда необходимостью, которая становится сознательной свободой.

Подполье — это невозможность, ставшая потребностью. Совичи отличаются от всех известных мне народов тем, что в число их потребностей входит одна, которую не может удовлетворить ни одно другое государство. Все государства заботятся о том, чтобы полнее удовлетворять потребности своих граждан одну за другой, но при этом упускают самую важную потребность неудовлетворенности. Совичи создали такое общество, чтобы оно в первую очередь удовлетворяло именно эту глубочайшую их потребность. Вот почему ценители невозможного из всех стран мира когда-нибудь съедутся сюда — здесь они получают все, чего желают, и не смогут уже получить ничего другого.

Подполье, из которого можно выйти, выехать, выкатить, — это не подполье, а подземный гараж. Кто попал в

настоящее подполье, уже никогда оттуда не выйдет: это обжитая могила, в которую укладываются со всеми пожитками, чтобы скоротать оставшуюся жизнь.

Впрочем, надо признать, что гробы они умеют изготавливать разнообразно и с большим вкусом. У кого мягкие бархатные подушки, у кого дощатое ложе с гвоздями, у кого весла, чтобы вообразить речной простор, у кого черная траурная обшивка, чтобы оплакать самого себя.

И в повседневной жизни люди достигают большой глубины, каждый находит для себя то единственное дело, в которое он легче всего мог бы спрятаться от всех на свете. Один прячется в большую науку, другой — в маленькое хобби, один — в разводы с женами, другой — в разведение кактусов, один — в элитарный спорт, другой в массовую физкультуру, один — в ночные заботы, другой — в дневные забавы, один — в Древний Египет, другой — в Новый Иерусалим, один — в государственную службу, другой — в подрывную деятельность, один становится сердцеедом, другой — книжным червем. И так они все попрячутся, что никого не увидишь и не услышишь — голо, пусто, одни разбитые скорлупки валяются под деревьями.

А иные даже и не ищут, куда спрятаться, — сидят в своих дуплах и слушают, как растет дерево. От каждого скрипа замирает сердце — значит, еще на вершок подросло, тянется, хрустит суставами. Где-то рядом шумят могучие соки, доставляемые насосом из-под земли, утолщаются волокна, утяжеляется цепь, набегают еще одно годовое кольцо. Многих совичей так и находили в заросших дуплах — дерево сквозь них прорастало, и такая смерть считается счастливой. Ведь самых знатных и заслуженных совичей тоже хоронят в деревьях, выбивая особые дупла, чтобы их прах сливался с мощью растущего Леса.

Глубина здесь ощущается во всем — ничего не выходит на поверхность, а только шевелится где-то на дне, как слабый зародыш неродившегося существа. Один поэт назвал сов «глубоводными птицами воздушного океана». Отсюда эстетика и психология дна, темные переливы, таинственное мерцанье, исходящее от самых обыкновенных вещей. У входа в ресторан приходится долго ждать, как у входа в тайное святилище, — Впрочем, не исключено, что в подвальном этаже здесь и впрямь находится храм коньяка или

какого-нибудь ликера. Кого-то пропускают без очереди, подманивают, нашептывают, протягивают руку; иных, даже выстоявших до полного потемнения лица, не пускают вовсе — недостает метки на рукаве или вкрадчивого меткого слова. К иностранцам особенно не придираются — считают нас посвященными у себя на родине. Заходишь, садишься, чтобы долго ждать в строго отведенном месте, а за чуть приоткрытыми занавесками, в заалтарной части, что-то мелькает, доносятся приглушенные голоса — идет приготовление к таинству. Нужно выказать все возможные добродетели, от мужества до смирения, чтобы выдержать это испытание и причаститься к дарам местного храма.

Испытываешь к его служителям невольную благодарность за то, что и тебя, пришедшего с улицы, совсем неискушенного, погрязшего в сырости и мерзости внешнего мира, они тоже удостоили, пусть частичного, посвящения. Уходишь сытым, но ведь насытиться можно и дома... Уходишь алчущим, так и не насытив долгого ожидания, томительных вздохов, слезных молений, искренних раскаяний, — уверенный, что все это действие еще принесет духовные плоды в будущем. И повар, в сопровождении официанта, явится к тебе на дом и скажет: «Теперь мы уверены в вашей полной благонадежности, вы с честью выдержали испытание», — и вручит перевязанный черной ленточкой пакет от Великого Магистра Ордена Голубых Креветок.

Такова мистерия обыкновенного ресторана, а что касается высшей власти, то здесь остается только прижать палец к губам и закрыть глаза ладонью. Назову два общеизвестных факта: 1) вся власть в Великой Сове принадлежит народу; 2) великосовский народ — самый загадочный в мире, тайна его души еще никем не разгадана. Если свести воедино эти два факта, которые порознь признаются как официальными, так и неофициальными историками, то получится искомое решение: в этой стране правит сама Загадка. Если ее разгадать, она уже не сможет править, потому что никому не дано подменять собой загадку целого народа. Тайна поддерживает власть, а власть охраняет любую тайну. Даже швейцар — полномочный представитель тайновластия у входа в святилище пищи и храм белых салфеток.

Порою кажется, что правящие круги Великой Сове до сих пор еще находятся в подполье. Оттуда редко кто-нибудь

выходит на поверхность, и всегда как-то принужденно, будто выпихнутый мощной невидимой рукой, отчего круги долго расходятся по воде. В первый момент на виду у всех он опирается, отряхивается, охорашивается, пока перья не высохают и он не принимает достойный вид. Лестница служебной карьеры ведет у них куда-то вниз, и чем больше ступеней одолевает идущий, тем делается менее заметным, пока вовсе не пропадает из виду, появляясь только в виде окантованных черной каймою портретов на летных парадах.

Критерий отбора в правящую элиту долгое время оставался загадочным, пока не выяснилось: загадочность — это и есть главный критерий. Самый загадочный народ должен иметь самых загадочных правителей — тогда он сможет любить и уважать их как подлинно народных. Если совиц сохраняет полную непроницаемость, если мысли его никому не известны, а слова ничего не выражают, если о нем нельзя сказать ничего достоверного: ни да, ни нет, ни добрый, ни злой, ни умный, ни глупый, ни красивый, ни уродливый, — то это верный признак его возможного продвижения на самые глубины власти. Нелегко удержаться от соблазнов славы, однако народ не очень-то уважает тех, кто сделался известным, а вот неизвестных уважает даже больше, чем любит. И потому будущий великий человек должен с самого начала отсесть от себя стремление выделиться, возвыситься над остальными — и только все время куда-то глубже вдаваться, вплоть до полного исчезновения, чтобы, глядишь, через двадцать-тридцать лет появился полный его портрет в праздничном оперении, с отблеском темной свечи во взгляде, чтобы на память невольно приходили древние молитвы.

Вообще там, где упразднена религия, — все становится религией, где упразднены обряды — любой обычай становится обрядом, где упразднены храмы — всякое учреждение становится храмом. Священное не исчезает из жизни, а напротив, сама жизнь превращается в сплошное священнодействие. И чем больше тайны в повседневной жизни, тем больше власти у самой смерти. Она стоит у входа с галунами на плечах, в черном мундире, и без ее нашептыванья и подмигиванья нельзя узнать вкус самой обыкновенной пищи. Система тайновластия передает смерти власть над жизнью, а жизнь получает в дар привкус горечи, оттенок бледности и темную печать, отгиснутую на лицах.

Эти глубокомысленные соображения пришли мне на ум, когда я собирал грибы, поддавшись уговорам знакомого совича. Он обещал, что целенаправленная прогулка по осеннему лесу осенит меня небывалыми мыслями, — и оказался прав. Все время наклоняешься, вглядываешься в землю, будто разыскиваешь клад, — и земля раскрывает свои духовные сокровища: набрал лукошко грибов, а заодно и корзинку мыслей, пусть сыроватых, с прелым запахом, зато по-осеннему свежих.

Грибы — только символы подземных кладов, но и сами клады — только символы кладовых нашего подсознания, и потому, собирая грибы, совичи совершают автоматический спуск в глубины своей коллективной памяти. Там белый предстает как царь, груздь — как горец под светом одинокой звезды, опята — как крестьяне и т. д.; в общем, ходишь по лесу — и перелистываешь сокровенные страницы истории самого Леса. За желтым листом — красный, за красным — багряный: очень толстая и грустная книга, на последних страницах которой — совсем уже черная прошлогодняя листва.

Другой любимый вид досуга — рыбная ловля. И опять все лучшее приходит из глубины, как будто резвятся и играют там серебристые луны. Одни только отражения рябью пробегают перед лицом сурового рыбака, позволяя пребывать в состоянии мудрости перед лицом сознающей себя природы. Особенно любима зимняя ловля, когда в затвердевшей воде пробивается маленькая луна и ее отраженный свет чистым блеском радует душу. Рыба всегда почиталась у совичей не только как ценнейший продукт питания, но и как мудрый обитатель подводных глубин — бесшумный любитель лунного света. Восхищает ее немота, серебристая окраска, обилие маленьких зеркал, ненавязчиво, но разносторонне отражающих действительность...

Таким образом, даже досуг у совичей развивается в глубину, позволяя без всякого принуждения наклоняться к земле, склоняться над водой, отрабатывать технику и грамматику склонения. Глубинные формы досуга окончательно подтверждают общую направленность великосовской жизни к изначальным основаниям жизни вообще. Вот почему социологам, политологам, демографам, экономистам необходимо срочно учесть странноведческий вклад во все эти

дисциплины и определять уровень жизни в каждой стране, исходя из двух показателей: высоты и глубины.

До сих пор нас, условно говоря, интересовала только высота Джомолунгмы — и мы игнорировали глубину Мариинской впадины. Но ведь рельеф земной поверхности, его скульптурная выразительность определяется именно сложением этих двух величин. Не так ли исследователь цивилизации должен брать в расчет не только ее вершины, но и глубины — чтобы получить весь объем работы, проделанной за тысячелетия? Уровень общемирового развития сразу подскочит, как только туда будут включены данные о Великой Сове. И уверяю — подскочит выше головы. Ведь даже наука о земной коре подтверждает, что ее наружный рельеф больше выигрывает за счет глубины, чем высоты, — и высочайшая из вершин не так велика, как глубочайшая из впадин.

Цивилизация, наслаиваясь на земную кору как свою подкорку, еще больше усиливает колебания естественного рельефа, придавая ему выпуклость мозга; и глубокое в этом двойном напластовании скорее растет в глубину, чем высокое — в высоту. Ноосфера с усиленным размахом вторит очертаниям геосферы. Вот почему высокоразвитые страны больше прибавляют к уровню мирового развития, чем высокоразвитые, и Великая Сось служит надежным мериллом исторического прогресса.

14. АКТИВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ, или ИСКУССТВО ХОРОНИТЬ

Зарыть, чтобы откопать. — Похоронная. — Обряд воскрешения. — Древнее и древностное. — Дело и «дело». — Мертвое живет всех живых. — Могилка одной книги. — Завод-музей. — Страна-музей. — Обгонять время. — Кто стал ничем, тот будет всем.

Глубина жизни требует особых методов изучения, сопереживания и воссоздания. Археология — любимая наука совичей. Настолько любимая, что даже вполне годные предметы они часто зарывают в землю, чтобы потом откопать их через много лет и поразиться величию и красоте своей

древности. Особенно это относится к предметам духовного творчества, которые не могут стать вполне духовными, пока не пропитаются духом земли. Если предмет не приобрел землистого оттенка, не обветшал, не пропах сыростью, он лишен для них обаяния и они обращаются с ним небрежно; зато этот же предмет, выкопанный из земли, вызывает умиление, и в своих переполненных музеях они помещают его на первое место. Кроме того, предмет, появившийся из лоно Земли, свидетельствует о ее духовной плодovitости и становится как бы младшим братом самому Великому Сове. Некоторые художники дошли до того, что стали закапывать свои картины на год-другой, а потом, извлекая их из земли, выдают за шедевры безымянных мастеров прошлого и обогащаются на этих находках. Впрочем, если бы кто-нибудь из них сам согласился умереть, он мог бы заработать еще больше и сразу основать свой посмертный музей.

Всесторонне развивая свою небывалую науку о воскрешении мертвых, они не забывают, чтобы у нее постоянно пополнялся предмет изучения, чтобы в землю уходило как можно больше всего наземного... И тогда на месте раскопок, развернутых по всей стране, на месте ушедших в землю домов, дворцов, усадеб, храмов — вырастут прекрасные музеи в их память и честь.

Разумеется, не всегда им удается со всеми надлежащими подробностями провести процедуру погребения предмета, а затем раскопать его через десятки или сотни лет. Ускорение дает себя знать и в этом вопросе, и тогда акт погребения-раскопки становится чисто ритуальным. На предмет или лицо составляется похоронная, которая позволяет ему некоторое время, иногда один день, походить в мертвецах, а потом получить все права воскрешенного: славу, деньги, награды, поклонников, учителей и последователей. Обычно это бывает в глубокой старости, когда общество не может дожидаться медлительного приговора природы и нуждается в заслугах данного человека, но не может воспользоваться ими, пока он жив: еще не заслужил, не породнился с землей, не прошел через очистительные недра, не родился вторично, не стал братом Сове. Тогда на него составляется — без его ведома — похоронная, чтобы избежать лишних хлопот и не утомлять старика, тем более если он прикован к постели. Таким лежачим похоронные оформляются очень просто,

под медицинскую справку, представленную родственником. И тогда условно погребенному тут же следует награждение и он считается уже дважды рожденным, а его открытие достается из-под земли, из какого-нибудь садика-дворика, куда он еще в молодости его закопал от посторонних глаз, — и теперь торжественно используется на благо человечества. К тому же выясняется, что авторские права принадлежат самому обществу, которое этого гения породило, а потом раскопало — но из щедрости оно выдает своему младшему соавтору отчисления на старческие микстуры и таблетки.

Если же гений еще молодой или в расцвете сил, то ограничиваться символикой считается неприличным, и тогда поневоле все делается по-настоящему, громоздко, с задержкой на десятки лет — но ничего не попишешь: если уж для смерти приказано ничего не жалеть, то для воскрешения тем более. Приходится выискивать в нем общественные недуги, ставить диагноз скоротечной кончины, писать похоронную, возиться с ритуальными принадлежностями, — а через двадцать-тридцать лет раскапывать могилу, одевать усопшего в костюм по последней моде, накалывать орден на лацкан, и дальше все уже идет своим чередом: могила превращается в музей.

Бывали даже такие случаи, когда один человек, очень высоко ценивший другого, нарочно писал на него похоронную, чтобы потом воскресить, — иногда по взаимной договоренности. Порой изобретатель ценит свое изобретение больше жизни и просит близкого друга: похорони ты меня, чтобы мою выдумку можно было из-под земли раскопать, а то сгниет, не дождется моей смерти. Настоящий друг может и собственный почин проявить, чтобы не залеживалось в земле общественное богатство и живой гений ради жалкой жизни не оставался в неизвестности. Но воскреситель должен заранее сообщить будущему воскрешенному о ждущей его участи, иначе тот не успеет сделать напоследок два-три предсмертных изобретения.

Вот почему поступок Сальери, убившего Моцарта без всякого предупреждения, вызывает в этой стране такое массовое возмущение, как нигде, и до сих пор еще проводятся митинги, посвященные этому гнусному злодеянию, совершенному двести лет назад. Вопрос о том, виновен ли

Сальери, даже не ставится, как не ставится он и в других странах, где друг Моцарта давно уже признан невиновным. Но здесь никто не сомневается в обратном: люди просто не поверили бы, что лучший друг мог не убить такого гения, как Моцарт, чтобы его музыка зазвучала не через сто лет, а через два-три года. Он обязан был его убить, чтобы достать правду хоть из-под земли — если ее не бывает выше. Но он обязан был предупредить Моцарта, чтобы великий композитор мог написать напоследок еще что-нибудь бессмертное, два-три реквиема, а не один, и то не вполне законченный. В негласном кодексе чести здешних ученых и писателей есть такой пункт: «хочешь воскресить — предупреди товарища», — чтобы он был воскрешен не даром, а с пользой для потомства и к украшению собственной памяти.

Мне рассказывали про одного литератора, который пришел с дружеской попойки смертельно бледным: друг, литературный критик, произнося тост за здоровье нашего героя, пообещал его в ближайшем будущем «воскресить», то есть открыть сокровища его таланта для всего народа. «Я боюсь не успеть,» — сказал литератор своей жене и срочно принялся за работу. За две недели он создал свой лучший роман «Павшее зерно». После этого критик выстрелил в него залпом убийственных статей, и литератор скончался от разрыва сердца, а друг в своей надгробной речи подтвердил прежнее обещание, обратившись к праху покойного: «Спи спокойно, наш талантливый друг, придет время — и мы тебя воскресим». И он сдержал свое слово. Три года спустя этот критик первым написал восторженную статью о творческом наследии своего незабвенного друга и о его замечательном, еще не раскопанном произведении. Статья называлась «Грядущие всходы». И вскоре «Павшее зерно» вышло в свет, совершив переворот в искусстве, так что критик без ложной скромности мог бы считать себя соавтором этого великолепного сочинения — ведь если бы не угроза воскресить, воскрешать, действительно, было бы нечего.

Таким образом, археология трактует свой предмет очень широко, распространяя его не только на древность в буквальном смысле, но и на современность, пропущенную через особую призму архаического восприятия. Те явления, которые лишь по внешним обстоятельствам и принадлежат нашему времени, а по сути относятся к древности,

называются не древними, а **древностными**. Скажем, древний художник — тот, кто жил в давнее время, а древностный — тот, кто живет сейчас, но рисует так, как если бы жил давно-предавно. «Древность» — обозначение эпохи, а «древностность» — определенного стиля, и предмет или человек, не будучи древним, может быть древностным, т.е. существовать в модусе прошлого как археологический предмет или личность, лишенная действующих функций, но прекрасная своим сохранившимся отпечатком в слое нашего времени.

С какой стороны ни подойти к их культуре, окажется, что археология всему задает тон, не только откапывая древние вещи, но и производя на свет массу древностных. Промышленность, строительство, транспорт и даже сельское хозяйство — все это своеобразные отрасли активной археологии. Картофель или морковь появляются из-под земли такими сморщенными, будто это урожай не нынешнего, а позапрошлого года, а то и прошедшего столетия. То ли сама земля здесь такая древняя, то ли, напротив, молодая и потому древние ее слои ближе подступают к поверхности, — но почему-то здесь овощи никогда не вылезают свежими, а как будто приносятся с выставки «Как наши предки обрабатывали землю».

Но эти овощи, явно попавшие не в свое время, — только образец, который сама природа подает людям. Даже новенькие вещи, только привезенные для продажи, и те носят отпечаток ветхости — словно перед тем, как попасть на прилавок, они года два кем-то обнашивались, и это придавало им окончательно продажный вид. Новенькое здание старательно окапывают канавами, обносят складами и свалками, чтобы поскорее придать ему археологическую ценность.

Таково своеобразие всей великосовской архитектуры — она ближе к археологии, чем к архитектуре в собственном смысле слова. Есть даже такой термин: конструктивная археология, что, собственно, и означает архитектуру, под которой здесь понимается строительство старинных сооружений (от «архе» — древний и «тектос» — строитель). Новые города строятся в форме древних поселений, засыпанных щебнем, песком, мусором и другими отложениями последующих геологических слоев, так

что невозможно в точности определить: то ли их недавно засыпали, то ли не до конца раскопали.

В этом парадокс: древних вещей здесь не так уж много, они просто не успевают стать древними, потому что ветшают с детства и не доживают до преклонных лет. Зато древностных — сколько угодно: новых, но помятых, современных, но несвоевременных, новорожденных, но мертворожденных, юных, но перезрелых...

Древность настолько мила совейцам, что слово «седой» в их лексиконе имеет безупречно положительный смысл, хотя белого цвета они не любят, а просто «белый» означает «враг». Однако если тот же самый белый предмет назвать «седым», то он воспринимается уже как потерявший цвет и приближенный к незримости. «Белый» и «седой» — почти одинаковые по значению, но противоположные по смыслу понятия: в одном отрицается тьма, а в другом — цвет вообще, то есть темное утверждается в его высшем развитии как постарение и выцветание самой тьмы.

Может быть, это нельзя даже назвать археологией, поскольку не о древнем, а о **древностном** здесь идет речь, — пусть это называется **археософией** или **неоархаикой**. Дело не в слове, лишь бы слово было о деле. А дело здесь делается таким образом, что раньше всего на него заводится «Дело». Два эти разных явления называются у совичей одним словом: дело-поступок и дело-опись. И если кто-нибудь говорит, что занят делом, его обязательно нужно переспросить, каким именно. Впрочем, тенденция такова, что первое значение «дела» вытесняется вторым и всякое производственное дело зависит от делопроизводства: какое дело из него произведут, таким оно и окажется. Вот почему совичи спешат обзавестись всякими квитанциями, накладными, этикетками, талонами: они не столько живут, сколько готовят материал для своего будущего воскрешения.

Здесь в ходу жанр, который я бы назвал «обратной летописью»: у нас обычно что-то отмечается для памяти, когда событие уже закончилось, а у них — до того, как началось. Память у них — на первом месте, иначе и вспомнить будет нечего: редко какое событие получает начало, а тем более доходит до середины, зато в памяти и летописи оно сохраняется целиком. По сути, память у них — та же самая земля: сначала надо погрузить туда предмет, чтобы он по-

мнился, а потом уже не стоит портить этот славный конец каким-то робким началом, которое неизвестно к чему приведет. Поэтому в их делопроизводстве концы всегда точь-в-точь сходятся с концами, а начал отыскать невозможно, и в этом тоже чувствуется армейская выучка: каждый человек имеет право на достойный конец, и жизнь получает смысл в точке смерти.

Раньше я никак не мог понять смысл этих захоронений, и даже лозунг, повсюду у них висящий: «Мертвое живее всех живых», — ничего мне не объяснял. Но один высокообразованный сович постарался мне объяснить. Как-то во время совместной прогулки он попросил у меня книжечку стихов моего любимого поэта — и тут же, на моих глазах, закопал ее в землю с поразительной быстротой (это они умеют, я возился бы час). Мы постояли над этой книжечкой, о которой я, признаться, очень жалел, хотя она и не была библиографической редкостью. Минут через пять он спросил меня: «Скажите, этот поэт, которого вы так любите, — разве не стал он еще ближе, еще дороже вашему сердцу? Разве вы не чувствуете, что теперь он еще живее, чем раньше, как будто он в нас немного воскрес — немного, потому что я закопал не его самого, а только его книгу?»

Я прислушался к своему сердцу — и был вынужден признать его правоту. Я, действительно, вдруг представил этого поэта, каким он был живым, с его выющимися волосами, грустной улыбкой, перстнем на безымянном пальце... И оттого, что я стою над его закопанной книжкой, над его маленькой могилкой, мне вдруг стало грустно и светло, мне даже показалось, что он обратился ко мне, сказал несколько слов, которые я не успел расслышать. Он вдруг словно приблизился ко мне, встал рядом со мною над своей могилой...

Так и осталось все это для меня загадкой, которая темной улыбкой проскользнула по лицу моего собеседника. Он раскопал книжечку, отряхнул и вернул ее мне. Во всю оставшуюся дорогу мы не проронили больше ни слова. Но я понял, что им известно нечто, неизвестное мне, и с тех пор не берусь их судить. Книжечка лежит у меня с тех пор за стеклянной дверцей шкафа ни разу не раскрытая — я читаю своего поэта по другим изданиям. А вокруг нее, в самом деле, осталась какая-то атмосфера неприкосновенности, маленький музей одной книги — я чувствую это в самом

воздухе, который вокруг начинает пахнуть землей и святостью. И с моим любимым поэтом, после того как он полежа в земле, я еще больше сблизился: я понял, каково ему было умирать совсем молодым, и понял причину его чудодейственной жизни после смерти. Каждый все равно доживает свое — не в себе, так в других.

И тогда я понял, отчего у них так мало музеев, — оттого, что их слишком много, и они называются разными именами: архив, комитет, контроль, учет, охрана, безопасность, наблюдение, проверка, регистрация, и пр. и пр. Все это действующие музеи, которые принимают на хранение все богатство национальной жизни, но еще не успели выставить его из запасников и открыть платный вход посетителям — допускаются только специалисты, причем их труд хорошо оплачивается. У нас это дело сосредоточено в немногих руках и специально выделено как музейное, а здесь что ни учреждение, пусть какая-нибудь заваливающая контора — то уже будущий музей данной конторы, завода, станка, детали от станка. Деталь могла бы уже тысячу раз затеряться, а станок и вовсе не работать, но в музее они надежно расписаны по каталогам и будут числиться века, пусть потерявшись и не работая.

У нас все кончается музеем — и доходит до такого почетного конца очень немногое из жизни. А у них все начинается с музея — и до жизни из такого почетного начала доходит тоже очень немногое, да и стараться особо не стоит, все равно почету это не прибавит. Если уж родился в музее, то считай, все равно как умер, тут тебе вся память и опись предстоящей жизни, живи — не живи, а потому станку незачем включаться — он производит нужное дело именно как удачный факт делопроизводства, как четкий макет станка, правдивый до последней детали. Мне уже не раз намекали, что многие предприятия в ближайшее время перейдут на музейный режим работы и будут широко открыты для иностранцев, которые дорого дадут за то, чтобы посмотреть, как рабочий стоит у неработающего станка, как надевает фартук, курит, читает газету, слушает выступление лектора, рисует плакат для митинга. Я с нетерпением жду возможности увидеть собственными глазами прославленные заводы-музеи, но немного боюсь за свой кошелек: все доходы от музеев будут переводить-

ся в фонд заработной платы рабочих, а она здесь непрерывно растет.

Основоположник и теоретик музейного дела в этой стране писал: «Государство — это учет. Если вы сумеете взять на учет каждый кусок железа и ткани, то это и будет наше государство. Не понадобится строить никаких музеев, потому что оно само станет музеем. В нашем государстве хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка, льна для всех, лишь бы каждый имел точную опись того, что он уже имеет. И тогда в каждом доме мы будем иметь образцовый музей хлеба, леса и железа, в котором каждый посетитель будет чувствовать себя полновластным хозяином. И тогда мы гордо скажем владельцам знаменитых галерей, всех этих Лувров и Метрополитенов: добро пожаловать к нам, в наши города-музеи, в наши жилища-музеи, в наше государство-музей» (из статьи «Шире ставить дело повседневного учета!»).

Эта мечта, кажется, уже становится явью. Дело учета поставлено так широко, что многие предприятия и службы уже распахивают свои двери, предупредительно вывешивая на них табличку «учет». Это, по-видимому, означает, что музей готовится к открытию и приглашает будущих посетителей издалека полюбоваться своим богатством, прежде чем состоится торжественная процедура разрезания ленты и сокровища магазинов, ателье, парикмахерских будут выставлены для открытого обозрения, с полным перечнем всех прекрасно сохранившихся экспонатов.

Подводя итог, следует признать, что археологию мы до сих пор понимали слишком односторонне. У нас — это искусство раскапывать древности, у них — искусство закапывать всякую новизну для придания ей древности. Не ждать подарков от прошлого, а самим одаривать его из своих несметных богатств. Это и есть «творческая» или «двусторонняя» археология, как ее называют совичи, — великое искусство хоронить и воскрешать. Нашей археологии известен только обратный выход культуры из земли, они же открыли прямой вход культуры в землю. Мы умеем только раскапывать, а закапывать предоставляем времени: пусть старое поработает, покряхтит. Мы слишком бережем свой труд и позволяем, чтобы время нас обогнало, — они же сами обгоняют время. Не дожидаясь столетий, они бе-

рут в руки лопату и наносят на свою культуру горы земли и камней, чтобы она поскорее стала древней и вернулась в жизнь как недосягаемый образец, как прекрасное детство человечества.

Да, они зарывают в землю сокровища, но вырывают из нее еще большие сокровища. Земля приносит им богатый урожай не помидорами и огурцами, а спрятанными в ней реликвиями, которые не утрачивают, а выигрывают в эстетическом вкусе по мере того, как морщатся и гниют. Я настоятельно советую нашим землевладельцам использовать, наконец, долгосрочный резерв и полную силу земли и засеять ее не только природной мелочью из семян, но и лучшими предметами искусства, драгоценными колье из бывших императорских дворцов, золотыми окладами, иконами из старинных собраний. Через несколько столетий все это взойдет невероятным богатством на культурной ниве нашей страны.

Правда, опыт подсказывает, что от вещи, надолго зарытой в землю, может ничего не остаться. Но **ничто** здесь тоже ценится, за него даже деньги дают, лишь бы нашлась бумага, удостоверяющая, что на этом месте когда-то было нечто, а теперь — ничто. Людей возят на экскурсии: смотрите, вот оно, какое замечательное ничто, великолепное создание и драгоценная память нашей культуры. Чего тут только раньше не было: и дворец, и усадьба, и библиотека, и бальная зала, в которой танцевал наш великий поэт, и домик, где впервые коснулось его веянье незримых крыл: чего тут только не было, а теперь ничего! Подвиньтесь, товарищ, за вами **ничего** не видно, а ведь на него и другие хотят посмотреть!

И если это ничто обнести маленьким изящным барьерчиком и повесить густо исписанную табличку, то за его показ можно получать большие деньги. У нас все еще в ходу предрассудок, будто совицы нерасчетливы, не умеют ни из чего извлекать выгоду. Да как раз из ничего и умеют! Потому им больше ничего и не нужно: если есть у них хоть какое-то пустячное ничто, у них, можно считать, уже все есть. У них и в песне об этом говорится очень правдиво: **кто был ничем, тот станет всем**. Это поется торжественно, наверно, о тех, на кого похоронная уже была написана, а тут он и был воскрешен для блага всего народа. И хоть на пустом месте,

но обязательно музей для него устроят, пусть только в виде таблички: такой-то, здесь, тогда-то — воображаемый музей, и всякий желающий может его посетить. Там обычно сумрак, тишина — и ничего нет. Но это и заставляет пережить величие человека, от которого не осталось никакой мелочи — ни там стула, или галстука, или носового платка, — ничего не осталось, кроме самих великих дел: стихов, музыки, картин. А если и от них ничего не осталось, значит, еще более великий — остался одним своим именем, как гениальным произведением словесного искусства. А если и имени не осталось, значит, такой был великий человек, что вовсе не уместается в наши пять бедных чувств и не дает узнать о себе ничего. И таких великих людей много, много осталось в этой стране — просто ангелов по своей незримости.

Только я бы слова этой песни немного поправил. Что значит — был никем? Никем человек не бывает, он сначала всегда кто-то. А уже потом, если очень заслужит, станет никем, — и тогда, после воскресения, обязательно будет всем. «Кто стал никем, тот будет всем», — вот это полная правда.

15. ТАЙНА ПРЕКРАСНОГО

Внешний вид совичей. — Глаза. — Радуга и радужка. — Дурные приметы. — Категория страха. — Основная цепь выводов. — Критика — луна литературы. — Лунность и горечь. — Эстетика луковицы.

Я уделяю эстетике так много внимания не только потому, что долго занимался ею, но и в согласии с местным обычаем: общенаучный разговор напоследок переходит в область эстетики, после которой вроде уже и говорить не о чем. Красота здесь находится как бы на последнем месте, но это лишь оттого, что все должно завершиться красотой. Красота — это когда все существует само по себе, само для себя, и органика с автоматикой сливаются в ней нераздельно. Но именно поэтому все разговоры об эстетике остаются как бы незавершенными: собеседники жмут друг другу руки и расходятся, понимая, что примирить их может толь-

ко красота и что в будущем она сама скажет о себе последнее слово.

Вот и я часто, но лишь урывками касался этой темы. Но чувствую: пора, пора! Близится к концу моя повесть, а найти окончание не могу, и ничто не подсказывает мне его. Быть может, в эстетике или где-то рядом обозначится этот предел, перешагнув который, я смогу оглянуться назад с облегчением: пройден путь, и впереди новая дорога, новые страны...

Тем более, как известно, именно в эстетике страна эта движется быстрее и оставляет более ясные следы, чем на остальных поприщах. Ведь совичи выделяются среди других народов более всего остротой зрения, а это чувство — главный источник прекрасного.

Внешний вид совичей разочаровывает, как и фасады их зданий. Очень неброский наряд, в основном покровительственной окраски, что в сочетании с малой подвижностью в светлое время суток создает глубокий маскировочный эффект. Одежда — цвета древесной коры или лесной подстилки, спело-серого асфальта или блочно-бетонного дома. Но среди совичей популярно изречение, что «не одежда красит человека, а человек красит одежду». И если он красит ее в сумрачные тона, то этому есть объяснение: красочность самих глаз, которые не нуждаются во внешних источниках подкраски. Зеркалом совской души, несомненно, являются глаза, радужина которых поражает при первом же взгляде и заставляет замереть восхищенного или испуганного наблюдателя. Она бывает ярко-апельсиновой, почти красной у совцов, лимонно-желтой у совейцев, изумрудно-зеленой у совков. Многоцветность, почти отсутствующая во внешнем облике и окружающих предметах Сови, целиком выплеснулась в глаза и застыла там великолепной радугой. Поистине, райские яблоки не могли быть более румяного и золотистого цвета, чем эти, неподвижно застывшие в своих орбитах, потому что любое шевеление могло бы только вспугнуть эту хрупкую, хрустальную красоту.

И тогда становится понятно, почему в этой огромной стране так мало вещных примет прекрасного: музеев, галерей, дворцов, театров. Тайна их эстетики в том, что прекрасное вовсе не должно разворачиваться в формах пространства и равнодушной предметности, а непосредственно

являет себя в органах созерцания прекрасного. Ведь глаз созерцает красоту для того, чтобы приобщиться к ней; но если он сам несравненно прекраснее всего, что могло бы его окружать, — зачем эти нагромождения лишних вещей, картин, памятников, столь подверженных порче, нуждающихся в охране? Всю красоту, которую глаз хотел бы иметь вокруг себя, он имеет в себе. Зрение у совичей — воистину источник прекрасного, не требующий никакой посторонней помощи рук или ума: оно само обеспечивает себя красотой, в полном соответствии с законом самовозрастания. Музеи и прочая внешняя мишура нужны народам, у которых зрение не является самостоятельным источником совершенства, а требует дополнительных обстоятельств в виде инструментов, материалов и такой докучливой возни с ними, что всякий уважающий себя сович не вынес бы и ночи такой работы: зачем наряжать вещи в цвета радуги, когда она уже полыхает в очах?

«Зрящий выше зримого, — писал второй сподвижник Ангела Битвы. — Радуге вовсе не место на небе, ее место — в оболочке глаза. Это не что иное как радужка, отнятая у его законного владельца, чтобы любимый цвет своих глаз он находил только вовне, у слепящего светоча,

барски разбрасывающего лучи в пищу обнищавшему, точнее, ограбленному зрению. Таков чудовищный процесс отчуждения, когда солнце присваивает себе прерогативы человеческой роговицы. Иные восхищаются блеском небесной радуги, тогда как их должен был бы восхищать блеск собственных глаз. Но их глаза вылиняли от непрерывного любования отчужденной яркостью небесной среды — и только глаза совичей, в обстановке господствующего мрака, вернули себе исконную способность самосвечения. Напрасно радуются жаворонки, взвываясь к своей павлиньей радуге и пытаясь клювом ухватить ее за хвост, — эта пернатая игра всего лишь временная иллюзия радости, потому что подлинный источник радуги находится здесь, в самом зрачке. И рано или поздно неумолимая сила правды совлечет эту радугу с неба и вернет ее в источник производящей силы зрения. Тогда к нашим взглядам будет привлечен взор всех любителей истинно прекрасного» (СОФИА, раздел «Эстетика», глава «Солнечный свет — отчужденное зрение», параграф «Украденная радуга»).

Глаза у совичей много ярче, чем у других народов, разве что зрачок на фоне радужки кажется темнее — но вообще-то он, как у всех, черный. Не могу понять, почему в ряде стран сложился суеверный обычай: невзначай встретившись взглядом с приезжим совичем, тут же бежать домой или заходить в храм и не меньше часа неотрывно смотреть на горящую свечу. Иначе, дескать, зрачок засохнет и тоска заест. Даже на том месте, где жил сович, по их приметам, солнцу уже не бывать, поэтому там никогда не сажают цветов и деревьев, а устраивают склад горючих припасов или роют колодец, чтобы вода была холоднее.

Этот сверхъестественный страх, который возбуждают совичи за границей, можно объяснить только исхождением страха из их глаз, куда он закладывается с младенчества. Источник страха — жизнь ночного Леса, с его тысячами невнятных шорохов и шевелений; мы слишком мало знаем об этих диких чащах, чтобы строго судить совичей, но и нас не надо судить за то, что мы ограждаемся от их взгляда частоколом наших примет. Не потому ли огромные глаза — самое яркое в их внешности, что самое сильное их переживание — это страх, у которого, как они говорят, глаза велики? Сами условия существования приучили совичей широко раскрывать глаза на опасность, одновременно отпугивая возможного врага их ярким свечением.

Эстетика страха, преобладающая у совичей, прямо противоположна нашей эстетике любования и наслаждения. У нас даже и категории такой не выработала научная мысль. Правда, и в их эстетике, насколько я знаю, формально отсутствует «страх». Зато первое место у них занимает категория мужества. Именно потому, что почти в каждой своей книге они воспевают мужество, можно понять, какое место занимает страх в их жизни.

Эстетике совичи придают огромное значение даже не столько ради нее самой, сколько ради исторических последствий для общей теории взгляда. Ведь если внимание всего мира будет приковано к их глазам как источникам прекрасного, то дальше это внимание перейдет на то направление, куда истекает взгляд, и само усвоит его прямо-ту, его видение будущего. Совичи призывают: «Смотрите на нас, чтобы дальше видеть. В наших глазах отражается ваше будущее!»

Было бы трудно перечислить все категории, разработанные великосовской эстетикой, — приведу только так называемую «Основную цепь выводов»: Свет — несовершенный образ, образ — несовершенное понятие, понятие — несовершенная идея, идея — несовершенный поступок, поступок — несовершенное единство, единство — несовершенная тьма.» Разработанная коллективом ученых-искусствоведов и венчающая академический труд «Против светобесия и мракобоязни в теории образа», эта цепь связывает воедино труды многих секторов и институтов, каждый из которых строго специализируется на изучении отдельного звена. В одном секторе религия критикуется от имени искусства, в другом — искусство от имени морали, в третьем — мораль от имени политики, в четвертом — политика от имени Великого Сова. Это самый важный сектор, помещающийся на вершине каждой Мыслестоянки; выше следует только пресловутый свет, уже послуживший предметом критики, так что цепь замыкается сама на себя и все начинается сначала. Таким образом, взаимокритикой охвачены все звенья гуманитарной науки, каждое из которых дергает за другое, — и этим крепче натягивает всю цепь.

Из всех критик важнейшей считается литературная, следующая принципу «подобное отражается подобным» (слово отражается словом). При этом произведение становится не нужным ни читателю, который от критика узнает, что хотел сказать писатель, ни писателю, который от критика узнает, чего он не смог сказать. Критику называют «луной литературы», а поскольку Великая Сось живет в отраженном свете и по законам отражения, то критика считается более почетным занятием, чем поэзия или проза. Если писателю удастся выдвинуться на ведущее место в литературе, то лишь потому, что он стал критиком, выступает уже не как отраженный объект, а как отражающий субъект словесного творчества. Самый главный писатель за тридцать лет своей руководящей деятельности не написал ничего, кроме многотомного сборника критических статей, который так и называется: «Все, что я написал за тридцать лет, и кое-что еще» (имеется в виду то, чего он не написал, но за что голосовал). В общем, чем шире развивается критика, тем глубже свивается в свой начальный зародыш са-

ма литература, так что от нее остается лишь несколько за-
прятанных и почти невидимых шедевров.

Среди критериев критической оценки на первое место выдвигаются два: лунность и горькость, которые должны органически дополнять друг друга. Перебор лунности может вызвать такую реплику критика: «хватит глазированных тортов, нам нужен горький хлеб правды!» В целом произведение должно напоминать слабо пропеченный и сильно проперченный торт, с лунным отливом и горькой начинкой. Эстетические вкусы совичей формируются демократическим путем, на основе повседневных вкусов, и в литературе им тоже нравится не столько горечь сама по себе, сколько горчащая сладость. Сахар должен чувствоваться в основе, чтобы вся сила стилистической переработки уходила на горечь и в глазах постоянно стояли сухие слезы. Если писатель особенно нравится совичам, они его называют «Горьким». Эта высшая похвала, которой может удостоиться автор, если его язык достаточно шершав, чтобы и во рту читателя не исчезал привкус сухой горечи.

Лунность и горькость так тесно сплелись между собой в сознании рядовых читателей, что они все время ставят рядом Ангела Лунных Чар и Горького Ангела — и действительно, совская эстетика обязана им очень многим, хотя первый терпеть не мог горечи, а второй, когда смотрел на луну, плакал настоящими солеными слезами. Рядовые читатели этого не знают, да и могут обойтись. А вот как объяснить будущим профессионалам необходимость сочетания двух столь различных критериев?

Один профессор преподавал своим ученикам наглядный пример, который обошел все учебники. Они пришли на экзамен по предмету «лунность и горькость в современной литературе». Профессор вытащил из кармана большую луковицу и сказал: «Она будет экзаменовать вас». Потом он стал задавать вопросы и проводить испытания, — я приведу только правильные ответы.

«На что похожа эта луковица?» — «На луну».

«Каково основное свойство луны?» — «Отражать».

«Что нужно сделать, чтобы эта луковица отражала?» — «Снять с нее кожуру».

«Как очищенная луковица воздействует на органы восприятия?» — «Зрительно и обонятельно».

«Можно ли отделить блеск луковицы от ее запаха?» — «Нет».

«Почему?» — «Потому что когда луковица не блестит, она не пахнет, а когда не пахнет, то и не блестит».

Профессор внимательно посмотрел в глаза своим ученикам и разделил их на три группы: у одних глаза не покраснели, у других покраснели и выступили слезы, у третьих покраснели глаза, но слезы не выступили. Этой третьей группе было выставлено отлично по практике освоения горечи. Профессор закончил экзамен краткой речью:

«Теперь вы видите, как должно действовать искусство. Оно блестит, но не имеет своего источника света, — оно отражает окружающую действительность. Своим горьким запахом оно щиплет нам не только ноздри, но и глаза. Необходимо впитать до конца горечь действительности, отраженной искусством, чтобы развеять миф о некоей особой сладости самого искусства. Но значит ли это, что чувство горечи должно застилать нам глаза и мешать видеть предмет? Нет, глаза должны смотреть еще более сухо и зорко — едкий запах собирает вокруг них морщины и заставляет глубже взглянуть в предмет. У кого глаза не покраснели — тот бесчувствен, он не воспринял горечи. У кого полились слезы — тот чувствителен, он не воспримет отражения. Произведение искусства должно действовать так, будто сухой плач продирает глазницы. Взгляд с горечью, но горечь без слез. И не забывайте: чем больше слоев вы снимаете с луковицы, тем ярче отражение и горше запах. Эту категорию мы будем проходить с вами в следующем семестре: глубина».

Надо заметить, что луковица для совичей — не просто любимый эстетический предмет, но и практическое явление природы, помогавшее в древности одерживать победы над врагом: когда в него стреляли из лука, целясь прямо в центр мировоззрения, он начинал плакать и сразу сдавался, признавая слабость своих взглядов. Но впоследствии научились обходиться без лука: сам взгляд совичей стал оказывать на противника такое же слезоточивое воздействие, как свежеччищенная луковица. Художественное воспитание, повсеместно введенное в армии, готовит воинов к победному разоружению, к излучению пронзительной горечи силою одного взгляда, без помощи лука.

Однако совичи, посеяв в своих очах замену дикой земной поросли, навеки сохранили благодарность древнему помощнику, маленькому стрельцу — и с тех пор научились выращивать его до размеров целой репы. Не для битвы, не для славы, а для мирного удовольствия за обеденным столом, в кругу семьи, для безобидных намеков на стрелку, входящую в кружок. Символика любви вытесняет атрибутику войны. Лук репчатый, благодаря своему лунному лику и едкому запаху, стал таким же символом великосовской культуры, как роза или цветок вишни у других народов.

16. БРАТСКИЕ СВЯЗИ: РОСИЧИ И КРОТИЧИ

Росичи. — Мольба о Ночи. — Почитание Росы. — Два оттенка мрака. — Лазутчик из полдня. — Закатная песня. — Кротичи. — Роющий и реющий путь.

Вопреки мнению о том, что совичи повернулись спиной к другим народам и исповедуют духовную замкнутость, их учителя и ангелы утверждали: «ничто общее нам не чуждо». Внимательно изучая культуру других, прежде всего дальнородственных народов: росичей, кротичей — совичи находят у них немало параллелей своему Взгляду на мир. Многие писатели, хотя и отдаленные географически и историческими рубежами от Великосовья, тем не менее угадывали его смутный образ в своем творчестве или прямо вдохновлялись учением Великого Сова. Большинство их предпочитало работать ночью, погружаясь в ее полупрозрачную тень, отчего они и заслужили от современников кличку «сов». Вот отрывок из литературоведческого исследования на тему «Литературные связи совичей и росичей в свете учения о двух оттенках мрака» — приводим его как образчик дружественной методологии:

«Многие великие росичи, несмотря на тяжелый гнет и духовную забитость своего народа, находили немало поучительного в том мраке, который их окружал. Не имея надежных путей сообщения с Великой Совью, они издали тя-

нулись к ней, предвосхищая в страстных и негодующих строках сокровенное будущее своей страны. По сути, вся поэзия росичей, а точнее, лучшее в ней — это мольба о скором пришествии Ночи. Трудно, ощупью, впотьмах проби-вает себе дорогу в их стихах древний совий инстинкт, про-диктовавший, например, такие гениальные строки:

*О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого, пламенного дня!...
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!..*

Чувствуете ли вы этот клич отчаяния, рвущийся из ноч-ной души? — и смиренный, но неотступный призыв, моль-бу, заклинание:

*О ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!..*

Хотя эти стихи написаны росичем, под ними мог бы подписаться каждый сович — так глубоко здесь передано томление души, изнывающей в оковах дневного света. В последней строке автор не забывает припасть к источнику мудрости своей страны, ее живой воде, которою многост-радальный народ залечивал свои «дневные раны» (образ из другого его стихотворения). Роса, или сумрачная влага, — это символ национального самосознания у росичей, кото-рые называли ее (в духе старых поверий) божьей, каждо-дневно исполняя ритуал охлаждения в ней пылающего ли-ца и босых ног, разгоряченных дневной ходьбой. С ранне-го утра и до позднего вечера они работали в поле на своих господ, вынужденные слушать ненавистное «сладкоголо-сое пенье» жаворонков и имея только одну отраду: в пред-рассветный и послезакатный час оросить себя ободряю-щей влагой, истекающей из лона земли в ночное время, когда вся она раскидывается, раскрывается для объятий своих возлюбленных сынов. Поклоняясь росе, низко на-клоняясь, чтобы зачерпнуть ее полными пригоршнями, умыть лицо и плечи, укрепить себя телесно и духовно, —

народ этот поклонялся самой Земле, ее любвеобильному лону и влажным испарениям. Перед ранней зарей и после поздней зари, росистыми утрами и вечерами народ справлял свои целомудренные праздники соединения с Матерью. Древнейшее название этой страны: Рось — свидетельствует о том, что народу издревле было свойственно сумеречное самосознание и особое благоговение перед росой. Правда, росичи не углублялись в самое сердце Ночи, празднуя в своих обычаях и обрядах только росистые ее часы. По причине отсталости в этой стране почти не было углекопов, а только крестьяне, разрабатывавшие самый верхний слой Земли, — поэтому она не раскрывала им глубоко своих сияющих черных недр, а только чуть отблескивала сероватой, забуревшей поверхностью. Оттенки мрака в сумеречном самосознании росичей не достигают полной спелости и глубины, останавливаясь на зыбкой границе «светлых теней», «померкшего цвета», «тусклого сиянья», «туманной и тихой лазури», «сумрачного света», «прощального света». Совичи гораздо дальше продвинулись в цикле природно-исторического развития, приблизившись к всемирному полночному часу. Но и культура росичей сыграла свою роль в деле освобождения народа и всего человечества от позолоченных цепей дневной цивилизации, прямо подготавливая эпоху Великих Сумерек...

Порой поэта, еще не приучившего своих глаз к поздним сумеркам, мучили страшные виденья — словно бы отблеск и отзвук скончавшегося дня еще тревожил его душу:

*Вечер мглистый и ненастный.
Чу! Не жаворонка ль глас?
...Как безумья крик ужасный,
Он всю душу мне потряс.*

Сложно дать однозначное истолкование этим пронзительным строкам. То ли в самом деле перед поэтом мелькнул на миг лазутчик из царства полдня? То ли сам поэт еще не полностью освоил ночное виденье, еще не отрешился от утренних чар и зловещих проблесков в своей душе — и в парении вечерней птицы ему почудился неожиданный посланец «пламенного дня»? Быть может, в его впечатлительном слухе еще отзывались «ненавистные», «дикие» клики дав-

но прошедших времен? Но как ни толковать значение этих строк, отношение автора к жуткому призраку однозначно. Уж не сошла ли с ума сама природа, визгом жаворонка нарушив священную тишину Храма, каким для поэта всегда была Ночь?

...Вечная Ночь набросила свой материнский покров и на могилу поэта, но никогда не умрет память о нем, тихой тенью скользя меж воспетых им широких дубов» (из главы «Архетип Сова в поэзии росичей»).

Приведем еще один пример бережного проникновения совичей в духовный опыт русского народа — на этот раз в излюбленном у них жанре «закатной песни», или «элегии в прозе». Пусть не смутят читателя некоторые повторы: совичи любят повторять свои и чужие мысли, если считают их верными, ссылаясь на то, что сама Земля из года в год повторяет одно и то же и в этой повторяемости — ее мудрый урок народам.

«Росичи всегда были духовно близки нам, совичам. Они исподволь узнавали в себе наши будущие черты: несуетный нрав, неброский наряд, бесшумную поступь, смиренный наклон головы — всегда вниз, к земле, любовь к ускорению, любовь к осени, с ее унылым ненастьем, серыми тучами, ранними сумерками... Они складывали протяжные, как и мы, песни о Матушке-Земле, но, конечно, не проникали в нее так глубоко, не докапывались до черных светонесных пластов и не рыли могил своим угнетателям, а сами тихо и послушно сходили в них. Великий Сова, пролетая над нашей землей, только тенью своих крыл коснулся их страны — и она уже затрепетала, затомилась в вещем предчувствии, готовясь смежить веки и желая уснуть в сумраке наших темных дубов, воспетых их великим поэтом. Но еще не поднял своей трубы Ангел Будущего, еще не послышались глухие тревожные клики Ангела Бури, еще не вырос над ними своими гигантскими крыльями Ангел Битвы. Так и остались росичи жить в своей унылой нежити, не чуя незримых крыльев, уже простертых над слепнувшим небом нашего века. Догнивают и чернеют их ветхие избы, роса в смеркающихся полях холодит босые ноги, но они не знают, куда идут и зачем, разве черный силуэт пролетающего мимо совича очертит на миг перед ними далекий путь и отзовется в душе безысходной печалью. Скоро мы проводим в

последний путь их последних сынов, но всегда будем помнить этот кроткий и чистый народ, не вынесший новой жизни, но и слова не проронивший против нее. Мы будем обживать эту грустную землю, и их поникшие березки соберутся в праздничный хоровод вокруг наших могучих дубов...» («Совская литературная антология, т. 67, «Закатные песни»).

Уважительно относятся совичи и к духовному наследию кротичей, чья заветная «Книга ям и оврагов» рекомендуется у них к изучению как пример глубокой и деятельной любви к родной Земле. Правда, характеры этих народов очень различны: насколько совичи дальнорорки, настолько кротичи близоруки и не видят ничего дальше своих подземных ходов и маленьких холмиков. Неба и жаворонков в нем они не могут даже разглядеть, поэтому по простоте душевной считают, что их-то земля и есть самое настоящее небо, и называют свою подземную империю поднебесной. Из-за этой слабости они не в состоянии нести пограничного дозора и охранять свою Мать от происков верхних пронебесных сил. Совичи считают своим долгом обеспечивать безопасность и покой кротичей, совершая над их страной предохранительные облеты, а заодно и обучая некоторых особо выдающихся кротичей Прямому Взгляду, хотя бы в пределах внутренней безопасности страны от летающих бабочек, шмелей и прочей мелкой дневной агентуры.

Однако на почве любви к общей Матери между совичами и кротичами случаются огорчительные раздоры, потому что одни любят ее иначе, чем другие, и хотят больше иметь предмета своей любви. На совещании, проведенном на самом высоком холме под самым низким дубом на границе двух земель, было решено признать «роющий и реющий путь одинаково законными на пути к сердцу Матери» («Материалы Сердечной Встречи», т. I). Однако между собой совичи считают кротичей крайне недалеким народом и даже устанавливают их место, как и жаворонков, по ту сторону истинной истории. Как пишет почти уже невидный специалист в области полубратских отношений, «подлеповатость и разноглядство, подземная глубь и занебесная высь — это крайности, выпадающие из нормального хода истории, и уравновесить их может только твердый немигающий взгляд на границе Земли и Неба. Кротичи так же од-

носторонни, как и жаворонки: копаясь в земле, они не видят неба, как те, взвиваясь под небо, не видят земли. Только в области темных дубов совершается подлинная судьба Земли, которую не завесить и не занизить» («Размышления о честной середине»). Тем не менее совичи любят стихи Кротчайших поэтов, особенно те, где изображаются сосны, уходящие корнями в песчаные обрывы, и давно уже вымершие вечерние чайки, под которыми аллегорически подразумеваются будущие потомки Великого Совы.

17. ОБЫЧАЙ СКУКИ И ВЕСЕЛЫЕ ЖАНРЫ

Обычай скуки. – Зевота и «зевомкость». – Великая Кукушка и Великий Сова. – Иноземные совичи. – Кукушка – это Время. – Закон Лесной Истории. – Психология кукованья. – Заводные и ручные кукушки. – Певческое искусство. – Хриплый Ангел. – Беззвучная песня. – Паясничанье. – Искусство смешить собой. – Театр Шеи. – Хохот. – Символ веры.

Несмотря на обилие культурных связей и взаимовлияний с другими народами, у совичей есть такие оригинальные обычаи, подобия которым не найдешь нигде на свете. Так, одно из любимейших развлечений великосовского общества – скука. На нее принято жаловаться, как на милого человека, который до того уж мил, что для полноты счастья хочется немного на него рассердиться. Совичи обожают скуку, в чем бы она ни проявлялась, – в скучных новостях, спектаклях, заседаниях, где изо дня в день и из года в год повторяется одно и то же. Сович может часами сидеть на нижней ветке, глядя в один неподвижный предмет и радуясь, что мир устроен спокойно. Приятно также бродить по сумеречным улицам, на которых никогда ничего не происходит, смотреть на туманное небо, в котором если что и происходит, то незаметно для наблюдателя.

Встречаясь друг с другом, знакомые совичи обмениваются не поклонами, а зевками, сообщая этим, что у них все обстоит благополучно. В учреждениях люди так и ходят по

коридорам с открытыми ртами, поскольку не успевают зевать всем знакомым. Если же человеку не зеваются, к нему подходят с беспокойством: что случилось?

Зевать никем не предписано, поэтому в данной области совичи действуют вполне уверенно и зевают с наслаждением, от души, до хруста в костях. Но недавно появилась добросердечная статья, незаметно испортившая им настроение. В ней сообщалось, что зевота — выражение традиционного радушия и гостеприимства совского народа и что открытый рот — знак открытого отношения к миру. Значит, неверно утверждают некоторые наши гости, что открытый мир только у них, а у нас, дескать, «закрытый», «обратный». Нет, наш мир еще более открытый, хотя и открыт он, действительно, в обратную сторону.

После этой статьи кое-кто вообще прекратил закрывать рот, но другие стали зевать с чувством некоторого принуждения. Как спустя месяц с тревогой оповестила та же газета, «зевомкость нашего общества несколько сократилась».

Справедливость требует признать, что совичи не первыми изобрели скуку, но они первыми научились ее использовать. Скуку изобрела кукушка, от чьих равномерных и однозвучных «ку-ку» и пошло это название. Но кукушка считала, что просто поет, а другие народы стали высчитывать по ее песне срок своей жизни. Это было просто баловство и суеверие. Настоящая скука началась тогда, когда этот ритм был объявлен законом лесной истории, а сделал это Великий Сова, у которого с кукушкой были дружеские отношения.

В итоге кукушка разнесла по всем частям света свои яйца, внешне похожие на те, что высидивают остальные птицы, но другие по содержанию. И поэтому во всех странах мира есть теперь потомки Совы. Они говорят на других языках, придерживаются местных обычаев, но в душе они — совичи. Они мало спят по ночам, а днем их клонит ко сну. У них прямой, почти немигающий взгляд и бесшумный полет. Если здешние совичи скучают просто так, ни о чем, то зарубежные скучают по Великой Совы. Они внимательно изучают писания здешних ангелов, а по ночам устраивают собрания в память Великого Совы и низким голосом расппевают его песни.

Когда кукушка разнесла по всему миру его детей, Великий Сова произнес свое знаменитое: «Кукушка — это Время». Научный комментарий гласит: «С помощью кукушки Великий Сова сначала оплодотворил пространство, наполнив его своим потомством, а затем оплодотворил время, установив для него закон повторения». Более популярный комментарий для молодежи указывает, что время — это «прелестное дитя Совы и Кукушки, которое они в память о своем союзе решили назвать Скукой». Для совичей скука — это чин времяпрепровождения, а также обряд почитания Великой Кукушки. Он не столь обязателен, как другие обряды, но считается знаком здорового вкуса и гражданской благонадежности.

Закон Лесной Истории, пропетый сначала голосом кукушки, а затем воспетый множеством поэтов-совейцев, в нынешнем виде формулируется так: «закономерно то, что повторяется, и чем чаще оно повторяется, тем более оно закономерно». Поскольку великосовское общество живет не абы-кабы, а впервые сознательно по законам истории, то все в нем начинает повторяться с нарастающей частотой. Нельзя сказать, что закон устилает путь народу безмятежной гладью — приходится то и дело перескакивать через рытвины. Если бы это был закон дленья, а не повторенья, все было бы проще, но совместная мудрость Совы и доброты Кукушки привели к единственно правильному решению. В случае непрерывного дленья жизнь вовсе бы замерла, а с ней прекратилась бы и сама скука.

Чтобы закон действовал, необходимо искусство разумного сочетанья неизменности и перемен — так чтобы перемены, решительно отрицая неизменность, на самом деле подтверждали ее. Если бы в городе был постоянный сумрак, его просто перестали бы замечать — поэтому установили мигалки («световые кукушки»), чтобы он был замечен и настойчиво лез в глаза. Если бы в магазинах никогда не было сахара, о нем бы просто забыли, поэтому раз в неделю он обязательно выставляется на прилавки, чтобы в остальное время помнили, что его нет. Все это — разные отзвуки и призвуки одного Кукованья. Если бы оно не прекращалось, то не могло бы и повторяться, — между «ку» и «ку» должны наблюдаться равномерные паузы, и тогда оно не надоест, а напротив, будет

ожидаться уже с нетерпением, как свидетельство безупречного закона.

И вот совичи, из тех, что постарше, стали замечать, что одни и те же явления в их жизни то прекращаются, то вновь возникают, и чем дальше, тем быстрее, потому что история становится все закономернее. Чувствуется какой-то недостаток, потом исчезает, потом снова чувствуется. Чувствуется какой-то избыток, потом исчезает, потом снова чувствуется. Вроде и скучать некогда, но это и есть настоящая, высококачественная скука, которая берет за самое сердце и то сжимает, то отпускает.

Потом ритм стал еще определеннее: за каждый год прокручивался весь ритуал появлений-исчезновений, так что заранее уже знали, к какой дате что появится, а кто исчезнет. Каждый день неожиданно случалось достопамятное событие: юбилей, почин, торжество, братская встреча, вечная разлука — и потом спокойно дожидалось следующего года. Дружное «ку-ку-ку-ку-ку-ку...» пошло слаженно — уже без малейших перебоев.

Тогда же в продаже появились заводные кукушки, и этими маленькими божествами обзавелись все совичи, чтобы наслаждаться вблизи живой прелестью повторяющего себя звучания. Этот же механизм был встроен за небольшую доплату и в бытовые приборы, так что совичи с ростом благосостояния могли приобрести не только аппараты дальновидения и дальнослышания, но и вмонтированный в них источник милой домашней скуки. В центре города открылся Кукушкин Сад, чтобы натуральный ритм мирового закона распространялся отсюда далеко в уши законопослушных граждан.

Сказанное не означает, что совичи услаждают свой слух только звучанием этой птицы, хоть и породненной, но все-таки чужой. Их собственное певческое искусство все больше ценится в мире. Поначалу эти напевы производят дикое, даже отталкивающее впечатление на иностранца, но, постепенно привыкая, находишь в них своеобразную прелесть. Казалось бы, совичи вовсе не имеют голоса, а уж по звонкости и мелодичности никогда не сравнятся с жаворонками. Но удивительный народ — из нужды они сделали добродетель и заставили поверить в себя весь певческий мир. Теперь уже мало кто слушает жаворонков, разве что

стариками, вспоминая свою залиvistую юность. Но весь мир слушает и поет хриплые, до отчаяния громкие и вместе с тем почти неслышные песни, которые как бы сами просятся из ночной души. Как писал один музыкальный критик, «голос Хриплого Ангела — чудо Ночи. По силе, глубине и производимому в ночном лесу впечатлению нет равного ему звука». У ночных песен совсем другая эстетика, чем у дневных: как там ценится высота, так здесь низкость звучания, как бы стелющегося над землей и даже уходящего под землю, раздающегося из ее утробной глубины. Такой хриплый звук рождается словно бы из тех самых угольных пластов и подпочвенных глин, которым посвятил Хриплый Ангел немало своих песен. Считается даже, что именно так мог отдаваться на поверхности Земли голос самого Великого Совы, когда он еще только находился во чреве Матери, выражая страдание и гнев нерожденности.

Однако певческое искусство совичей быстро движется дальше, приоткрывая новые глубины звука. Недавно возник жанр, вообще порывающий со всеми музыкальными традициями, — «беззвучная песня». Она исполняется в низкочастотном диапазоне, вовсе недоступном для человеческого слуха, но внятном человеческому сердцу. Подобного рода инфразвуки возникают при землетрясениях, подводных и подземных взрывах, во время бурь и ураганов, от волн цунами, заранее оповещая о надвигающейся беде, — и все живое, содрогаясь в этой внезапной тишине, переживает безотчетный страх и тревогу. Оказалось, что голоса некоторых особенно безголосых совичей, раздаваясь на этих низких частотах, придают и тревоге, и страху какие-то теплые, лирические модуляции. Иными словами, это песня цунами, пропетая человеческим голосом. Присутствуя на беззвучных концертах, я наблюдал на невозмутимых лицах слушателей тени глубоких чувств, проносящихся в их душе со скоростью урагана.

Что касается пластических искусств, здесь особо выделяется оригинальный жанр — Театр Шеи. Каждый, кто изучал повадки сов, знает, что им присущ так называемый инстинкт паясничанья — дерганье шеи, обусловленный поиском наилучшей позиции для уловления звуков. Аналогичный жест, имеющий, очевидно, тотемно-обрядовое происхождение, но обогащенный новыми социальными функ-

циями, свойствен и совичам. Ни один из них, даже самый серьезный и важный, не упустит возможности так передернуть неподвижной головой на неподвижном туловище, что все вокруг покатываются от смеха, кто втихую, а кто открыто. Чтобы в облике человека все было строго и прямо, сохраняло достойную осанку, должно хоть что-то вертеться. Чинность и благообразие как высших, так и низших членов приобретаются у совичей за счет исключительной гибкости шеи. Благодаря этому подвижному основанию Взгляд может приобретать полную неподвижность. По сути, шея исполняет в организме ту роль живого шарнира, какую у других народов играют глаза. Закономерность очень проста: чем подвижнее взгляд, тем устойчивее шея, и наоборот. Следует признать, что дисциплина Прямого Взгляда обошлась совичам полной развинченностью шеи — и наоборот, если бы не видеология, инстинкт паясничанья мог бы угаснуть.

Сами совичи всегда рады порезвиться всеми своими шейными позвонками, разыгрывая комические сцены даже на службе. Лишенные большей частью чувства юмора, они с избытком наделили им шею, причем, в отличие от других видов смеха, находящихся под строгим контролем, этот считается дозволительным и приличным даже для высшего начальства. Подобно тому, как совичи постепенно отменили прекрасное в окружающей жизни, сосредоточив его в своих глазах, так же они отменили и смешное, сосредоточив его в собственной шее.

«Зачем нужны эти паяцы и шуты, бесконечной чредой проходящие перед пресыщенной публикой на подмостках варьете, на аренах цирка? Все это — приметы отчуждения смеха от человека. Природа сама позаботилась о том, чтобы все необходимое для смеха человек находил в самом себе.

...Да, у каждого из нас есть собственный паяц, замечательно одаренный, способный разыгрывать множество ролей в бесчисленных спектаклях, которые предлагает сама жизнь. Этот бесподобный паяц шатается у нас на плечах, и он не нуждается в дорогих костюмах, в звездной мишуре и бешеных гонорарах. У каждого на плечах своя шея и — открытие, равное Галилееву! — она вертится! Нам не нужна особо огороженная рампой сцена — ею становится каждый цех, кабинет, бюро, приемная, аудитория. Искусство

паясничанья принадлежит народу!» — так пишет в свойственном ему народно-юмористическом и гражданско-патетическом стиле автор книги «Искусство смешить собой».

Тем не менее паясничанье, хотя и широко представленное в повседневной жизни, разрабатывается и как особый жанр театрального искусства — пожалуй, самый популярный в стране. Почти на каждой лесостойке имеется свой театр или театрик шеи, где по вечерам устраиваются многоактные пантомимы. Зрителям показывают через небольшие прорези только шеи актеров, которые разыгрывают целые спектакли. Я мало что понимаю, но местные ценители говорят, что по одним этим жестам можно проследить историю всей человеческой жизни, причем более верно и глубоко, чем по мимике лица, привыкшего лицемерить и надевать маску. «Шея не обманет. Изучайте язык шеи! Шея — зеркало общественной души», — такими плакатиками увешаны театры. Чтобы зрители могли всей душой сопереживать и участвовать в этих представлениях, им разрешается снимать галстуки, обязательные при посещении других зрелищ.

Раз уж речь зашла о смехе, необходимо упомянуть и о хохоте, хотя со смехом он у совичей не имеет ничего общего. Хохотом они начинают и заканчивают свои самые торжественные речи, а также полночные голосования. Когда я его слышу, у меня кровь леденеет в жилах и мороз продирает по коже, и еще более сильное впечатление он производит на самих совичей. Порою хохот раздается просто так, без всякой речи, и тогда все совичи, заслышавшие его даже издали, должны замереть и затаить дыхание, а находящиеся в полете — сложить крылья и перейти на планирование. Многие малолетки, еще не научившиеся как следует летать, падают и разбиваются насмерть, но не смеют шевельнуть крылом. Хохот — это, по словам одного совейца, «страх в ответ на страх, презрение в ответ на презрение, ярость в ответ на ярость». Что значит — «в ответ»? Нельзя считать хохот просто устрашающим звуком — для этого в совском языке есть другие средства выражения. Но это такой страх, когда уже нечего больше страшиться, такое презрение, когда уже некого презирать.

Все-таки не случайно «хохот» в их языке когда-то обозначал высшую степень смеха, отличавшую, например, Со-

вича из совцов. Хохот — это смех над самой способностью страшиться и презирать, потому что эти же чувства есть у жаворонков и кротичей, но хохота у них нет. Я бы сказал, что хохот — это символ веры, получивший силу инстинкта, это клятва, от которой сжимается горло. Когда сович, закончив торжественную речь, раздражается вдруг жутким хохотом, раскаты которого отдаются на другом конце Леса и долго еще тревожат сон дневных обитателей, — то это выходит непроизвольно, на высшем подъеме душевных сил, когда спазм вдруг перехватывает дыхательные пути. По преданию, Великий Сова впервые захохотал, когда понял, что у него нет Отца, одна только Мать. Потому хохот еще называют «клятвой Великого Совы». И где только ни раздается в ночной тишине этот горловой раскат грома, все застывают на месте, чувствуя, что Самое Святое сейчас подошло к ним и прикоснулось — святость полного одиночества и сиротства на Земле, святость отчаяния, необходимого для победы.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Социальная разнородность. — Сравнительный и соревновательный путь. — Совцы. — Совейцы. — Совки. — Совчане. — Совейщики. — Совщицы. — Равенство полов. — Молодежь. — Слеты. — Взаимоприлегание слов. — Любовь к Ночи. — Кризис самоуважения. — Сович становится совой?

Как и во всех развитых обществах, у великосовцев имеются разные социальные группы, которые здесь, однако, более заметны по причине полного социального равенства. Там, где равенства нет, там и сравнивать не приходится: каждая группа живет сама по себе, чем захочет и как захочет. Но когда имеется равенство, тогда все начинают сравнивать — и разнородность общества растет неизмеримо быстрее. Я бы сказал, что «сравнение» — более мощный стимул для социальных различий, чем устаревший метод «соревнования» в других странах. «Соревнование» — это любовь к различиям, которая их сглаживает, а «сравнение» — ненависть к различиям, которая их обостряет.

Заранее подчеркну, что социальная разнородность здесь не имеет ничего общего с искривлением Взгляда, хотя раньше и делались такие предостережения. Но, как недавно установила Videология, прямота взгляда вовсе не исключает творческого разногледства, а столь же прямо предполагает его. «Как радиусы прямо сходятся к центру круга, так взгляды оказываются одинаково прямыми, если с разных сторон направлены к одной цели. Каждый должен смотреть через свою мушку на общую мишень» (из сборника «Videология на новом витке борьбы за выпрямление Взгляда»).

Прежде всего, среди совичей выделяются совцы, издавна составляющие отряд охранителей верхушек. Это не значит, что они все время сидят на одних и тех же деревьях, — нет, подрастают новые, и они тут же на них пересаживаются. Главная трудность состоит в том, чтобы успеть перелететь на подрастающее дерево, пока не подломилось старое, но в то же время пересесть на достаточно подросшее дерево, чтобы не оказаться намного ниже других. Совцы сидят на своих вершинах и все время наблюдают, какое дерево достаточно подросло, чтобы перелететь на него, пока об этом не позаботятся другие. Но происходят трагические ошибки. Иные совцы, колеблясь в выборе и опоздав с перелетом, так и погибли вместе со старыми деревьями: в тяжести дневного сна, не сознавая опасности, — рушились оземь и разбивались насмерть. Многие, не выдерживая этого нервного ожидания, заранее слетают пониже, на какой-нибудь почти кустик, но зато молодой, всю растущий.

Совцы обладают, кроме того, неподражаемым свойством увеличиваться в размерах. Вообще-то по виду они ничем не отличаются от других совичей, но в минуту гнева или опасности вырастают почти вдвое, а Сович из совцов, как передают очевидцы, выросстал втрое. Великое Чучело, где он увеличен десятикратно, выглядит очень убедительно, потому что передает момент гнева, а значит, правду возможного роста.

Другой род совичей — совейцы. Эти гнездятся пониже, где попало, но у них другая задача — выглядывать незримое Солнце и оповещать о первых его лучах. Не о закатном Солнце речь, которое уже затекает, как гноящаяся ранка, а о другом, всемирном, во всю величину небосвода.

*Да не будет неба, кроме Солнца,
И каждая туча да станет лучом! —*

так писал один из ведущих поэтов-совейцев, нареченный Громким Ангелом. Совейцы сидят в переплетах ветвей, все время заглядывая в просветы: что там, на горизонте, кто первый разглядит и воспоет брызнувший луч? Поскольку они углубленно смотрят в просветы, то и сами виднее всего со стороны. Обитателям заграницы кажется, что в лесу живут одни совейцы, даже весь великосовский народ они часто называют их именем, вызывая ревность у прочих.

Быть может, за это совейцев недолюбливают, подозревая в том, что они высматривают совсем не тот свет, который положено, и в своих стихах путают настоящую незримость с поддельным блеском. Но совейцы, ссылаясь на своих теоретиков, оправдываются тем, что образы для сравнения им приходится подбирать из видимого света, хотя то, что эти образы обозначают, не имеет с видимым светом ничего общего. Впрочем, многие из них, вняв далеким от теории предостережениям, уже целиком перешли на сумеречную образность. Так, в улучшенном собрании сочинений Громкого Ангела вышеприведенная строчка улучшена трижды, отражая несколько этапов последующего художественного развития:

*...И каждая туча сияет, как луч!
...И каждый луч блистает, как туча!*

Наконец, решено было обходиться вовсе без «луча» как явного анахронизма, и лучший на нынешний день вариант читается так:

...И каждая туча блистает, как Ночь!!!¹

¹ Впрочем, слово «блистает» тоже устаревает очень быстро, в одном литературном альманахе уже предложена следующая замена:

...И туча чернеет мрачнее, чем Ночь!!!

Вообще улучшенные собрания классиков переиздаются каждые десять лет, конечно, с сохранением всех строк оригинала, чтобы работа корректоров бросалась в глаза и вся эволюция художественных вкусов проглядывалась послойно и поступательно.

Постепенно к совейцам перешла почетная обязанность Хохота. Вообще-то у них это не врожденный инстинкт, как у совцов, а благоприобретенная привычка. Но от хохота совцов происходило слишком много смертельных случаев в округе, а также инфарктов, инсультов, приступов истерии и эпилепсии, поэтому в целях медицинской гуманности было решено передоверить эту функцию совейцам, которые справляются с ней более умеренно.

Совки шмыгают в основном по низам, их дело — добывать мышей. Цвет у них такой серенький, что в сумерках не различишь, поэтому мыши, так сказать, сами идут к ним в когти. Многие совцы и совейцы считают совков образцовыми представителями всего великосовского народа. В отличие от совцов, которые сидят на вершинах, и совейцев, которые глядят в просветы, совки постоянно живут и охотятся в сумерках за серыми, как сумерки, мышами, и сами серые, как сумерки, — значит, они вполне уподобились тому, среди чего пребывают, выполнив философский завет: «свет определяет отсвет, тень определяет оттенок». Поэтому они даже больше, чем совцы, заслужили право считаться образцовыми гражданами Великих Сумерек, и их портретов, нарисованных угольными карандашами, гораздо больше представлено на грифельной Доске Почета, чем других групп.

В охоте за мышами, то и дело ударяясь о ветви, обдираясь о кусты и колючки, совки растеряли почти все перья — остались только крылья — и достигли такой бесшумности и невидимости, что почти сравнялись с ангелами. Один самокритичный совеец справедливо писал: «Если совейцы пытаются вступить в общение с ангелами, угадать их очертания в разгорающейся заре, то совки, благодаря ежедневным усилиям, сами становятся ангелоподобными. Наша задача — спуститься поближе к земле, внимательно рассмотреть этих ангелов во плоти, изучить их, отобразить на картинах и чертежах, чтобы уже не вслепую, а научно искать бесплотных братьев» (из статьи «Ближе к предмету нашей заботы!»).

Есть и другие разряды совичей, не играющие, однако, такой активной роли в социальной жизни: совчане, совщицы. Совчане обычно рождаются, чтобы умереть, и о них настолько ничего не слышно, что многие сомневаются в их

существовании. Совцы в своих отчетах никогда не забывают оговорить, что, дескать, пресловутые «совчане» относятся к другому классу и мы их знаем только теоретически, но не практически, потому что они то ли пережитки прошлого, то ли недоноски будущего, но им среди нас не житье. Их находят мертвыми среди травы, по размеру почти неотличимыми от мышей, и только по наличию этих маленьких трупов можно их отличить от самих ангелов, так что некоторые совейцы даже слагают втайне гимны о «незнанных ангелах, которые решились умереть, чтобы явить нам себя».

Еще одна социальная группа — совщицы — состоит исключительно из женщин. В других странах я не встречал ничего подобного. Женщины, как полагается, присутствуют и в остальных группах, но данная только из них и состоит. Слово «совщик» в мужском роде вообще не употребляется. Точнее, оно употребляется в нецензурном смысле, для обозначения очень глупого и занудного человека. Совщицы ходят в серых халатах и занимаются продажей ранее убитых и замороженных мышей, предварительно расфасованных по целофановым пакетам. Когда же они закапывают остатки несъеденных и разложившихся мышей, им полагается надевать оранжевые халаты. «Оранжевый» — самый раздражающий цвет, знак разлагающего воздействия Солнца, поэтому горы мусора, в котором копаются совщицы, каждый уважающий себя сович облетает издалека.

Однако, наряду с тяжелой и грязной работой, у совщиц есть свои привилегии, которыми не пользуются даже совцы, — им дозволяется иметь изображения ангелов, перерисованные из старых книг, и даже ставить перед ними крошечные свечи, употребление которых вообще-то в Великой Сове категорически запрещено.

Наличие такой обособленно женской группы вносит асимметрию в половой состав населения: мужчины здесь всегда оказываются в меньшинстве. Но в силу закона о равенстве полов эта уступка компенсируется им в области социально-политических прав: они могут занимать высшие места на самых старых дубах. Для женщин такое высокое положение считается неприличным. Разумеется, им разрешается носить более закрытую одежду для ног — но только не на тех уровнях, где размещаются высшие органы власти.

В брюках там находиться неприлично, потому что пол как бы маскируется, а в юбках непристойно, потому что пол как бы демонстрируется — потому их там и не встретишь.

Что касается великосовской молодежи, то ее тоже трудно встретить где-либо, кроме учебных заведений. Правда, молодых людей часто можно видеть на портретах и стендах, где изображаются известные всей стране герои. Слова «юноша» и «девушка» очень торжественно звучат в устах совичей, напоминая о доблестях, о подвигах, о славе, но в живой речи почти не употребляются, и не видно, к кому их можно применить. Дошло до того, что «девушками» стали называть пожилых женщин, а слово «юноша» приобрело насмешливый и едва ли не оскорбительный оттенок. Мне объяснили, что настоящих юношей и девушек готовят для совершения подвигов в специальных училищах, а те, что попадают на улицах, не настоящие, и называть их «юношами» и «девушками» не вполне уместно — могут обидеться и учинить расправу.

Впрочем, молодежь из рода совцов периодически устраивает так называемые слеты, на которых они гордо машут крыльями. Я не смог уловить, чем отличаются эти слеты от заседаний их отцов, кроме одного обстоятельства: те неподвижно восседают на кронах, а эти, как и положено «слету», непрерывно летают, носятся в воздухе, задевая друг друга крыльями, наверно, для того, чтобы доказать старшим, что они уже годятся для дальнейшего перелета и могут возглавить целую стаю.

Несмотря на указанные различия, все великосовские социальные слои очень плотно прилегают друг к другу, так что недостатки одного оборачиваются достоинствами другого. Пусть совцы утратили подвижность и не могут успешно ловить мышей, но зато они отличаются исключительной дальнорукостью и превосходным знанием свойств полезных деревьев, так что дубы под их присмотром никогда не увядают. Если совки очень плохо разбираются в сравнительной типологии ангелов, то эту задачу с успехом решают за них совейцы. Если совейцы испытывают органическое отвращение к мертвым мышам, то заботу об их потрошении и упаковке берут на себя совщицы. В общем, совичи любят повторять: «Все мы братья, потому что у нас одна сестра — Ночь».

О ночелюбии совичей по всему миру ходят легенды. Часто меня спрашивают: все ли совичи одинаково любят свою Ночь? — Неодинаково, но любят, сомневаться в этом не приходится, даже если они говорят обратное. Вспоминаю показательный случай. Один совеец как-то признался мне со вздохом: Ведь есть же на свете более веселые страны! Вот, говорят, петушьи дети только и делают, что напиваются и горланят разудалые песни. Правда, вздорный народец, в истории ни черта не понимают — с раннего утра подпевают живодранцам. Безмозглый народ, но веселый, жить умеют, времени даром не теряют, квохчут, кукарекают, строят куры. А у нас тоска зеленая, как в дождливом лесу! Синице какой-нибудь и то позавидуешь — пусть она глупости тренькает и питается одной мелочью, зато за моря горазда летать».

Так он изливал мне свою душу, а на следующий день передавали его выступление, и я услышал его хохот. Эта была жуткая, раздирающая душу клятва, от которой у присутствующих, я заметил, глаза вылезли из орбит. Это не могло быть подделкой — он верил в то, чему хохотал.

Нет, в их любви к Ночи пусть ни у кого не будет сомнений. Но порой мне кажется, что они слегка утрачивают любовь друг к другу и уважение к самим себе. В последнее время у них распространился обычай крайне фамильярного обращения — «сова». Словно из культурного состояния они возвращаются к своим первобытным тотемам, путают друг друга с лесными сородичами. Сначала обижались, возмущались, протестовали — потом привыкли. Сейчас уже редко кто скажет: «уважаемый сович», а больше: «привет, сова, как борьба?» или «а ну, сова, пошла отсюда!».

Иные склонны оправдывать новый обычай: дескать, сам Великий Сова назывался просто сова, а не сович. — На это возражают: так ведь он был Великим! Мы же родные дети его, а не какие-то пернатые твари. — На это им в свою очередь колко отвечают: а чем вы лучше? Посмотрите на себя да сравните, а потом напишите об этом в «Ангельский Вестник», может быть, напечатают.

Такие происходят грубоватые перебранки. Я сам иногда нахожу этому оправдание: язык, да и нравы склонны теперь упрощаться во многих странах. Так ли уж обязательно говорить «сович», если можно короче — «сова»? Все равно

с лесным собратом никто не спутает, ведь там лес, а здесь — Лес! Там дубы, а здесь — Дубы! Такая колоссальная разница не только видна с первого взгляда, но и слышится с первого звука. Не станет же сович совой оттого, что его назовут «совой»! Я уже неоднократно хотел перейти в этих записках на современное словоупотребление, но что-то меня удерживало — наверно, чувство дистанции, подобающее иностранцу. Что позволено им, да не будет позволено мне! Я сохраню их исконное самоназвание, даже если мой слог приобретет на слух местных жителей вычурный, архаический оттенок.

Тем более... боюсь, эти перемены не случайны. Я плохо знаю мир диких сов, но в последнее время неожиданно для себя узнаю его в жесте своего знакомого совича, когда он вдруг как-то неприлично вывернет крыло и понесется прочь, отбивая мне воздух наотмашь прямо в лицо. Страшное подозрение иногда приходит мне в голову: не стоят ли за всякими смысловыми сдвигами в языке какие-то аналогичные смещения в генетической структуре общества? Ведь это два самых устойчивых кода, обеспечивающих самосохранение народа: гений языка и язык генов. И если такой важный элемент, как самоназвание граждан, вдруг меняется, не означает ли это внезапной мутации рода? Скажи, как ты себя называешь, и я скажу тебе, кто ты... Неужели сович становится совой?

19. ЗАСНУТЬ ИЛИ ПРОСНУТЬСЯ?

Быть совичем! – Гордость за Ангелов. – Что значит «советь»? – Совать? – Советовать? – Впадать в полусонное состояние. – Три партии. – Первые и вторые. – Третьи. – Преимущества Сна и Яви. – Удивительные перемены. – Кто побеждает? – Предангелы.

И все-таки к чести совичей надо сказать, что они сами забили тревогу. Вдруг по всей стране стал обсуждаться вопрос: что значит быть совичем? Чем отличается он от совы? В чем смысл его существования? Раньше этот вопрос все время откладывался на будущее, вплоть до появления анге-

лов — но теперь предуказанные сроки прошли, и, хотя в ангелах никто не усомнился, решено и самим искать достойный ответ. «Кому, как не совичу, лучше всего знать, что такое — быть совичем!» («Токования со старого дуба», т. 83) — эта крылатая фраза сразу вызвала прилив бодрости и воодушевления во всей стране.

Правда, иные ответили быстро и просто: быть совичем — значит становиться ангелом. И хотя мы не встретили ангелов в назначенный срок, но посмотрите, сколько за это время мы приобрели своих ангелов! И Ангел Бури, и Ангел Покоя, и Громкий Ангел, и Тихий Ангел, не говоря уже об Ангеле Битвы, с которым никакой настоящий ангел даже и не сравнится. Вот мы и доказали, что сович может становиться ангелом, а больше и доказывать нечего: наше Ангеловедение вполне себя оправдало и может теперь целиком переключиться на изучение живых скончавшихся Ангелов, а то, что они были видимы и слышимы, даже говорит в их пользу: значит, явились вовремя, не спрятались от своего народа в трудные часы.

Никто вслух этим правильным мыслям не возразил, но было горько у всех на душе: разница между «ангелом неизреченным», как их называли в учебниках, и ангелом нареченным — слишком даже очевидна. И как тогда быть с незримым светом, коль скоро тьма достигла зрелости такой, что глаз выколи — не заметишь, а прозрачнее не становится? В общем, перед совичами встал вопрос, который им даже и произнести вслух было жутко: что значит **советь**?

Нашлись услужливые лингвисты, которые сразу же подсунули убедительное объяснение. «Советь» — это от глагола «совать»: совичи — народ добрый и всегда давали все лучшее другим народам. А **совали** потому, что эти народы порой не понимали собственной выгоды и от щедрых даров под разными предлогами отказывались. Вот и совали им с особой настойчивостью или втихую подсовывали, ради их же блага. Сунут — и отойдут подальше посмотреть, что получится, а потом и назад возвратятся, уже по просьбе самих народов, чтобы получить заслуженную благодарность.

Так объяснили лингвисты, но историки на своих собраниях закачали головами: как же так, мы другие народы от себя кормили, а свой, значит, обкрадывали, раз он, всем известно, голодал и бедствовал? Да и не припомним мы таких

особых излишков, от которых можно было расщедриться для сования.

Тут вступили в ход другие лингвисты и поправили первых: «советь» — это от глагола «советовать». Совичи всегда давали другим народам правильные советы и делились с ними своей мудростью, которой не занимать народу Совы! Нет, не материальными запасами, их действительно было маловато, а духовными, тут у нас с избытком. Первые лингвисты, было приунывшие, снова возликовали: все-таки они оказались правы, делился наш народ с другими, пусть не пожитками, а помыслами, так ведь они даже драгоценнее, все равно от себя отрывали, «соваясь» со своими советами. Тут даже историкам не нашлось что сказать, потому что в вопросах духовности они были малосведущи, — и вся лингвистика тогда праздновала свою победу над историей. Первые лингвисты даже учредили вместе со вторыми всенародный «Праздник Нашего Слова», одну годовщину успели отпраздновать...

И тут гром грянул с ясного неба, как всегда от них, проклятых жаворонков. Нашелся там один всезнайка, который откопал в древнейшем словаре, будто слово «советь» означает совсем другое: «впадать в полусонное, дремотное состояние (вследствие усталости, опьянения)». И стал доказывать, будто это состояние всегда и вообще присуще совскому народу, потому что, как сказал великий Ангел Боли, «он до смерти работает, до полусмерти пьет». И что это слово имеет один и тот же смысл во всех языках мира, куда пришло именно из совского языка, где было исконным и первородным. И если совичи что-нибудь хорошее и подсунули миру, то вот именно это емкое, точное слово «советь».

Совичи раскрыли свои словари, и правда — белым по черному так и написано: «впадать в полусонное, дремотное состояние». Как это лингвисты ухитрились не посмотреть в своего же издания словарь, который у всех стоял на полке? Наверно, им не хотелось смущать народ странным значением. Но, с другой стороны, проглядели замечательное первородство: язык и вправду оказался мощным, коли рассеял так далеко свое семя, оплодотворив языки других народов!

Появился, значит, повод гордиться, но со смыслом предстояло разобраться. Оставив все этимологические домыслы досужим лингвистам, народ стал вдумываться в ко-

рень, в значение. И вот тут и начался новый этап его истории, для которого всемирная история еще просто не выдумала слов, а если захочет, то без советского языка ей опять же не обойтись.

«Впадать в полусонное состояние», — повторялось по тысяче раз на собраниях, совещаниях и даже слетах. Совичи вдруг почувствовали, что застряли на полпути: впали в полусонное состояние, а какой из него выход? То ли совсем заснуть? То ли все-таки проснуться?

Быстро разделились они на три партии. Две из них говорят: половинчатость жалка, надо решаться. Что же, так мы и войдем в историю как «полу» — полународ, полуобщество, полугосударство непонятно даже какого «полу»? И это наш народ, с его всегдашней любовью к цельности, с его целомудрием и чувством ответственности... Надо решаться, но на что?

Первые твердят: мы до Последнего на нашем историческом календаре Рассвета все спали и спали, а потом Великий Первый Луч нас разбудил — так давайте уже до конца просыпаться. Вторые возражают: нет, мы до Последнего Заката на нашем историческом календаре все суетились и суетились на голодный желудок, а когда накрыла нас Первая Великая Тень, так сразу стало уютно и тепло сытные сны видеть. И если мы еще в полусне и нам отчасти плохо: жаворонки звенят, солнце палит, — то давайте заснем окончательно и насладимся жизнью, чтобы нам уже больше по мелочам не просыпаться.

Первые говорят: ангелов не видно потому, что мы еще недостаточно протрезвели, не протерли глаза. Вторые отвечают: а где вы этих ангелов, кроме как во сне, и видели? Засните поглубже, вот они и появятся.

Так эти первые и вторые доказывают друг другу необходимость полного засыпания или окончательного пробуждения, но между собой никак решить не могут: как же им в таком случае называться, если они совет уже не будут? В какой им класс перейти, выйдя из совичей?

А третьи тоже по-своему резонно рассуждают: как совичами были, так и останемся. Никуда нам от этого перво-советского состояния не деться, а впрочем, оно и лучше всякого другого. Мы и во сне свое получим, и наяву. Другие народы, когда спят, то это и есть только сон, а когда бдят, то это

и есть только явь. А у нас все вместе: ночью летаем и подремываем, днем спим, но приглядываемся, и все лучшее из яви тащим в сон, а все лучшее из сна переносим в явь. Во сне хоть и уютно, зато не так осязательно, а наяву достоверно, да не так прельстительно — вот мы и рождены, единственные на свете, чтобы сомкнуть мечту и действительность, сказку сделать былью, сон обратить в явь, ну а явь обратно в сон. И так они непрестанно хорошеют, выходя друг из друга, что лучшей жизни нам и создать невозможно, чем придумал для нас Великий Сова. Потому — совет нам и совет, как учил великий учитель. Полусон-полуявь — это и есть завидная наша судьба и неразъемная цельность.

Действительность и сон, непрерывно перетекая, сливаются в великое море изобилия, которое плещется в себе безо всяких берегов. Поэтому нужно и уставать, и опьяняться, но не вусталь и не допьяну, а оставляя избыток для бодрости, чтобы тело отсыпалось за всю жизнь, а душа тем временем работала на будущее бессмертие. Если вещие сны нам приснятся, а мы при этом и не заснем, то как раз окажемся на самой вершине.

К тому же мы получаем тактический перевес: осовелые глаза все видят, а в них ничего не видно. Совея, мы весь мир в себе имеем, а себя ему ничуть не отдаем. Мы его создаем, а он нас не использует. Это и есть наше исключительное состояние из всех племен и народов. Быть нам совичами, звание своему не изменять и этим гордиться.

Так думают третьи, и, пожалуй, их большинство, судя по тому, что первые и вторые подписывают свои воззвания индивидуально, а третьи коллективно: то ли много согласных находят, то ли не хотят из общей массы выделяться.

Между тремя линиями идет борьба. Одни смежают глаза и изо всех сил бьют крыльями. Другие, наоборот, складывают крылья и напряженно всматриваются вдаль. Третьи взлетают выше самых могучих дубов и пытаются даже состязаться в пении с жаворонками, которые все-таки не пускают их в свою стаю. Но есть еще и четвертые, и пятые... На улицах появились плакаты: «Утро наступит, когда мы откроем глаза.» Совеец написал смелую философскую поэму, в которой славит настоящую радугу и требует, чтобы она была и оставалась на небе: ему, дескать, нравится, что его родная глазная радужка еще и сверкает у всех на

виду и приобретает всемирно-природный смысл, а если она даже и вторична, он от нее тоже не откажется. Дисциплина Прямого Взгляда распаталась настолько, что зрочки стали поворачиваться на два-три градуса, а потом и вовсе вворачиваться вовнутрь, вперяясь в некую незримую мишень под названием «совесть». У одного из совичей во время доклада потекли небывалые слезы, а другой невзначай обмолвился, назвав Ангела Будущего Ангелом Бывшего — и тут же сделал вид, что поперхнулся и закашлялся. Впервые «Предания о Великом Сове» вышли не в Политрассвете, как обычно, а в издательстве для детей «Дружные ангелята», да еще с веселыми картинками. Несколько совейцев проявило повышенную резвость вокруг дуба, на котором сооружено Великое Чучело, отчего оно стало чуть-чуть подрагивать и выглядеть еще страшнее.

Впервые на моей памяти здесь разворачивается борьба не за мир, а за что-то другое, еще неизвестное. Но какая из трех линий побеждает, совершенно неясно. Каждая трубит о своей позавчерашней победе, а что произошло вчера, что происходит сегодня — держится в секрете, как будто каждая скрывает свое неминуемое поражение. Одни говорят: если нам теперь снится по утрам настоящее утро и синий цвет неба, значит, мы уже пробуждаемся. Другие возражают: значит, ярче становятся наши сны, и мы спим еще крепче. Третьи обобщают: мы крепче спим и быстрее пробуждаемся, значит, мы остаемся самими собой, народом совичей, который всегда и спал, и пробуждался лучше других народов.

На настойчивые вопросы корреспондентов, в чем заключается сущность предстоящих перемен, Предангел Пробуждения¹ ответил: «Я надеюсь, что все произойдет», а Предангел Засыпания ответил: «Я не жалею ни о чем происходящем». Один сказал: «Совь будет поистине великой, когда проснется». Другой добавил: «Совь была великой даже в своих сновидениях». Третьи же поясняют: «Совь была, есть и будет великой». Кажется, что побеждают все три линии, вытягиваясь в одну — до самого горизонта, который уступчиво позволяет каждому быть впереди других на пути к невидимым рубежам.

¹ Совсем недавно было учреждено скромное звание «Предангела» в связи с тем, что список возможных ангельских званий оказался исчерпанным.

20. СОВЬ БЕЗ СОВ

Статья в «Ангельском Вестнике». – Борьба с рутинерами и моралистами. – Жаворонки-живоангелы. – Невероятные разоблачения. – Статья в «Орнитологическом Вестнике». – Почему совы невидимы. – Наука в плену иллюзий. – Мифологическая птица. – Изгоним страх из своей души! – Сов нет в природе. – Окончательные перемены. – Запашка Третьего Пути. – И все-таки они есть!

И все-таки происходят поразительные перемены. На днях в «Ангельском вестнике»¹ вышла малопонятная статья о луговых посевах и полевых запашках, но в одном ее абзаце высказывалось невероятное предположение. Жаворонки, об этнической природе которых в науке до сих пор ведутся споры, — не потомки ли они того Ангела Высоты, о котором глухо, но вполне ясно упоминается в одной из наших народных песен? И сразу все «Вестники», начиная от «Геологического» и кончая «Астрономическим», опубликовали статьи, подтверждающие эту блистательную догадку. Постараюсь изложить суммарно их выводы, но главное — интонации, интонации!

Жаворонки всегда издали очень напоминали ангелов, и жаль, что мы не удосужились рассмотреть их поближе. В самом деле, разве жаворонки не летают гораздо выше совичей? Наши боязливые рутинеры усматривали в этом только порочную склонность к идеализму, отрыв от матери-земли. Наши почтенные моралисты утверждали, что превышение летного потолка, уже достигнутого совичами, грозит падением нравов, отрывом от братьев-товарищей, гордыней и заносчивостью. Полноте, протрите глаза, уважаемые моралисты и рутинеры, взгляните **прямо**, как вы сами учитесь, на суть дела. Неужели вы не видите, что жаворонки, взлетая под самые облака, все-таки неизменно возвращаются обратно к земле, в углублениях которой выют свои гнезда, и приносят ей благие вести о животворящих

¹ У совичей все периодические издания называются «вестниками» или «вестями», что в общем-то понятно: «Лесная весть», «Вестник Рассвета». Но «Ангельский вестник» — это уже слишком. Так называется их центральная газета — и никто не удивляется, потому что это не более странно, чем знаменитый лозунг «Укрепляйте силу вашей мощи!»

лучах света? Разве страдает земля от того, что ее сыны совершают полеты в цветущие небеса и со смирением и любовью приникают потом к груди матери? И разве наши важные совцы, рассеявшиеся на вершинах дубов, не демонстрировали нижесидящим совкам свое кичливое превосходство, хотя и не смели мечтать о том, чтобы подняться на высоту хотя бы самого слабкрылого жаворонка?

А пенье? Разве не читаем мы в произведениях наших классических поэтов, начиная от Ангела Боли и кончая Ангелом Гнева, что ангелы прекрасно, мелодично поют. Относится ли это к нам, совичам? Или этими ангельскими свойствами скорее наделены жаворонки, в чем каждый сможет убедиться, если хоть чуть-чуть одолеет свою проклятую утреннюю дрему?

Часто говорится также об ангелах — и пусть не смущает нас старинный источник, — что они «купаются в лучах света». Посмотрите на жаворонков, и, если ваш взгляд не ослепнет от полдня, сами удостоверитесь. Да и что за непостижимый «свет», которого непременно нужно дожидаться из самого сгущения тьмы? И почему он должен быть настолько чистым, чтобы не иметь никакой окраски, даже столь несомненно яркой и привлекательной, как золото Солнца и лазурь неба?

Почему в своих куплетах вы непременно называете Солнце «желтой ранкой» и рифмуете с «жаворонками», а Сось у вас обязательно рифмуется с «новью», «любовью» и готовностью отдать последнюю каплю «крови»? Кому нужна ваша последняя капля, если вы давно уже не в состоянии воспринимать даже красных морей, через которые ваш взгляд проходит насквозь, как через прозрачную высохшую пустыню?

И неужели вы даже не заметили, что жаворонки уже давно первыми достигли вашей прославленной Луны, «верной подруги Земли», откуда вдосталь насмотрелись и насмеялись на ваши беспомощные «средневысотные» полеты, — и теперь ждут, когда же вы начнете давно обещанное покорение их древнего светила, «коварного отступника Земли»? Но даже и в мечтах вы уже расстались с этой мечтой и теперь только грозитесь залить всю страну искусственными морями, чтобы окончательно отразить видимое сиянье. Что ж, стройте свои «города-аквариумы», — стра-

на-утопленница не забудет вас... а жаворонки тем временем совсем надорвут животы от смеха, и вы, наконец, впервые увидите то, о чем мы слышим с детства, — их живые, но незаживающие раны.

А сколько обнаружилось бесстыдных подделок и невероятных бредней в свидетельствах об ангелах! В одном месте говорится, что он походил на божью коровку, в другом — на летучую мышь, а третий встречник даже усмотрел в нем полное сходство с Великим Чучелом. Наши ученые на основании этих свидетельств составили целые картотеки ангелов, а некоторые, впрочем, объявленные еретиками, даже разделили их на «квазисерафимов» и «квазихерувимов». Но может быть, эти герои Взгляда и встречались с божьими коровками и летучими мышами, а один по чистой случайности столкнулся с Великим Чучелом, когда его охрана выблевывала под кустами свои погадки? Взгляните на вещи реально: неужели вы когда-либо видели в мире существ, более похожих на ангелов, более рожденных для света, чем жаворонки?

Этот парад периодической печати завершил «Лингвистический вестник», включив в список новых слов, рекомендуемых к употреблению, «Живоангел», с дефиницией: «то же самое, что жаворонок, или обитатель Живой Рани, согласно последним данным англоведения».

Дальше дело развернулось еще круче. Подняли вопрос, перерыли архивы, раскопали древнейшие акты о Великом Совиче. Обнаружилось что-то такое, о чем вслух так и не было объявлено, — но ссылки на него в печати прекратились, а знакомые каждому уличные силуэты приобрели вдруг, с помощью маленькой ретуши, очертания голубей мира (поскольку «голубь» этот — птица условная, то ее допущение в список добрых вестников было, пожалуй, единственным, что и раньше объединяло совичей и жаворонков).

А потом новости стали разможаться с пугающей быстротой. Мы приведем ряд выдержек из разных источников. Самая ошеломительная весть сначала тихо прошептела среди малочисленных специалистов, а затем вызвала всемирную сенсацию. Зарубежные агентства передали ее под заголовком «Совь без сов». Узковедомственный, но мгновенно прославившийся «Орнитологический вестник» выступил с редакционной статьей, в которой подвер-

галось сомнению объективное существование сов. Дескать, никто за многовековую историю человечества так и не смог этого доказать. Правда, существуют каталоги, описания, свидетельства людей, встречавшихся с совами. Но ведь точно такие же и даже более подробные и документированные каталоги составлялись по поводу несуществующих ангелов (живоангелы, конечно, существуют, но их-то как раз никто и не изучал). Сов насчитывается около 200 видов, а ангелов насчитывалось 10466 — и все равно они не существуют, так почему должны существовать совы? Кто и когда их видел?

«Основными признаками сов до сих пор считались: ночная жизнь, бесшумный полет, покровительственная окраска. Случайно ли, что все эти признаки имеют одно общее: они препятствуют наблюдению сов в реальной жизни. Все, что нам известно о совах, показывает, что это мифические существа, и свойства, которыми наделила их фантазия, как раз и рассчитаны на то, чтобы обосновать их недоступность реальному опыту.

Почему совы практически невидимы? Потому, дескать, что стремятся быть невидимыми. Почему их трудно услышать? Потому, дескать, что у них полет бесшумный. Не лучше ли сказать: невидимы и неслышимы, потому что их никто не видел и не слышал. А если видел и слышал, то не при ясном дневном свете, а всегда только в глухой, ночной чаще леса, где людям с развитым воображением, как известно, встречаются также лешие, русалки и прочая нежить. ...Алконост, сирин, феникс — все прекрасные, полезные и достойные птицы, да вот есть у них маленькая слабость — не любят появляться на людях.

Вон как интригующе начинает свой прославленный труд о совах увенчанный академик, «трижды встречник», почти уже «Ангел»: «Если не знать, на каком языке переговариваются между собой совы, то можно жить рядом с этими птицами и совсем не догадываться, что они обитают в ваших местах». Увы, за «догадки» такого рода еще недавно полагались немалые почести, хотя, конечно, не такие, как за встречи с ангелами. Еще бы: ведь ангелы были совсем бесшумны, невидимы и всезрячи, а совы только почти. Настолько «почти», чтобы их можно было в ночной чаще показывать

ротозеям, а потом писать диссертации о «замечательных птицах — аборигенах наших мест».

Конечно, если существуют совы, то почему бы одной из них не стать настолько Великой, чтобы вызвать обожание древних? Если существуют совы, то почему бы не быть и ангелам — ведь маленькая разница между ними («почти») так легко стирается в воображении! Почему бы не встретиться с этими ангелами, став после первой встречи слуховедом-изыскателем, после второй — инструктором-видеологом, а после третьей — академиком-орнитологом? Разве человеку, уже трижды встречавшему ангелов, нельзя доверять встречи с совами — пусть хоть каждую ночь с ними беседует! Правда, очень трудно было «изучить язык»... А кто проверял знание этого языка? Ну, конечно же, сами совы. Они-то и оценили по заслугам произношение академика и его богатый словарь...

Если в искусстве миф еще имеет право на существование, то в науке он равносителен обману. Орнитологи, до сих пор включающие семейство сов в свои научные классификации, производят в наше время столь же нелепое впечатление, как составители древних бестиариев, включавшие в них драконов и единорогов. Наша наука, решительно рвущая с тяжким наследием нового и, надеемся, последнего средневековья, уже не нуждается в этих домыслах. Ученые призваны исправить постыдное заблуждение недавнего прошлого, когда обитатели верхушек диктовали не только крестьянам — каких птиц нужно разводить, но и ученым — каких птиц считать существующими. Восстановить сугубо научные принципы орнитологических исследований — наша общая и неотложная задача.

Вслед за учеными к работе по **десовизации** великосовского общества приступил «Литературный вестник»:

К сожалению, многие наши литераторы, публицисты, вместо того, чтобы разоблачать невежественные предрассудки, позаботились о том, чтобы придать им привлекательный вид, украсить перлами своей фантазии. В бесконечных романах, поэмах, эпопеях, очерковых циклах, документальных элегиях прославлялась мудрость природы, создавшей такую удивительную птицу: скромность ее оперенья, прямота взгляда, искусство бесшумной охоты. Литераторы слов-

но задались целью убедить общество, будто принятые в нем «совиные» обычаи настолько мудры и совершенны, что узаконены самой природой. Бесчисленные поэтические, музыкальные, живописные произведения под однотипными, повторяющимися заголовками: «Приключения маленьких невидимок», «Владычица Ночи», «Хранители Лесных тайн», «Неслышная переключка», «Птица мудрости», «Древняя спутница Афины», «Загадочные следы», «Среди темных дубов» и т. п. — все это, вроде бы не претендуя на научную строгость, исподволь внушало мысль о том, что существование сов — факт бесспорный и очевидный, более того — поучительный и вдохновляющий.

Конечно, классические поэты всех времен живописали разных фантастических существ, вроде кентавров и гномов, драконов и фениксов, и сова не составляла бы исключения, если бы... Если бы не целенаправленные попытки некоторых сил в нашем обществе любыми средствами, в том числе эстетическими, усыпить сознание и память народа. Заметим, кстати, что за многие-многие годы в нашей стране ни разу не переиздавались известные всему миру сказки о жар-птице...

Наконец, на борьбу с суевериями поднялся старейший и популярнейший «Вестник битв и побед», основанный самим Ангелом битвы:

Сова была нужна, нет, просто необходима в ряду сказочных существ, потому что в ее образе воплотился извечный страх нашего народа перед чащей леса, а в конечном счете — перед самим собой. Наш народ любит поля и луга, его любимые птицы — жаворонки, высоко вьющиеся над степным привольем и оглашающие его звонкой, бодрой песнью. Леса же народ боялся как хаотической части собственной души, как своего дремучего подсознания, потому и населил его дремлющими птицами — совами. Это спутанный, зловещий, ночной пейзаж коллективного бессознательного, где жуткие призраки с горящими глазами ведут охоту на робкое, «мышинное» племя людей... Нужно изгнать совиное из своей души, вечно спящей и грезящей, — и тогда окажется, что никаких сов на свете не существует, они водятся только во мраке нашего пугливого воображения. Проснется разум — исчезнут эти сонные птицы, наводящие суеверный ужас.

Что ж, давайте поверим на миг сказкам. Если эти птицы так стремятся быть невидимыми, чтобы лучше подстергать свои жертвы, то пусть останутся там, где хотят остаться, — в неведении и небытии! Пусть сгинут в том мраке невежества, откуда они вели охоту за нашими умами и душами, пользуясь сумерками общественного сознания! Изгоним сов из нашей действительности — нет, из нашего воображения, которое боялось настоящей жизни и потому населяло ее чудовищными призраками!

Таково вкратце содержание статьи «Бесславный конец еще одной «крылатой» легенды». Никто не выступил с опровержением, никто не издал даже звука протеста. Быть может, научные споры еще впереди, но меня угнетает сама мысль о столь явной несправедливости, допущенной именно тогда, когда вокруг восстанавливается справедливость. Надо будет что-то предпринять!

Рукопись моя быстро движется к концу, но еще быстрее теряет свою актуальность. Мир Сови уже совсем не тот, каким здесь представлен. Порой мне кажется, что все написанное — это только сон, и никогда не существовало ни Институтов Слуха, ни Театров Шеи, ни прицельной перстрелки, что идеология, даже сама идеология, — тоже только привиделась мне. Неужели в этой стране наступает утро и солнечный ветер рассеивает последние клочки мрачных сновидений? Но что же тогда мы увидим завтра утром, проснувшись в растаявшей дымке Леса, границы которого не охраняются больше ни одной дозорной чащей?

Впрочем, для вопросов не остается времени. Самое свежее доказательство тому — только что полученные мною два письма, обогнавшие друг друга. Одно — приглашение принять участие в совместном С/Ж симпозиуме по проблемам изучения и освоения Третьего Пути, пролегающего между Великой Совой и Живой Ранью. Другое — приглашение принять участие в торжественном акте заправки этого Пути на глазах у граждан побратавшихся народов. Первое помечено позавчерашним днем, второе — вчерашним. Так стремительно развиваются события! По правде сказать, мне хотелось бы принять участие в них обоих: сначала изучить, а потом запахать этот уже ненужный Путь.

Теперь, перечитывая свою рукопись, находя в ней излишние длинноты и еще более досадные пропуски, я вижу подлинно актуальный смысл написанного, пожалуй, только в одном. Вряд ли это заинтересует многих, но я обязан отстоять свою мысль до конца, и пусть она будет обнародована хотя бы в «Орнитологическом вестнике», если после той передовой статьи редакторы еще захотят с ней ознакомиться. Мысль моя очень проста, но не дает мне покоя. Я признаю, что живу теперь в самой свободной стране мира, где люди не верят уже ни в какие мифы, оправдывающие ложь и насилие. Они не верят в Великого Сову. Они не верят Ангелу Будущего и Ангелу Битвы. Они не верят даже в невидимых ангелов и в возможность бесшумного полета. Но...

Чувство личной ответственности заставляет меня заявить: я верю в существование сов. **Совы – объективная реальность.** Это мой главный вывод, и я от него не отрекусь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дальнейшая судьба автора этой рукописи и даже имя его неизвестны. Рукопись была найдена среди заваливавшихся бумаг в редакции «Орнитологического вестника», когда там производилось расчищение всех завалов в связи с переименованием журнала в «Вопросы орнитологии». Это произошло года два спустя после описанных событий, когда из названий всех периодических изданий срочно изымалось морально устаревшее слово «вестник» и заменялось на более подходящее духу времени: «вопросы» или «проблемы», а порою «жизнь»¹.

Кто и когда принес эту рукопись в редакцию, никто из сотрудников не помнил, а определить это по подписи оказалось невозможно, потому что автор, умудренный опытом великосовских научных дебатов, позаботился оформить ее в виде коллективного письма на имя главного редактора, которое так и называлось: «В защиту сов». Ниже следовал весь вышеприведенный текст, подписанный сотней имен.

Кого только там не оказалось: и космонавт Юрий Гагарин, и философ Владимир Соловьев, и композитор Петр Чайковский, и социолог Питирим Сорокин, и писатель Николай Гоголь. Правдолюбивый иностранец с неправдоподобным усердием разыскал знатнейших представителей птичьих родов, которые могли бы отстоять своего сородича от жестоких наветов науки и от приговора к небытию.

Поскольку рукопись не имела прямого отношения к орнитологии, а перечень громких имен сам по себе уже никого не мог убедить в граждански смелое время, «Защита сов» так и не была напечатана. Возможно, она уже успела побывать в мусорном ящике, прежде чем через двух-трех знакомых попала ко мне. Передававший просил узнать у меня, графомания это или что-то другое, а вручивший поинтересовался, сколько лет за это можно теперь получить. Не знаю, что и ответить, иностранцев, кажется, отпускают, пусть едут в свои заштатные Жаворонки.

¹ Например, «Птицеводство и жизнь». Оно, оказывается, так далеко было от жизни (выводило сплошь сов и алконостов), что понадобилось их срочно сблизить.

Почти со всем, что здесь написано, я не согласен и мог бы вдвое больше написать, объясняя почему. Но мне кажется, что эта рукопись имеет свою несомненную ценность, особенно в самом начале и в конце. Середину можно и пропустить, но я испытывал подлинное наслаждение, читая и перечитывая простые строки: «Совы – это объективная реальность». Все гениальное просто и не нуждается в украшении. Слова эти меня волнуют и кажутся прояснением многих загадок, которые нам все равно предстоит решать, если мы хотим продолжать свой полет. «Совы – объективная реальность». Пронзительная грусть звучит в этих словах, и глубокая правда хватается за сердце.

А вы, читатель? Разве не шевельнется на вас ни одно перо, разве не чувствуете всем нутром своим, что это правда, правда?! Надеюсь, мы еще встретимся с вами и по-доброму потокуем на одной из нижних веточек старого дуба.

1984, 1988

ПРИЛОЖЕНИЕ

К истории слова «совок»

Среди слов, обозначающих советский характер и образ жизни, наибольшую известность получило слово «совок/совки». Это один из самых популярных неологизмов послесоветской эпохи: Яндекс показывает 2 млн. 307 тыс. случаев употребления (для сравнения: слово «интеллигент» – 670 тыс.). Как и когда это слово возникло, кто его придумал и ввел в употребление?

Хочу поделиться с читателями предположением о причастности «Великой Сови» к возникновению этого слова.

Это слово возникло у меня в 1984 г., когда я начал писать книгу «Великая Сось». **Сось** (образовано по типу «Русь», «чудь») – это страна сов, а также тех племен, которые почитают их как своих тотемических предков, проводят обряды совения и сами подолгу совеют, уподобляясь своим полночным пращурам.¹ Слово «совки» возникло не само по себе, а в гнезде нескольких родственных слов, обозначающих разные великосовские типы или социальные группы. Приведу их названия и определения.

Совичи – общее название всех обитателей страны Великая Сось и потомков Великого Сова, обожествляющих его как своего тотемического предка и ведущих ночной образ жизни.

Совцы – верхняя, правящая группа великосовского общества, восседающая на самой вершине Старого Дуба.

¹ Слово «Сось» тоже стало проникать в словесность. См., например, стихотворение Аллы Ходос (<http://www.interlit2001.com/hodos-4.htm>):

О, Сось Великая! Закрой глаза в ночи!
Усни, Лубянка, спи, стучачи...
Кусок истории большой к душе прирос.
Бессонна ночь, суха, льне просит слез.
Умолкли все. Уже молчит Иов.
Такая боль не произносит слов.
И только тихо кошечка у ног
урчит, тепла нечаянный комок.*

* «Великая Сось» – название книги М. Эпштейна.

Сове́йцы – интеллектуальная прослойка этого общества, идеологическая обслуга совцов, рать пишущих, поющих и выглядывающих на горизонте восход незримого ночного солнца (певцы со́лночи).

Совки́ – рядовые труженики Великой Сови, снующие по кустам, обдирающие перья в поиске своего хлеба насущного – серых мышей.

Совча́не – незримые обитатели страны, которых изредка находят мертвыми, а где и как они живут и живут ли, остается неизвестным.

Совщи́цы – группа, состоящая исключительно из женщин (которые присутствуют и во всех остальных группах, но эта только из них и состоит).

После того как книга «Великая Сось» была закончена в 1988 г., я стал распространять ее среди друзей и разносить по редакциям журналов. Отнес и в «Дружбу народов», замечательному критику и эссеисту Льву Аннинскому, одному из редакторов журнала. Почему-то мне казалось, что «Дружба народов» – самое подходящее место для публикации мифопоэтического исследования о великосовском этносе. Так что некоторое время машинопись книги странствовала по коллегам и редакциям, без какого-либо результата, кроме публикации главы «Глубина жизни» в альманахе «Человек и природа» (1989).²

В начале 1989 г., во время первого своего выезда на Запад, я выступил с циклом передач – чтений из «Великой Сови» по радиостанции Би-би-си из Лондона (редактор программы – Наталья Рубинштейн). В числе пяти глав была прочитана (4 апреля) и та, которая называется «Социальные группы», с характеристикой совков. Би-би-си в ту весеннюю пору гласности слушала едва ли не половина страны. Не исключено, что тогда-то слово и было подхвачено, во всяком случае, именно с этого времени оно стало распространяться для обозначения самого характерного, живучего, что было в советском человеке и что не исчезло даже с кончиной страны.

Сам я этого слова не слышал ни разу вплоть до 1993-94 гг., когда оно вернулось ко мне из газет и разговоров с приезжавшими из России. Во всех словарях новорусского жаргона первые примеры употребления этого слова отмечены 1990-91 г., а основная масса приходится на 1992-94. Например: «Это советские люди, совки» (1990).³ «Мы защищали свое право быть людьми, нам

2 Великая Сось. Главы странноведческого очерка. Глубина жизни. «Человек и природа». М., Знание, 1989, #8, С. 49-61.

3 «Мы», 1990, No. 2, 12, в кн. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. Большой словарь русского жаргона. СПб: Норинт, 2000, С. 552.

надоело быть совками» (1991).⁴ Более ранних примеров нет, и характерно, что самый ранний словарь русского жаргона эпохи застоя (1973) этого слова не содержит.⁵ Значит, оно появилось, разлилось в воздухе незадолго до 1990 г., когда и прозвучала по Би-би-си сага о Великой Сове и ее неутомимых совках.

Между тем Лев Аннинский, которому в 1988-89 гг. не удалось напечатать книгу в «Дружбе народов», написал обширную и весьма сочувственную рецензию на первое и долгое время последнее издание «Великой Совы» (1994).⁶ Рецензия, напечатанная в журнале «Свободная мысль» (быв. «Коммунист»), называлась «Совки Минервы».⁷ Я послал Л. Аннинскому письмо с благодарностью и с вопросом о происхождении слова «совок», на что он ответил мне следующее:

«...Насчет термина «Совок». Я его впервые услышал от младшей дочери в декабре 1990 года. Она тогда со школьным классом ездила на неделю во Францию и рассказывала, как они, пересекая границу СЮДА (т.е. на обратном пути) с отвращением говорили: «В Совок возвращаемся».

Должен сказать, что в тот момент мое отвращение к их наглости было равно их отвращению к моей стране; я этот термин возненавидел, о чем при случае и заявлял публично и печатно, ни в коем случае это слово ОТ СЕБЯ не употребляя; в диалоге с Вами употребил – Вам в ответ, и уже смирившись с тем, что словечко вошло во всеобщее употребление.

Не исключаю, что Ваши радиозаписи весны 1989 года повлияли на процесс утверждения его в молодежном слэнге и даже стали его открытием. Мне психологически трудно Вас с этим поздравить по вышеуказанной причине (мое отвращение к термину), но, если это важно с точки зрения источниковедения, – с готовностью свидетельствую, что авторство – Ваше».

**Лев АННИНСКИЙ,
письмо 2 июня 1996 г.**

4. А. Черкизов, «Эхо Москвы», 29.09.1991, в кн. О. П. Ермакова, Е. А. Земская, Р. И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона. М.:Азбуковник, 1999, С. 197.

5. А. Флегон. За пределами русских словарей. Лондон, 1973. Здесь имеется «Софья Васильевна» (она же «Власьевна»), перифраз-пароним выражения «советская власть», но не «совок» или «совки».

6. Михаил Эпштейн. Великая Сось. Философско-мифологический очерк. New York: Слово/Word, 1994, 178 сс.

7. Лев Аннинский. Совки Минервы. Свободная мысль, 1995, No.9, С. 97-107.

ЭССЕИСТИКА

Читатель должен иметь в виду, что все эти эссе писались в ту эпоху, которая в них запечатлена, с 1977-го по 1989-ый годы, – и значит, имеют все преимущества и недостатки прямого свидетельства. Сама эта рефлексивная попытка расколдовать советские архетипы теперь может быть поставлена в исторический контекст, как переход от раннесоветского мифологического эпоса к позднесоветской медитативной лирике.

В отличие от публицистики, эссеистика не притязает на общезначимую тему и гражданский пафос: она ограничивается сферой частного, прихотливо-своенравного – так сказать, разукрупняет общественную духовную собственность до кустарного промысла и единоличного надела. **Слово «эссе» одинаково произносится в обе стороны.** Вот и смысл этого жанра – **двусторонний**: разрушая **авторитарные** мифы, воссоздавать на их месте **авторские**. Превращение **мифа**, как творения народной души, в эссе, как опыт частного самосознания, – такова жанровая «алхимия» этой книги.

I. ЛИШНИЙ МИР

ПЫЛЬ И ГНИЛЬ

Проблема мусора лежит в центре любой цивилизации, ибо сама по себе цивилизация есть не что иное, как способ обработки и удаления мусора. Различие западной и нашей цивилизаций состоит не столько в количестве мусора, сколько в его качестве. Хотя наша жизнь и представляется сплошь захлавленной, в западной цивилизации мусора едва ли не больше. Там сама цивилизация древнее и материально производительнее — следовательно, она и воздвигнута на горе мусора, гораздо выше нашей. Скажем, в Америке на среднестатистического гражданина приходится по два килограмма мусора в день. Но это по преимуществу «сухой» мусор неорганического происхождения: всяческие коробки, пакеты, обертки, а также газеты, рекламы и прочие печатные материалы. Это мусор, заведомо сделанный в качестве мусора и предназначенный для выброса или для вторичной переработки. Тут сама функция отхода индустриализована — мусора как бы и нет, потому что он тоже есть фабричное изделие.

Напротив, наш мусор — преимущественно органического происхождения, жидкий, влажный. Это всевозможные очистки, обрезки, сгнившие части продукта. Если на Западе мусор облекает продукт, как его оболочка, тара, способствующая его сохранению, то у нас мусор естественным путем возникает изнутри продукта, из его внутреннего распада и гниения, причем часто именно из-за внешней незащищенности. Наш мусор — не столько «отход», возникающий после потребления, сколько «недоприход», предшествующий потреблению. Капуста, картошка и прочие «массовые» овощи, составляющие основу российской диеты, доходят до нас уже в полумусорном состоянии, т.е.

заранее принадлежат своей существенной частью ведру и помойке. Виднее всего это не в квартире, куда приносится лучшее (купленное) и не в магазине, куда доставляется не худшее (уцелевшее), а на базе, которая фактически превращается в «мать-сыру землю» — место гниения и захоронения продуктов. Западные отходы лучше кремируются, т.е. поддаются огню; наши, по традиции, удобряют ту влажную почву, из которой взошли.

Такой «живорожденный» мусор — т.е. гниль, преобладающая над сухими отходами, — есть неотпускающая власть земли над всем нашим укладом: она любит заглатывать своих детей, не успев их по-настоящему выродить. Если даже животная природа порой поддается такому искушению (кошка, «зализывающая-заглатывающая» своих котят), то растительная оказывается еще более самообращенной и регрессивной. Как ни странно, именно «земляные» цивилизации хуже умеют обращаться с порождениями земли, чем «городские», промышленные. Ибо власть земли в том и состоит, что она не дает своим порождениям обрести самостоятельное существование в отрыве от себя — и корневой тягой заглатывает их обратно. Наша сырь и гниль — подневольная, почти ритуальная жертва и приношение матушке-земле, тогда как «антипочвенные» цивилизации воздают другому божеству — солнцу, предавая кремации свои «упокоившиеся» вещи. Различие «гнили» и «пыли» как двух разновидностей мусора в том и состоит, что гниль засасывается обратно землей, а пыль отпускается на воздушную волю.

Недаром овощехранилища, вообще хранилища всего живого, называются у нас «базами» — они «ниже всего», в основе основ, ближе всего к земле. Естественно, что основное их содержание и уходит обратно в землю. Кстати, «база» как хранилище овощей — это и есть то, что мы сделали с «базисом» и над чем возвышается наша «надстройка», — образ основы, которая втоптана сама в себя и в себе захоронена. Земля незримо витает над всеми нашими пиршествами как призрак могилы и захоронения, проникая вглубь поглощаемых яств. Земля ревнует добычу нашего рта — к своей ненасытной утробе.

И кидая в мусорное ведро сгнившую еще до потребления провизию, мы совершаем невольный ритуал землепо-

читания, мы отдаем ей то, что не успели отобрать. В древней Иудее лучшей жертвой почитался непорочный молодой ягненок, ибо он возносился Всевышнему. Наша жертва — изначально порченная, ибо сама порча и есть предназначенность к жертве, коль скоро речь идет о нижайшем из божеств.¹

1982

ЛУЗГАНЬЕ СЕМЕЧЕК, ИЛИ ФИЗИОЛОГИЯ ПРАВДОИСКАТЕЛЬСТВА

Слово «лузгать» применяется почти исключительно к семечкам, подразумевая уникальную слитность предмета с действием, которое над ним производится. Лузгать — значит зубами и языком отделять внешнее от внутреннего, что возможно только по отношению к семенам с мягким покрытием, вроде подсолнечных, которые потому и называются ласкательно-пренебрежительно: «семечки».

Можно усмотреть связь между правдоискательством, исконно, как полагают апологеты, присущим народу нашей страны, и его привычкой лузгать семечки. Ведь это значит — выбирать ядра из шелухи и, поглощая одно, отплеивать другое, отделять правду от лжи, суть от явления.

И вот мы замечаем, что в таком лузганье, как в некоторых видах правдоискательства, есть нечто презрительное, какой-то общий жест, лихо отстраняющий от жизни опре-

1 20 спустя, после радикальных, даже революционных социо-экономических и политических перемен, с мусором в России все остается по-прежнему. Вот данные по Москве за 2002 г. «Эксперты Академии коммунального хозяйства имени Памфилова утверждают: в этом году столица «произведет» более 12 млн. тонн отходов. Естественно, их надо куда-то пристраивать. В большинстве своем отходы эти оседают на подмосковных свалках. Два наших мусоросжигательных завода пока перерабатывают лишь 220 тыс. тонн (8% общего количества бытового мусора, образуемого в городе). В развитых странах проблему утилизации решают по-разному: в Японии сжигают отходы в весьма дорогостоящих печах, в Германии и Австрии рассортировывают по специальным мусоросборникам. Приведем еще некоторые цифры: в Швеции, где численность населения примерно равна московскому — 8,8 млн. человек, — работает 23 мусороперерабатывающих завода, в Дании на 5,2 млн. человек — 36. В странах ЕС к 2010 году доля мусора, который будет отправляться на захоронение, составит всего 10%. У нас отходы пока предпочитают закапывать в землю». (Мария Баскова. Ржавая роза московских ветров. «Московская промышленная газета». #29, 2002 г.)

деленные ее слои — как чуждые, внешние, далекие от подлинной серьезности, от затребованного и потребимого нутра. Разве в том презрении, с каким правдоискатель бросает в лицо собеседнику ошметки его «фальши», «лжи», «неподлинности», не проглядывает вдруг знакомое, бесшабашное — шелуха, летящая с губ, устилающая землю?

От Чацкого, громящего «ложь» светских условностей и бедного французика из Бордо, почему-то хорошо принятого и обласканного, — до Сатина, который своим монологом о правде затыкает рты недостойным ее: «вы все — дубье, молчать о старике!» От вождя, брызжущего полемической слюной в учнейших профессоров, «дипломированных лакеев буржуазии» — до деревенского правдолюбца, срезающего на самодеятельном экзамене приезжего кандидата наук...¹ Плевок, наплевательский жест, обращенный ко всему, что объявляется внешним, выставление всего зримого на позор — в противоположность некоей глубинной правде и мудрости, которая открыта только самому правдолюбцу. На виду у всех — перемалывание цельной природы вещей, из которой веером летят всякие «частности», оказываясь в запаснике музея или на свалке истории. Пренебрежительность и даже гадливость в самой манере касания ко всему, что снаружи, — и благоговение перед некой невидимой сущностью, безвыходно засевшей внутри. Презрение к «эмпирическому», «позитивистскому» знанию, к «объективизму», охватывающему только «поверхность» — и глубочайшее уважение к неким закономерностям, которые действуют исподволь и напролом в сокровенной тайне вещей, открываясь только немногим, в основном, скончавшимся умам.

Отбросить оболочку и обнажить суть... Таково наше прикладное, повседневное манихейство. Ведь семя — прообраз мира в его цельном, жизнепорождающем устройстве, и когда его лузгают, превращают в семечки... Гете говорил, что нет ничего внутреннего, что не было бы внешним, и ничего внешнего, что не было бы внутренним. Но наш правдивый язык находит себе усладу в бесконечном расслоении и сплевывании, в том, чтобы пренебречь, отшвырнуть, отместить от себя. В этом и состоит самый смак от лузганья семечек, потому что простое поглощение очищенных

¹ Рассказ Василия Шукшина «Срезал».

семян, или, условно говоря, прямое подключение к истине, питание ее ядрами, без выноса и отброса, — тотчас лишило бы это праздное занятие всякого смысла.

В остальном мире праздность, направленная на беспрерывное расшевеливание своего «нутра», имеет иное, более замкнутое наполнение. Жуетесь резинка, а до ее изобретения подобным же образом жевалась застывшая смола, бетель — в замкнутых челюстях, сосредоточенно на себе, не разевая рта. В этом есть некое приличие индивидуальности, ушедшей в себя и не сопровождающей самоудовлетворение мелкими плевками на окружающий мир, извержением мусора изо рта. Заметим, что и субстанция резины-смолы более нежна и тягуча: постепенно ласкается, сминается, разлепливается языком, погружая в рай первичного вязкого месива. Здесь нет расслоения, а сплошное вбирание, ощущение сплошной массы, слепляющей десна и язык с небом, — акт, гораздо более эротический, чем лужганье семечек, которое имитирует скорее мелкую ссору — хулу, обиду, смачную шелуху брани, рвущейся с языка.

Да и сама эротика в России, как показывают образцовые непристойные тексты (включая Баркова и Лермонтова), почти никогда, в отличие от западных и восточных, не стремилась возбудить сладострастное чувство, а скорее — надсмеяться над ним, рассечь природу влечения и выставить гадкое, жалкое в нем, упиться бесстыдством, а не радостью оголения — что и составляет отличие похабщины от порнографии. В похабщине — странное сочетание суровости, представляющей пол как бесстыдство, и разнузданности, находящей смак в самом этом бесстыдстве. Именно то, чем овладеваешь изнутри, извне выставляется как нечто порочное, оплевывается, слезает с губ как мерзкая шелуха. Но и губы не устают перебирать и захватывать эту шелуху. Вечные семечки.

Так уж, видимо, нам суждено — и в работе, и в удовольствии. Лес рубят — щепки летят; на завалинке сидят — летят семечки. Вокруг мест производства и потребления вырастет гора мусора. «Ленин был из породы распиливающих, обнажающих суть вещей» (Андрей Вознесенский). В поисках сокровенного ядра и питающей правды — сколько уже изведено на опилки, сколько разлузгано идей и судеб; а то, что осталось под именем «Правды» — насытит ли хоть кого?

ОЧЕРЕДЬ

В очередях приходится стоять так часто и долго, что поневоле складывается в сознании некая мифологема: дракон, кусающий свой хвост. Очередь и впрямь хвостоподобна — как бы звериный реликт, вдруг проросший в человеческом общежитии...

Почему хвосты постепенно упразднились в процессе «происхождения человека от обезьяны»? Человек бесконечно расширил и одухотворил перед собой переднее пространство — поэтому заднее чувствилище утратило природную необходимость. Все общение с миром стало производиться через лицо, через распахнутые глаза, открытое рукопожатие. Вообще передом своим человек, как и все живое, мягок, уязвим, а спиною тверд, хрящеват, словно закован в панцирь. Следствие культуры — это и есть переход человека в переднее пространство: уязвимое стал открывать, сокровенное вынес наружу, нежное подставил чужому взгляду. Вся культура происходит от личности, от лица.

И вот — очередь, «хвост», где люди стоят в затылок, упираясь взглядами в спины. Очередь противокультурна и противоположна уже потому, что люди здесь обращены друг к другу задями; так что у человека новой породы, всю жизнь стоящего в очередях, должен понемногу вылезать хвост как продукт естественной необходимости. Очень может быть, что в ходе долгой исторической эволюции, основанной на очереди как на общественном учреждении, у гомо сапиенс вновь начнут расти хвосты — уже в порядке не биологического, а социального приспособления: чтобы ощупывать ближнего, который сзади, и подергивать того, кто впереди — ведь не в глухую же спину ему стучать в жажде общения, а дружелюбно пощекотать бы хвостик.

Вникнем же в очередь поглубже, она стоит того, чтобы хоть раз запропасть в нее мыслью, — ведь столько выстояно в ней часов, недель, лет!

Очередь — чистое ожидание, время в ней тянется томительно, ничем не заполненное, отверстое в своей пустоте. И все же что-то совершается — само собой, без твоего участия и воли, так что с каждой минутой ты становишься ближе к цели, не шевельнув и пальцем. Человек в очереди

вроде бы и бездеятелен, как Обломов, но вместе с тем и деловит, как Штольц, поскольку все время куда-то движется, сохраняя при этом инертную массу покоя. Время вытягивается в никуда из общего запаса жизни, и все же это нужная трата, хотя и, очевидно, бесполезная. Если бы очередей не было, их стоило бы изобрести, потому что в них человек избавляется от бремени свободы, обретая наглядный, линейно очерченный смысл существования. То, что могло бы стать простым, грубо физиологическим актом поедания мяса или сыра, приобретает социально отдаленную, но достижимую перспективу, причем с каждым мигом и часом она становится все доступнее. Расстояние неминуемо сокращается, увеличивая радостный зуд ожидания. Время течет по законам прогресса, неуклонно приближая к долгожданной цели. Очередь — школа терпения и фабрика оптимизма, поскольку для стоящих в ней она обязательно сокращается: терпение получает награду за наградой.

Таким образом, вместо грубо-животного потребления пищи происходит воспитание человеческих чувств на отдаленных подступах к ней, социализация инстинкта, планомерное распределение сил и возможностей, осознание себя членом коллектива. Где еще так легко и естественно, без инструкторов и капиталовложений, осуществляется программа гуманизации и социализации природных потребностей, включая даже чувство голода? И где еще так полно удовлетворяется психологическая потребность, свойственная многим и многим: заняться таким делом, чтобы ничего не делать, но при этом быть предельно занятым? Стоя в очереди, легко обрести мир с миром и с самим собой.

Хотя очередь мешает человеку, преграждает путь к цели, он все-таки очень дорожит своим местом в ней. Хочется встать поближе, разрушить строй и толпой обрушиться на добычу — но что-то удерживает. Каждый испытывает два чувства: превосходства над задними и зависти к передним. Первое чувство постепенно побеждает: сохранить свое место от напирающих сзади лучше, чем захватить у стоящих впереди. Почему? Да ведь очередь движется, передняя часть, а следовательно, и зависть — тают, а хвостовая часть, значит, и превосходство — растут, свое место становится все дороже. Цена того участка земли или пола, который мы занимаем в очереди, непрерывно возрастает —

эта «движимость» в соотносительных темпах прироста цен даже дороже недвижимости. Тут интерес будущего все время прибывает, так что общество, живущее будущим в большей степени, чем настоящим, моделируется очередью.

Важно и то, что в очереди каждый занимает не только физическое, но и как бы служебное место, пребывает в должности инспектора или контролера, чем решается проблема временной безработицы в свободное от работы время. Дело в том, что каждый не только занимает свое место, но еще и охраняет его, несет дозор на границе половецкой степи, откуда вот-вот могут выскочить дерзкие захватчики или выползти вкрадчивые лазутчики-пластуны. От бдительности к а ж д о г о зависит порядок во всей очереди, ибо цепь, порванная в одном звене, — уже не может соединять людей и вести к одной цели. Стояние в очереди — еще и надзор над очередью, деятельность учета и контроля, которая, как известно, обеспечивает диктатуру большинства над меньшинством.

Тем самым в очереди реализуется нравственный принцип: «один за всех и все за одного», приобретая пространственную наглядность и доказательность: «один за всеми и все за одним», поскольку каждый, не пропуская никого перед собой вне очереди, не пропускает никого и перед всей остальной очередью. Личный интерес стоит на страже общественного.

Реализуется и другой теоретический принцип «равенство без уравниательства», ибо каждый может свободно встать в очередь, но приобретает при этом порядковый номер, отличающий его от других. Очередь — это воплощенная мечта социального математика, утописта-пифагорейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где каждый отличается от другого только порядковым номером. Тут воистину «всякая вещь может быть передана числом» (Пифагор), и все ее своеобразие — только в количественном ранге, так что именно нумерическая модель порождает порядок социальной вселенной.¹ Если толпа —

1 По словам Аристотеля, пифагорейцы «видели в числах свойства и отношения, присущие гармоническим сочетаниям. Так как, следовательно, все остальное явным образом уподоблялось числам по всему своему существу, а числа занимали первое место во всей природе, элементы чисел они предположили элементами всех вещей и всю Вселенную /признали/ гармонией и числом». Аристотель. Метафизика, I 5. Цит. по Антология мировой философии, в 4 тт., т. 1. ч. 1. М., «Мысль», 1969, с. 283.

это хаос, то очередь — космос, устроенный по законам числовой гармонии.

Но, в отличие от античного космоса, новейший вброшен в историю, и число обретает свойство самодвижения. Очередник постоянно меняет свой номер, очередь — это натуральный ряд в движении, от сотен к десяткам и единицам, а затем снова в том же порядке. Вышедшему из очереди — точнее, дошедшему до конца, отоварившему свой первый номер — что остается? Пойти домой, поесть, отдохнуть и, опустошив выстоянный запас, снова встать в ту же очередь, которая и не кончалась, лишь условно прервалась на ночь.

Вот почему очередь, как мудрая змея-искусительница, постоянно кусает свой хвост: пока задний успевает дойти, точнее, достоять до прилавка, передний успевает прожить вольную часть жизни и снова встать в очередь. Лишь по видимости очередь представляет собой линию, в действительности это круг, конец которого смыкается с началом. Тот, кто вышел спереди, обходит очередь и, после нескольких суетливых перемещений из стороны в сторону, вновь становится сзади.

Бесконечна диалектика бытия в его круговращении, в сцеплении причин и следствий. Бесконечна и наша очередь — фараонова пирамида, где камни все время вынимаются снизу, чтобы достроить верх; где человечество вновь и вновь пытается своей численной конечностью воспроизвести бесконечность натурального ряда. Каждый уже многократно побывал во всех очередях — невинная подтасовка социальных мечтателей, вынужденных достигать бесконечных целей конечными человеческими средствами и потому пускающих их на многократный износ.

Пожалуй, очередь и впрямь останется от наших времен, как пирамиды от египетских, — достойный памятник цивилизации натурального ряда, единицами мостящей себе путь к славе и вечности. Очередь — та же пирамида, только «очеловеченная», сложенная не из камней, а из граждан и потому текущая во времени, а не застывшая в пространстве. Прогресс налицо: то было время доисторическое, у нас — историческое, потому и пирамиды слагаются не в песчаной пустыне, а в песках времени: из бесчисленных песчинок-минут, из глыбистых дней и неподъ-

емных лет, которые каждый из нас выворотил из своей жизни и, сгибаясь под тяжестью ноши, по ступеням всех выстоянных очередей возносит на очередную вершину этой окаменевшей громады времен. Каждый раб на строительстве живой пирамиды возносит свой час — и спускается обратно, чтобы взвалить на себя и вознести следующий.

Очередь порою видится как цепочка людей, непрерывно передающих друг другу из рук в руки что-то невидимое: это камни времени, водружаемые на том общем месте, куда сходятся все очереди и которое можно, памятуя египетский прообраз, назвать пустыней времени, или абсолютным нулем. Грандиозность очереди, как и грандиозность пирамиды, сводима к нулю основания. Пирамиде нужна именно пустыня, ибо любой другой, положительный рельеф местности унижает и сглаживает ее. Только абсолютный нуль — голая пустыня времени у подножия очередей — утоляет устремление в нумерационную грандиозность, в последовательный охват всех и многократное использование каждого.

Узнаю тебя, последняя розановская любовь, вечный Египет, «стройный, мудрый, сложный»...² И как бы вновь полюбил этот вероломно-верноподданный писатель свою отчизну, доживи он до пирамид, слагающихся из разбросанных в его «апокалипсическое» время камней. Ведь из бурлящих, митингующих толп, заливающих улицы в период двух революций, отложился, словно созревший кристалл, новый, строгий геометрический стиль — по линейке проведенных очередей.

И самая высокая, монументальная из этих человеческих пирамид — с основанием в главной усыпальнице, куда ведет главная очередь страны. Мавзолей — сращение двух монументальных структур: египетской гробницы в основании и советской очереди в надстройке.

Так и вижу третий том «Опавших листьев» Розанова — а там, вместо привычных беглых помет «за нумизматикой», «разбирая сигары», «в ватерклозете», стояло бы всюду одно — «в очереди». И потом — сплошные белые листы, рукописное воплощение жизни, ушедшей в чистую очередь

2 В. В. Розанов. Библиейская поэзия. В его кн. Уединенное. М., Политиздат, 1990, с. 456.

ность, чтобы перелистывать пустые страницы времени, не читая, а в конце та же приписка: «в очереди». А под ней дата, по-новому грандиозная: очередное тысячелетие очередной эры.

1982

ГОРОДСКОЕ КОЧЕВЬЕ

Обычно очередь завершается покупкой, что приводит к смене пространственной ориентации. Метание вширь и вдаль, погоня за припасами уступает гравитационной вертикали, отягощенности добычей. Сумка — важнейшая принадлежность городского кочевья. Мы ходим нагруженные покупками, снедью, которую, охотничьими уловками раздобыв в городе, тащим в домашнюю берлогу. Наши руки вытянуты, как по стойке смирно, потому что их отяжеляет съедобный груз. «...Грудой свертков навьюченный люд; каждый сам себе царь и верблюд» (И. Бродский). Посмотрите на вечернюю толпу в городе — как высоко и отрешенно проплывают лица и плечи. Руки, окутывающие обычно человека маревом жестов, здесь вечно опущены и оттянуты, как у носильщиков. Они не жестикулируют, не сигнализируют, не общаются — они несут. Они обращены не в социальную горизонталь коммуникации, а в физическую вертикаль гравитации.

Сумчатость — признак нашего исторического нищенства и кочевья. В старину сумы носили: нищие, бродяги, ссыльные, почтальоны, солдаты, охотники, т. е. люди, разными тяготами исторгнутые из оседлого жизненного уклада. Сума была принадлежностью изгоев общества и немногих скитальческих профессий. Теперь она распространилась во все слои общества. Дух кочевья так широко разлился по современной жизни, что сумка-сума появилась в руках почти у каждого. Мы все — нищие, несущие на себе собственное имущество; охотники, бродящие по городу в поисках редкой добычи; солдаты, устраивающие свои временные бивуаки в чужой местности (очереди в палатках и магазинах)... Человек стал животным сумчатым. Он носит на себе будущее содержимое своего желудка.

Да ведь и как одолеть пространство между магазином и домом, если не с помощью сумы, набитой продуктами? Мы вряд ли отдаем себе отчет, насколько наши города, широко раздвинув пути коммуникации, но не обеспечив их частными средствами передвижения, возродили дух кочевья внутри городской среды, казалось бы, начисто его исключаящей. В былые времена закупленное носили или возили, целыми мешками, от лавки до дома, рабочие или слуги, в специальной одежде. Теперь носят не раз в месяц — где столько закупишь и разместишь? а чуть ли не каждый день, и не в запачканных фартуках, а в тех же официальных одеждах, в которых появляются в учреждении и театре. По привычке нам уже не бьет в глаза это противоестественное смешение стилей в проплывающих мимо женщинах: легкий развевающийся плащ, платье с оборками, кружевами — и мешочек с поклажей, как у странницы, идущей далеко на богомолье. Вот смешение европейщины и азиатчины: облик сумчатой модницы — как собор Василия Блаженного.

Вообще функция ношения сумок доверена у нас, в основном, женщинам — может быть, потому, что им привычнее «носить» от природы: раздутое, «беременное» чрево сумки как бы входит в ряд их естественных обязанностей перед мужем и обществом.

В этих сумках, плывущих по городу, есть что-то неприкрыто хищное и грубо материалистическое. Это как бы вывороченный наизнанку живот, выползшие кишки, которые человек придерживает собственными руками. Внутреннее и наружное странно перебивают друг друга в облике советского человека: вот он прилично одет, даже чрезмерно закутан и подоткнут со всех сторон от морозных напастей — и вдруг такое развержение чрева с торчащими пакетами молока и розовым проблеском колбасы. В сравнении с западным человеком советский отличается дважды: чрезмерно закутывает то, что может быть открыто, и чрезмерно выставляет то, что должно быть спрятано. Туго стянут в своих социальных покровах и обнажен в физиологических запросах. Невольнее в одном, развязнее в другом.

Само понятие «сумки», «сумы» происходит от вьюка, которым раньше нагружались животные (от немецкого «sout», что означало — «груз вьючного животного»). Эти вьюки и бурдюки изготавливались именно из вместительных

кож убитых животных, чаще всего — из желудков. Так что сумка по происхождению — это и есть желудок, только уже не поглощающий и переваривающий, а временно вмещающий то, что будут переваривать другие желудки. Происхождение сумки совпадает с ее предназначением. Это голодное брюхо новопещерного человека, которое он обречен таскать за собой, поспешно набивая по случаю доставшейся трбухой.

1982

СУДЬБА И СУДЬБЫ

...В советском лексиконе слово «судьба» не должно иметь места.

*Максим Горький
(из письма Александру Авдеенко)*

Судьбы людские! Счастливые и несчастные, простые и сложные, они не только прошли перед глазами Михаила Шолохова, но радостью и горем прожгли его душу.

Виталий Закруткин

Заметим один странный филологический каприз: слово «судьба» в советском языке употребляется преимущественно во множественном числе. «Судьбы мира», «судьбы народа», «судьбы отечества», «судьбы поколения», «судьбы цивилизации», «судьбы человечества» и т. д. Такое словупотребление непривычно для уха, настроенного вслушиваться в голоса предшествующих эпох: от дореволюционного времени слово «судьба» доходит до нас, как правило, в единственном числе.

Похоже на то, как если бы это слово теперь вошло в общенародный язык из профессиональной речи. Так, мы говорим «масло», «чай», «жир», часто и не подозревая, что слова эти в профессиональных жаргонах употребляются, как правило, во множественном числе: «масла», «чаи», «жиры». Не правда ли: стоило изменить форму слова — и сразу узнается профессиональный, расчленяюще-мастерской взгляд на вещи? Что ему, мастеру, «чай» — бледное,

общее, невыразительное понятие, когда он изготавливает чай — высшего, первого, второго сортов, черные, зеленые, индийские, краснодарские. Только он, делающий эти чаи собственными руками, имеет привычку, а главное, право так говорить.

На взгляд профана, чай есть некая «вещь в себе», чистая сущность, эссенция, субстанция, несущая, так сказать, идею чая. Ведь не может быть много идей чая — в платоновском или гегелевском смысле слова, — нет, только одна, абсолютная, чистая, завершенная идея. Отсюда мы постигаем, насколько идеалистический взгляд на вещи напоминает взгляд профана, постороннего. Для человека, причастного к изготовлению вещей, нет сомнения, что идеи этих вещей живут в его голове и их может быть много. Захочет — тонкую часть листа покрошит, а захочет — прожилки, вот и разные чаи получатся.

То же, видимо, произошло и с «судьбой», когда она незаметно для нас — но по неподкупному свидетельству языка — превратилась в «судьбы». Родился новый профессиональный жаргон — мастеровых судьбы, тех, для кого судьба — не веленье свыше, а послушный материал в рабочих руках. Судьбы куются. Судьбы мира — в наших руках. Если бы это оставалось на уровне фразеологизмов, можно было бы усмотреть в этом преходящее веяние: мало ли, кто какие любит присловья. Но морфологические изменения — уже не в воле людей, это судьба самого языка. Произошло то, что профессиональное словцо стало общенародной нормой. Представим, что к власти в стране пришли моряки — тогда нормой делается слово «компас», а «компас» начинает звучать подозрительно, фрондерски, как пережиток прошлого, как лозунг какого-то сухопутного уклана.

Слово «судьба» звучит подозрительно, намеком на провидение, некую всевышнюю волю, которая всегда одна, поскольку и Бог — один. «Судьба народа» — это отдает фатализмом, предопределением. Но достаточно заменить букву окончания — и слово делается родным, близким, до боли понятным, годным в любой, самый строгий и торжественный советский контекст. Потому что «судьбы» — это уже не провидение, это слово пышет здоровьем народного эпоса, вбирает его широту, необозримое переплетение многих

судеб. Когда произносишь «судьба», тоже возникает ощущение подъема. Но если «судьба» — кто-то глядит на тебя свыше, то «судьбы» — сам ты глядишь свысока на множество раскинувшихся перед тобой судеб.

«Судьба» — трагическая обреченность человека, вызывающего из бездны к верховному правителю мира; «судьбы» — эпическое спокойствие автора, взирающего с горных вершин на шествующих перед ним человеков.

Мы попытались объяснить, как преобразилось слово «судьба», попав в советский язык, как оно, изменив грамматическую форму, изменило философскую сущность. Но это еще не объясняет, почему оно вообще осталось в языке, хотя и в измененном виде. Ведь могло же оно перейти в разряд историзмов или архаизмов, как «вече» или «уста», или отойти на периферию, откуда его изредка — и почти в переносном смысле — заимствовали бы поэты, как и близкие ему по смыслу слова «пророк» или «благодать» (применяется, в основном, к состоянию природы: «ну и погодка же сегодня — благодать!»).

Но нет, слово «судьба» — преимущественно как «судьбы» — осталось и едва ли даже не размножилось в своем употреблении. Сравним: по «Частотному словарю русского языка»¹ на миллион словоупотреблений «благодать» отмечается 4 раза, «пророк» — 19, а «судьба» — 181 раз, причем треть всех употреблений приходится на газетно-журнальные, то есть вполне официальные тексты — больше, чем на художественные; а 24 раза это слово употребляется даже в «научно-публицистических» текстах — имеются в виду сочинения В. И. Ленина, М. И. Калинина, программные документы партии и пр.. Значит, это слово по какой-то причине необходимо советскому мировоззрению и его нельзя заменить никаким другим. Не вообще для жизни человеческой необходимо — это было всегда, — а именно данной исторической эпохе. Необходимо в той же степени, что и другие слова равной частоты употребления.

Здесь мы наталкиваемся на явление, которое может показаться случайностью, но, по моим наблюдениям над частотными словарями, закономерно. Подряд идут слова,

¹ Частотный словарь русского языка, под редакцией Л. Н. Засориной, М., «Русский язык», 1977.

одинаковые по частоте употребления — и близкие по смыслу, составляющие как бы не просто словарный список, а цепь высказывания. Будто кто-то пытается объяснить нам, что такое судьба, и перечисляет основные признаки, к ней относящиеся. Вот все эти слова с одинаковой частотой 181 на миллион словоупотреблений:

возвращаться
круг
момент
необходимо
придти
случиться
строй
судьба ²

Словарь — как песня, из которой ни слова не выкинешь, и нет здесь ни одного, которое было бы сказано всуе, не о судьбе. (Кстати, дальше — с частотой 180 — идет другой набор: «использовать», «команда», «министр»). Эти слова набраны из десятков текстов, по чисто статистическому принципу — а как бросились навстречу друг другу, словно опять хотят в один текст, жить не могут в разлуке. Итак, судьба — это в о з в р а щ е н и е п о к р у г у, то, чему н е о б х о д и м о п р и д е ш ь, в чем соединяются свойства с л у ч а я и н е о б х о д и м о с т и, единичного м о м е н т а и всеобщего с т р о я. Сумма всех перечисленных в словаре слагаемых: с у д ь б а. Для этого слова заготовлено место в системе самых общих и абстрактных отношений: как для движения важен возврат, для пространства — круг, для времени — момент, для поступка — необходимость, так для жизни важна судьба.

Но почему все-таки она нужна для нашей с вами жизни? Какое отношение она имеет к простым, трудовым советским будням? Очевидно, у этого слова есть свое социально-философское задание, которое неспособно выполнить никакое другое слово.

Понятие «судьба» оберегает нас от излишнего произвола, на который мы покушались бы, если бы судьбы не бы-

² Частотный словарь..., с. 813.

ло вообще. Верно, что, перейдя во множественное число, «судьбы» стали свидетельствовать о превосходстве человека над судьбой. Судьба мистична, судьбы историчны. Из лопнувшего мистического понятия «Судьба» ртутными шариками разбежались во все уголки исторического мира — сУДЬБЫ, сУДЬБЫ, сУДЬБЫ. «Разделяй и властвуй». Разделив судьбу на судьбы, человек овладел тем, что им владело. Люди сами стали творцами своих судеб...

Но — с у д е б же. Благодаря «судьбам» человек все время ощущает свою причастность к чему-то высшему, над чем он отчасти властен — но от чего не вполне свободен. Ведь известно, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нельзя стоять в очереди и быть свободным от очереди, ехать в автомобиле и быть свободным от автомобиля. Вот все это множество несвобод и получило в советском лексиконе поэтическое название «судеб», чтобы зря не унижать человека, — ведь, в общем-то, он совершил революцию, завоевал свободу и взял судьбу в свои руки. Другое дело — «судьбы»: не так уж они страшны, если их много, судеб российских, народных, человеческих, и одну можно заменить другой. Но притом эти судьбы достаточно суровы и неотвратимы, чтобы советский человек не упрекал себя в слабости, разделяя их с народом, а чувствовал даже гордость этой свободно достигнутой несвободой.

Тут само собой расслаивается, тоже на единственное и множественное число, еще одно важное советское понятие. Человек — сам хозяин своей судьбы, а вот л ю д и?... Вспомним у Горького в пьесе «На дне» — Сатин: «Все в человеке, все для человека!» Но дальше — оговорка: «Что такое человек?... Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! (очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека)». Большой человек, тот, который пальцем очерчен в воздухе, — он, конечно, властелин судьбы, в нем все и все для него. Но из него, как из плотно набитой матрешки, выскакивают люди ростом поменьше, не Наполеоны, не Магометы — ты, я, они... Рядовые н о с и т е л и судеб. Стартовые площадки отделяющихся в небо ракет.

Человек властвует над судьбами, сам мерит, кроит, кует судьбы — потому-то их, как сортов, много. Но человек не может избежать судеб народа, общества, к которым прича-

стен. Благодаря понятию «судьбы» человек возвеличивается до целого, но и остается частью, одним из людей. Он — властен, и он — причастен (два главных сказуемых, относящихся к слову «судьба»). Некогда цельное и сплошное, понятие «судьбы» раздвоилось, став орудием передачи смыслов и власти. Судьба для одних уменьшилась до того, что оказалась в их руках. «Мы сами — хозяева своей судьбы». Для других судьба выросла во всенародную, оставшись «грозной», «суровой», «беспощадной». «Все мы причастны к трудным судьбам своего отечества».

Таков исторический фон этого лингвистического фокуса — перехода слова «судьба» во множественное число. Раньше судьба безусловно властвовала над людьми, все были равны перед ней, как перед высшим промыслом. Потом одни люди стали властны над теми судьбами, к которым оказались причастны другие. Диалектически раздвоившись, судьбы в руках одних стали грозами над головами других. Подчас и неважно, чьи руки, чьи головы, — ведь судьба, размножившись в судьбы, способна одних и тех же людей разделять пополам. Выкованная руками титана, гремит над его же головой пигмея. «Судьбы людские...»

1982

ПЛАКАТ И СТЕНД

Посвящается Илье Кабакову

1.

Накануне праздников можно видеть, как рабочие, вооруженные новейшей техникой, поднимают в воздух огромные буквы, часто превышающие их собственный рост. Легко вообразить человека нагнувшегося над буквой и что-то ковыряющего в ее завитке, или продевшего свое тело в петельку буквы, или с напряжением выжимающего букву, как штангу, на своих мускулистых руках. Тогда по-новому осознаешь, что буква — это прежде всего явление материальной культуры и может восприниматься на вес.

Мы привыкли к букве как условному знаку, отсылающему к иной реальности, и вся многовековая работа культуры сводилась к тому, чтобы утончить и облегчить букву, сделать ее как можно условнее, поместить на кончик пера, в память машины, откуда она извлекается легчайшим прикосновением. Человек создал послушный знаковый мир, в котором все исполняется по малейшему капризу его пальца. «Что написано пером, не вырубишь топором»...

И вдруг топором вытесываются буквы, которые не то что пером не зачеркнешь, но даже и с места не сдвинешь. Поражительный факт возвращения письма в лоно природной тяжести и трудовой необходимости. Но разве все эти поэтические метафоры у Маяковского: «я знаю тяжесть слов», «я прохожу по строчечному фронту» и пр., — не предполагают, что слово в самом деле должно стать чем-то весомым, трудным для письма? В этом смысле плакат — самое последовательное утяжеление слова, характерное для всей советской культуры, поэзии в том числе. Буквы в плакатах таковы, что становятся частью материальной среды. Их не замечаешь так же, как стен домов, с которыми они сравнимы по величине.

Есть такая игра: искать на карте географические названия. Неискусные игроки загадывают названия помельче, но они-то как раз и находимы легче всего. Все маленькое, сжатое в своем материальном объеме, тем самым вырастает в условном значении и становится насущнее для взгляда и ума. Если бы лозунги писались мельчайшими буквами на каких-то жалких обрывках бумаги, приклеенных к фонарному столбу, — их бы жадно читали, как и сейчас читают всякие самодельные объявления: авось да всплывет что-то редкое, неожиданное, полузапретное.

Чем меньше форма, тем она символичнее. Это прекрасно понято на Дальнем Востоке: культура малых форм вызывает глубокое сосредоточение, медитацию, пытающуюся как бы настичь то содержание, которое все время уходит за пределы формы, не выявлено в ней. Чем массивнее форма, тем менее она знакова, и мы проходим мимо нее, как через скучный массив необработанного материала, нагромождение пустоватых объемов и величин.

Вот почему и хитрые игроки загадывают названия покрупнее — их не видишь точно так же, как плакатов на улицах города.

Сразу выдвигается возражение: ну а как быть с рекламой, которая тоже вроде бы составляет широко развернутую часть материальной среды? Но заметим, что реклама обычно отличается от плакатов своей световой подвижностью. Тем-то и привлекает она, что периодически исчезает и появляется — мелькает, мерцает, пульсирует, меняет свою форму. Можно сказать, что это типично западный способ привлечения внимания, в отличие от восточного. Там привлекают малостью неподвижной формы, на Западе — подвижностью большой. Но в обоих случаях форма не сливается с косной субстанцией мира: она либо выделена из нее в пространстве, своей подчеркнутой малостью, либо во времени, своей усиленной изменчивостью. В СССР форма остается большой и неподвижной, т. е. практически сливается с материей, которая, как добытийная бездна, «пуста и безвидна».

Невозможно представить себе политический лозунг в виде мерцающего неона, мельтешащих букв, перестраивающихся картинок. Такая неустойчивость противна самому духу лозунга, верному на века. Реклама нас зазывает — она похожа на глаз подмигивающей кокотки. Плакат смотрит строго и прямо, немигающим взглядом, от которого хочется поскорее отвести глаза — трудно выдержать его испытующую неподвижность. В животных стаях соперничество за место вожака порой превращается в поединок взглядов: самцы в упор смотрят друг на друга, и кто отводит глаза — уступает власть. Подмигивающая реклама выражает готовность услужить, всегда оказаться в твоём распоряжении. Немигающий плакат выражает хищную волю к власти. Даже ночью плакаты подсвечиваются ровным, немигающим светом, что выделяет их среди суматошной и головокружительной рекламы.

2.

Жанры официальной словесности никогда не существуют в одиночку. Всякий документ — парен. Это нам только кажется, что документы уникальны: вот паспорт, читательский билет, листок нетрудоспособности и т. д. Но если бы это было так, документы лишились бы смысла. Все, что записано у нас в паспорте, записано еще где-то — назовем

это ведомостью. Все, что записано в читательском билете, отражено в регистрационной карточке, а содержание бюллетеня отражено в личной карточке больного.

Документы располагаются парами: постановление — отчет, приказ — рапорт, предписание — донесение, облигация — таблица... Каждый документ есть символ — одна из частей глиняной таблички, которую разламывали в Древней Греции представители породненных семейств, чтобы впоследствии, сложив подходящие обломки, они могли узнать друг друга. По документам узнают друг друга личность и государство, поэтому документы — надежнейшая скрепа их отношений.

Тем самым оправдана и взаимная необходимость двух самых монументальных жанров письменности — плаката и стенда. Плакат — это как бы нисходящая бумага, а стенд — восходящая. Плакат — это клич, обращенный государством к народу, а стенд — отклик народа на призыв государства, отчет в сделанном и достигнутом. В речевой модальности: плакат — это повелительное наклонение: «Крепите!... Создайте!... Объединяйтесь!...» Стенд — изъявительное наклонение совершенного вида, чаще в форме безличного глагола или причастия среднего рода, дабы подчеркнуть непреложное наличие факта как явления самой природы: «Построено здравниц... Выдано угля... Произведено на душу населения...»

Плакаты реют в недостигаемой вышине. Даже развешивать их, кажется, предпочитают ночью, чтобы рукотворный акт их вознесения не бил в глаза, чтобы их не коснулась фамильярность слишком близкого и пристального разглядывания (правда, с некоторого времени их стали развешивать и днем, что свидетельствует об определенном упадке могучей плакатной культуры). Стенды, напротив, приближены к каждому, смотрят ему в лицо своими доверчивыми, широко распахнутыми глазами. «Не проходите мимо!» «Наш город в прошлом, настоящем и будущем». «Забота об охране здоровья в нашей стране». Стенд не просто беседует с нами, он говорит от имени каждого из нас. Вот что мы сделали вчера и сделаем завтра...

Стенды отличаются от плакатов также и тем, что в большей мере содержат изображения и числа, а также всякие промежуточные формы — диаграммы, графики. Циф-

ры и картинки придают наглядность высокому смыслу и обращаются как бы к массовому, наивному сознанию. «Выплавлено стали столько-то... Въехало новоселов столько-то... Предстоит построить столько-то...» И рядом — красочное изображение нашего настоящего или близкого будущего в виде башенного крана или упитанной коровы.

Плакаты гнушаются подобной мелкостью — они говорят только буквами или столь символическими изображениями, которые условностью немного уступают буквам: зубчатыми стенами, сияющими звездами, озаренными профилями... Плакаты — это идеи, а стенды — факты.

Заметим, что между фактами и идеями всегда зияет огромное пространство — не только в буквальном, но и в переносном смысле слова. Плакаты никогда и отдаленно не приближаются к конкретности стендов. Вот в этом зиянии между идеей и фактом и свершается таинственная, незримая воля коллектива, его сила — или, временами, слабость. Гражданин и государство окликают друга друга — но редко встречаются напрямую, слишком уж несовместимы их запросы и величины. Нелепо было бы помещать буквы плакатного масштаба в стенд или вывешивать стенд на высоту плаката. Верх остается верхом, низ — низом, и — «с места они не сойдут». Где-то посередине между ними свершается то, что одному воздуху известно, что никакими буквами не запишешь.

1982

СКЛАД

Склад, где все вещи расположены в строгом порядке, мог бы служить символом и прообразом мировой гармонии. Все здесь расчислено, распределено по рубрикам, отражено в списках — понятийная иерархия и классификация вещей обретает наглядное воплощение в пространстве. Нигде не может быть такого точного соответствия между названием, зафиксированным на бумаге, и реальным существованием вещей, как на складе. Пока вещи используются — вносятся, выносятся, пускаются в дело и в оборот — их трудно зарегистрировать в числе и слове. На складе они обретают блаженную неподвижность, свидетельством чему

становится инвентарный список, где названия, не переплетаясь никакими грамматическими связями, стоят отдельно, под номерами, в неподвижном вертикальном порядке.

Число — слово — вещь: идеальное соответствие пифагорейско-платонического толка. Если люди, в соответствии с нумерационным порядком, выстраиваются в очередь, то вещи таким же числовым способом упорядочиваются на складе. Людям присуще движение, а вещам неподвижность, но в известном смысле можно сказать, что очередь — это подвижный образ склада, а склад — неподвижный образ очереди. Общее между ними — организация всех единиц, человеческих и предметных, сообразно порядковому номеру; ибо, как говорил пифагорец Филолай, «все познаваемое имеет число..., природа и сила числа действует... повсюду во всех человеческих делах и отношениях».¹

Не поэтому ли в советском государстве склад приобретает особый, высоко символический смысл? Случайно ли, что церковные помещения, лишаясь своего сакрального назначения, отводились, как правило, именно под склады?

При этом происходила не отмена священного, а как бы его замена. Склад — такой же идеальный порядок в материальном мире, как церковь — в духовном. Склад — это материалистическая церковь, где вместо молящихся людей, обретающих высокий строй души, собрано множество вещей, включенных в четкий инвентарный строй. И церковь, и склад — это как бы замкнутые приюты гармонии в падшем, грешном, разворованном и расхищенном мире. Согрешить, похитить душу у Бога — в светско-советском измерении это все равно что похитить вещь со склада, с хранилища общественной собственности.

Одна из ведущих фигур нашей действительности — кладовщик, пастырь всеобщих и ничьих вещей, неподкупный и непродажный, как совесть. Все перед ним заискивают — не только простые служащие, но и начальники, директора производства. Все должны чувствовать перед ним свою недостойность, мучиться нечистой совестью. Ибо он стоит на пороге сакрального мира, отделяя его от несакрального. Директора во всей их хозяйственной суете — по эту сторону, а кладовщик — по ту. Он царь и хранитель не-

1 Антология мировой философии, в 4 тт., т. 1. ч. 1. М., «Мысль», 1969, с. 289.

движного царства вещей, за пределами которого их гармония может только потерпеть убыток, разлад — в руках беспокойных производственников. Выпустить вещь со склада — все равно что низринуть ее в темную, грешную земную жизнь.

И потому так надежны складские засовы и так суровы кладовщики: они охраняют наше счастливое будущее. Там ждет нас вечное изобилие и совершенное устройство всех вещей. И поскольку все мы живем и работаем во имя будущего, принося ему в жертву сиюминутные интересы, — постольку и складской ранг вещей несравненно выше их производственного ранга. Хранить и пополнять вещи на складе — не в том ли высший закон общества, устремленного в идеальное будущее? Ведь где, как не на складе, это будущее уже достигнуто, пусть пока еще за оградой. Это еще не весь полностью преобразенный мир, но уже счастливый заповедник, прообраз грядущего царства, где вещи познали свою собственную меру и человек нарекает их имена.

Главное в социализме, как учил Ленин, — это учет и контроль. «Социализм — это учет. Если вы хотите взять на учет каждый кусок железа и ткани, то это и будет социализм».² Но ведь такой нравственно-политический императив — «учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный»³ — предполагает бытие вещи на складе: только там она полностью «учтена» и совпадает со своим описанием. «Каждый кусок ткани», взятый в аспекте учета и контроля, уже не покрывает тела, не служит одеждой, не подвержен каждодневному износу, но пребывает под своим инвентарным номером. Государство всеобщего учета и контроля — это и есть государство-склад, профессиональное общество кладовщиков. И задача уже не в том, чтобы вывозить вещи со склада, подвергая их превратностям промышленного и торгового оборота, а в том, чтобы свозить их на склад, распределяя по нужным местам, в полноте разумного обустройства. По мере того, как вся наша жизнь будет перемещаться на склад, формироваться по образу и подобию склада, счастливое будущее перейдет в настоящее, и

2 В. И. Ленин. Речь на заседании Петроградского Совета, 4 (17) ноября 1917 г. Полн. соб. соч.. 5 изд., М., Политиздат, т. 35, с. 63.

3 Ленин. Как организовать соревнование? (1918), т. 35, с. 199.

страна, под мощными засовами и с суровыми кладовщиками, заживет четкой и упорядоченной складской жизнью.

Но беда в том, что даже на склад, в его вечный покой, прорывается время. От неподвижности имущество портится, гниет, ржавеет. Вещи, которые не обновляются временем, старятся от времени. И потому чем больше склад приближается к своему идеалу, тем скорее он превращается в помойку, в кладбище нетронутых вещей. Не тронутых никем и ничем, кроме времени. Как только склад восторжествует в нашей жизни, мы обнаружим себя на кладбище, и наш кладовщик, как кладбищенский сторож, отопрет ворота собственной рукой — выносить уже нечего, некому, не для кого.

1982

II. ТЕМПЕРАТУРА ИСТОРИИ

НАШ КУРЯЩИЙ ГЕРОЙ

В обществе, где религия перестала быть опиумом народа, сам опиум становится народной религией. Водка и курево становятся массовыми способами ухода в иное.

Но разница между ними огромна, хотя бы с идеологической точки зрения. Водка расслабляет, тогда как курение, напротив, обнаруживает мужественную собранность воли, предельную сосредоточенность. Вот почему из наших фильмов и книг не уходит курящий положительный герой — именно положительно курящий и доказывающий этим едва ли не больше, чем всем другим, крепость и надежность своего характера. В самый напряженный момент он глубоко затягивается, или стискивает зубами мундштук, или отшвыривает сигарету. Если же он вдобавок интеллектуален, то медленно стряхивает пепел, имитируя сложный, извилистый путь мысли.

Каждое из этих действий обнаруживает в нем величайшую волю, потому что сигарета, которую он сжимает в пальцах или зубах, — это предмет, которым он всецело и безупречно владеет. То, что он делает с ней, — символ его власти над собой и над миром, самообладания и решимости. Пальцы и зубы в жесткой хватке — что еще нужно для демонстрации героя? Сигарета потому так подходит к волевым, жестким лицам, что обнажает оскал зубов, представляя хищника в минуту мирного занятия, когда он не грызет и не пожирает, а слюнявит бумажный мундштук, почти с непосредственностью ребенка, сосущего соску. Поэтому такой курящий герой одновременно умиляет нас, как дитя, и восхищает, как боец. Хищное в нем обнажено через невинность. Такой прием позволяет привлечь к герою наши лучшие чувства, от растроганности до воодушевления, от умиления перед малым до преклонения перед огромным.

Напруженная затяжкой грудь, удлинённая волевая челюсть, плотно сжатые зубы, сдвинутые пальцы — сигарета взводит человека, словно курок, готовый к выстрелу. Если готовность к подвигу — состояние сдавленной перед распрямлением пружины, то сигарета — ключ, вставленный в эту невидимую пружину и постепенно ее закручивающий.

Мы, однако, упустили, что сигарета — это не просто предмет, а маленький огонь. В том, как естественно и благо­родно курят наши герои, ощущается некий прометеев комплекс дерзания — похищения и укрощения огня. Сама малость этого тлеющего огонька соответствует требованиям некоторой скрытности, сдержанности характера. Не напрямую огненные страсти бушуют, как в художественной стихии романтизма, но выдерживается суровый реализм: курение — метафора внутреннего огня, который человек сдерживает в себе. Потому курят наши герои чаще всего в минуту нелегкого раздумья, предваряющего — и выверяющего — последующий стремительный бросок. Сознание и воля торжествуют над стихией, как это и положено в методе героического реализма. Огонек сигареты — намек на обузданную стихию, которую герой держит в своих руках.

Но за этим огоньком — как играют блики внутреннего пламени, готового вырасти в зарево над всем миром! Дымно-багровое, грозное, ликующее! Поэтому достаточно только изобразить, как курит герой, чтобы стало ясно: это наш человек, простой, мужественный, устремленный в светлую даль, которая незримо тревожными отсветами играет на его лице, притворяясь маленьким, уютным, безопасным огоньком в уголке губ. Человек этот в совершенстве владеет собой — но может овладеть и обстоятельствами. Пусть они еще немножко побудут на воле — в последний раз порезвятся в младенческом незнании законов истории, которые воплощает герой. Настанет минута — он швырнет под ноги и растопчет свой малый огонь, чтобы зажечь большой, чтобы языки пламени вспыхнули на полнеба... А потом своей тяжелой поступью он затопчет и этот большой огонь, мировой пожар, чтобы возводить новую жизнь на пепелище и сидеть по вечерам с сигаретой у окна, распахнутого в деревенский сад. Нет ничего невозможного для человека, столь уверенно подносящего огонь к губам.

ГОРОДСКОЕ ЛЕТО

О двадцатых-тридцатых годах 20-го века у меня постоянно возникает один образ: лето, горячий асфальт, духота, люди в просторных брюках и соломенных шляпах. Если Россию дореволюционную я представляю зимней: опущенные тротуары, звёздчатый воздух, «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные», — то Россия первых послереволюционных десятилетий всегда летняя, духовая. Пеклом тут пахнет, что ли? Азией, игом, ордой? Ведь недаром у Мандельштама: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето» или «Какое лето! Молодых рабочих Татарские сверкающие спины».

У Пастернака в «Докторе Живаго» — астма Юрия Андреевича, его задыхание на пропечённых московских улицах, духота и скученность трамваев. «Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами...»¹ Вообще какой-то угольный привкус воздуха, будто дело происходит в шахте. Может, пятилетние планы вносят этот привкус? — шахтерщина и стахановщина самой природы. А может — обилие землеустроительных работ в городе, копанье ям и канав для подземных коммуникаций? Или раскалённый асфальт выдает под пыткой солнца свою «подноготную» угольную природу?

«Восходишь ты в глухие годы, — О, солнце, судия, народ» («Сумерки свободы», 1918). В отличие от Мандельштама, который видел страшное солнце облеченным в траур, несомым на черных носилках, Маяковский славит это беспощадное пылание исторического лета и даже przygotowляет позднейшую метафору атомного взрыва — «ярче тысячи солнц».

1. Отсюда и жалоба: «В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха» (Б. Пастернак. Доктор Живаго. Соб. соч. в 5 тт., т. 3, М., Художественная литература, 1990, с. 475). Жара и удушье — лейтмотив последних дней доктора Живаго. Вот из последних записей Юрия Андреевича: «Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами домов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову...» (с. 481-82). От нехватки воздуха Живаго и умирает: «В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно» (с. 482-83).

*В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла...*

— с четким лозунгом в конце:

*светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
— и солнца!*

(«Необычайное приключение...», 1920).

Свет, жара, угар, пекло... В такой же вот «час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах» начинается небезызвестная история московских радений веселой компании, описанной в «Мастере и Маргарите».

«...В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо...»

Лето в городе — опасная вещь: из этого марева, слепленного из пыли и дрожащих струй перегретого воздуха, может вылепиться вдруг клетчатый гражданин, от которого уже ни в этой жизни ни отделаться, ни в другой. Таким призраком лета, знаком удушья и перегрева явился спутник Вольтера Берлиозу и его другу, литераторам от пролетариата.

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткнулся из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида.... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.... Длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

И хотя атеист Берлиоз подыскивает этому призраку чисто физическое объяснение, первым же нечаянно вырвавшимся восклицанием он пронизательно указывает на его метафизическую природу.

Фу ты черт! — воскликнул редактор, — ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался!

Жара — адская, тут и черта всеу упомянешь, невольно, безверно...

Подчас кажется, что время истории входит в заговор с временем природы. Россия 19-го века — сыровата, зимний воздух влажный, тяжёлый, с Невы, и снег тоже — как бы льётся, липнет мокрыми хлопьями — чахоткой грозящая зима. Начало 20-го: чудесный, пушистый снег, уже подсохший, но ещё не колючий, не режущий (как позднее, в 18-ом году у Блока в «12-ти»). Зима — расписная сказка, теремок, сапожки, светлые красавицы в пушистом облачке волос, уют города, выстеленного мягким ковром, сближенные, сомкнутые снегом пространства, на улице — как в коридоре, и эта уютность общественной жизни, где трибуна — как салон, где Розанов, Мережковский, Бердяев, Вяч. Иванов, А. Белый, — доведённый до интимного шёпота общественный глас. Никакого отчуждения, всё своё, всё — за чайком да за водочкой.

Ну а потом — снежный сухой, обдирающий лицо, голодное начало 20-х годов, вдруг сменившееся знойным Нэпом, но не вольным, а придушенным, за горло придержанным — астматическим. Если дореволюционная Россия — зимняя, снежная, воздушно-мягкая, а революционная (от 1917-го и по конец гражданской войны) — зимняя, сухая, колючая, ветром оголяющая землю, то послереволюционная Россия (1920—30-е гг.) — именно летняя, знойная, «буддийская», что для русских лёгких, привыкших к вольному и широкому захвату свежего воздуха, чревато астмой, от которой умирает Живаго. Я бы сравнил туберкулёз и астму как две эпохальные болезни: первая — от тяжёлой, почвенно-болотистой влажности воздуха, вторая — от солнечной опалённости и высушенности. Вначале — томила и гнела непропечённая, сырая народная почва, потом — всежигающее солнце восторжествовавшей идеи.

Когда же весна была в России? Пожалуй, один только годик и пах весной: 17-й, послефевральский, революционный год, когда впервые апрель диктовал свои тезисы северной стране. Вся пастернаковская «Сестра моя — жизнь» пронизана этим ощущением России как весны и лета — а

писалась эта книга именно летом 17-го. Причём это лето — не позднейшее, удушливо-знойное, а всё насквозь — дождевое, грозовое, ливневое, хлещущее напролом и навзрыд.² А следом за дождём, этим признаком неиссякающей весны в лете (таянье, влажность, обилие свежих запахов, полная грудь воздуха) — долгое-долгое лето, уже без дождя, тоже сухое, как и зима гражданской войны, ему предшествовавшая. От зимы снежной — к лету дождевому — это предоктябрьский русский природно-исторический цикл: влага преобладает. От зимы вьюжной и колючей — к бездождевому удушливому лету — послеоктябрьский цикл: преобладает сухость.

Конечно, есть и житейское объяснение, почему городское лето появляется у Пастернака и Мандельштама во второй половине 20-х — 30-х гг., а в дореволюционной поэзии его почти не было. Тогда лето было сельским, цветущим, не душным — душистым. В худшем случае — дачным, как в блоковской «Незнакомке», где «пыль переулочная» и «скука загородных дач»: город расступился и уже святую долю села — летнюю пору — себе загреб. Но только в 20-е — 30-е гг., когда помещичьи имения и старые дачи кончились, а новые ещё не начались, лето наглухо, безвыездно замкнулось в городе. Да и куда было выезжать, когда в деревне, едва оправившейся от голода, началась вторая волна подразвёрстки — коллективизация, и если уж куда ехали отдохнуть, а заодно и продуктами запастись, то из деревни — в город.

Город летом — это как шар в шаре, жара в жаре, индустриальная в натуральной. А это значит — ад, где всё раскалено и спирает дыханье, где тротуар размягчается, словно смола, жгущая ноги грешников. Эта городская жаркость солидарна с коллективистским духом 20-х — 30-х, в ней есть нечто пролетарское. Ведь завод с его пылающими домнами, льющейся сталью, раскалённым воздухом, металлической пылью — тоже ад, жара, только уже не в квадрате, а в кубе. И город летом — почти как сталеплавильный цех: тугоплавкая твердь домов, бетона, асфальта, раскаленная солнечным огнем. Городское лето — завод, шагнувший за свои пределы, так же как первые пятилетки — пролетариат, перешагнувший себя как класс, ставший духом и содержанием

1 См. эссе «Лермонтов и Пастернак: мудрость лета».

ем всего общества. Вот почему образы знойного города в поэзии 20-х -30-х гг. столь окрашены специфически пролетарским мироощущением. Сплочённость, массовость, спайка — знамение этого времени, а лето как раз и сплавляет, ещё горячее, человеческую массу, которую и так теснотой своих улиц расплющивает город. Летом мы все живём теснее друг к другу, потому что сам воздух, поднятый до температуры тела, становится вторым дыханием, обжигает, создаёт ощущение по-банному распахнутой и распаренной плоти.

Россия крестьянская и дворянская рождала ощущение рассеивающего простора и прохлады, где люди — далеко друг от друга, с разных сторон поля перекликаются. А Россия пролетарская — жаром пышет, как тело в поту и лихорадке; красными пятнами проступает — и цветами жаркими, кумачёвыми, «цветением туч и бульваров» (Б. Пастернак). Кажется мелькнёт сейчас лозунг: «Да здравствует лето — пролетарский сезон, залог единства партии и природы».)

1980

БЛУД ТРУДА

1.

Порою одна метафора глубже раскрывает суть предмета, чем десятки и сотни монографий. Сколько написано у нас о социально-экономической природе труда, о его былой эксплуатации и нынешнем раскрепощении, о моральных и материальных стимулах и воспитательном воздействии на личность, о его грядущем превращении в первую жизненную потребность и метод всестороннего развития... А трудимся мы все равно плохо, хотя и нельзя сказать, что мало.

Сколько трудились в 1920-50-е годы, пока не разделились к 1960-м! Дни и ночи, до кровавых мозолей и ранней могилы — на работе «сторали», как говорили тогда о пламенных тружениках. А все равно богатства не нажили, и

во что этот труд отлился, в какие весомые формы и чуда цивилизации, исключая разве чудо самой космической невесомости? Как будто не надрывались люди на полях и заводах — земля в запустении, машины на полном износе, а в глаза иногда и заглянуть страшно. Всего, всего не хватает: и еды, и одежды, и книг, а главное — смысла того, откуда и почему вся эта нехватка.

Может быть, сам этот неустанный труд такой особенный, что силы отнимает, а взамен ничего не прибавляет, и вообще не труд? Если, например, малыш орудует лопаткой в песочнице, то занятие это лучше определить метафорой, вроде «лепет лопатки», чем научным замером рабочего времени или анализом взрыхляемой почвы.

И вот приходит поэт и сочиняет метафору — всего лишь одну строку, где соединяются два трудно соединимых слова. «...Есть блуд труда, и он у нас в крови».¹ И политэкономия социализма, нищая, так и не сложившаяся наука, все время страдавшая от невозможности ухватить и нащупать свой специфический предмет, — получает желанную подсказку.

Как сразу и точно — одним словосочетанием — сказало у Мандельштама все наше эпохальное отношение к труду! Советянин, потомок россиянина, трудолюбив, много и охотно трудится, но этой любви его к труду как бы не достаёт законного основания — она тороплива, неразборчива, блудлива, редко перерастая в устойчивый брачный союз. Нет прочной, пожизненной связи с предметом и результатом труда: он общий, ничейный, публичный. Поэтому в истовой страсти к труду нет-нет и проскользнет что-то безнадежное и почти порочное: оплодотворяется лоно, в которое вливают свое семя и другие. «Всенародная собственность на средства производства». Всем встречным и поперечным: усердным и лентяям, заботливым и бесшабашным, гулякам и однолюбам — она зазывчиво предлагает умножить усилия, навалиться всем миром. Тут и трудолюбец почувствует себя блудодеем, а если и продолжит работу, то как бы исподтишка, не в общей связке, затаивая и лелея для себя любимый предмет. В том же конструкторском бюро —

¹ Из стихотворения Осипа Мандельштама «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (1931).

но откладывая в заветный, запираемый ящик дорогие и неосуществимые проекты. А лучше отрезать от общественного стола свой маленький ящик, от общественного поля — свой маленький клочок, и перенести в дом, во двор, чтобы, отгородив от посторонних глаз, обхаживать и лелеять.

В корне слова «собственность» — понятие «свой». И первое из чудес состоит в том, что она, оказывается, может быть не «своя», а ничья, общая: так сказать, «белая ворона» или «черный снег». Не мы придумали это чудо из чудес, но немало поработали, чтобы все человечество стало таким коллективным чудотворцем, а пока, для примера и поучения — один, самый сказочный народ. Собственность все время изымалась из области «своего» и становилась как бы «инойственностью»: община или артель, сходка или колхоз, помещик или секретарь, управляющий или уполномоченный — все работали заодно, чтобы никто на себя не мог работать, чтобы любовь к труду оставалась трепетной, чистой и безответной. Вот народ, вырастая из целомудренного детства, а все еще не допущенный к законному браку, и стал небрезглив, неразборчив, обзавелся вредными привычками. Единственная у тебя любовь или мимолетная, гениальные у тебя гены или алкогольные — все сварится в общем котле, склеится в студенистую продукцию вала: кубометрового, тоннажного, калорийного, в бескостное дебильное дитя с «лица всеобщим вырождением». Системными при такой системе бывают только заболевания.

Нет никаких внутренних обязательств: можно вкалывать, не разгибаясь, а можно расколотить в сердцах лопату и законно предаться безделью, сну, отдыху, запою. Труд в охотку лишь для тех, кто пристрастился к нему уже необъяснимой, чудаковатой, почти болезненной привязанностью, как к наркотику: раз вдохнул — и уже не насытит. Как легко издеваться над такими безотчетными трудягами, влипшими в свой безнадежный, не вознаграждающий предмет, — все равно что втюрился в проститутку и пишет ей возвышенные стихи, а она гуляет со всей улицей. Пропадает забота и о плодах труда — важно то терпкое удовольствие и забытие, которое дает труд, а что там получилось, кто будет этим распоряжаться и пользоваться — не все ли равно? Сдаст она его, подзаборного, в детприемник, ни ты

его никогда не узнаешь, ни он тебя. Ведь давно уже поставлено целью, чтобы труд в грядущем обществе стал «потребностью здорового организма».

Как с гениальной точностью сформулировал наивысший авторитет по вопросам коммунистического труда, «коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу, труд, как потребность здорового организма».² А какие у организма здоровые потребности? И так ли уж нужно думать о потомстве и воспитании детей?

Отсюда, при несгибаемом упорстве — замечательная бестолковость; огромное, «вне нормы» количество труда — при ничтожестве результата, отсутствии явно преследуемой и достигнутой пользы. Толочь воду в ступе до онемения рук, чтобы она стала слаже от пролитого в нее пота, — это и есть «бестолочь». Какой может быть толк в сооружении канала, вода которого иссыхает, не успев дотечь до назначенного поля; или в сооружении дамбы, встающей не столько поперек наводнения, сколько поперек отхожей воды, выносящей из города грязь и гниль? Вот и остается бешенство усилий, в которых заранее выкипает и испаряется всякий возможный результат — забыться в процессе, помрачить работой ум, чтобы не глянул в него пустой и холодный завтрашний просвет.

Так вот и блуд безразличен к последствиям — он без разбору «берет», как труд — «отдает»: неважно от кого, неважно кому. Лишь бы кипело, разгоралось, пламенело в зареве великих строек, которым заведомо остаться недостроенными — памятником остановленному «прекрасному мгновенью».

2 «В. И. Ленин. От разрушения векового уклада к творчеству нового (1920). Полное собрание сочинений, т. 40, с. 315.

2.

Вспомним, что принцип незаинтересованного труда не был так уж чужд и другим народам, в их высочайших умо-зрениях. В «Бхагаватгите» Кришна проповедует Арджунне: будь верен своему делу, отдавайся ему безраздельно, но не впадай в зависимость от его результата. У Канта в «Критике способности суждения» такая деятельность без расчета на результат, находящая смысл и наслаждение в самой себе, названа игрой. Однако наш привычный труд-блуд, как ни соблазнительны эти параллели, имеет мало общего с индуистской этикой чистого долга и немецкой эстетикой бескорыстного наслаждения. Там человек не зависит от результата — здесь результат не зависит от человека. Там труженик освобождается от привязанности к продукту труда — здесь он мучительно привязан к самому процессу. Там он достигает бесстрастия в работе — здесь сама работа становится опьяняющей страстью.

При условии что есть собственность как «наличное свое», от нее можно отказываться и преодолевать, достигая сверхличного в себе, восходя по ее же ступенькам на вершину «самого своего» — самого себя. Знаменательно, что слово «свобода» имеет общий корень со словом «собственность» — оба происходят от понятия «свой», откуда и «особенность», и «особа». Свобода начинается с собственности, которая делает человека независимым от других членов общества и от материальных обстоятельств, в буквальном смысле — «освобождает» его и потому делает «особой», личностью, которая дальше может освобождать себя уже и от уз самой собственности. Когда же «своего» нет в наличии и предпосылке, тогда происходит опускание ниже в область внеличного, предличного, что человек ощущает как невладение самим собой. От с в о е й вещи путь лежит к своей же душе, от н е с в о е й вещи (имущества, достояния) — тоже к душе, но не своей, которая действует с одержимостью автомата, вонзающего клинья или клещи в какой-то поднесенный ему предмет. Про человека тогда говорят, что он работает как з а в е д е н н ы й. И в самом деле, характер отчужденной собственности определяет отчужденный характер труда, низведенного до уровня физиологической потребности, — еще один инстинкт, в ряду тех, которые заставляют

паука ткать паутину, а самку — поедать самца. Между тем очевидно, что человек как раз освобожден изначально от труда как инстинкта (муравьиного, пчелиного и т.п.), чтобы иметь волю к творческому его применению.

В «игре» и «долге» как раз и выявляются эти сверхинстинктивные основания труда, который освобождается от привязанности ко всему внешнему: человек сознательно распоряжается своими силами, целесообразно распределяет их, заботится о наилучших условиях игры и соблюдении ее правил — иными словами, становится зорче и трезвее, не ослепленный пользой и целью. Труд как блуд, напротив, есть удобная форма самоослепления — маниакальная потребность что-то делать, чем-то занять себя — метод поспешной саморастраты. Человек собой не владеет — он одержим б е с о м труда: «рубит, колет, режет», «жарит, шинкует и перчит»... Чем больше ручного, изнуряющего труда, тем легче забыться, отогнать навязчивые мысли о смерти, скоротать томительный избыток времени. Так Базаров у Тургенева отдается «лихорадке работы» после неудачи с Одинцовой («Отцы и дети»); так Дарья у Некрасова неистово колет дрова, чтобы притупить боль об умершем муже («Мороз, Красный нос»).

Но это блуд и запой труда, объяснимый частной психологической ситуацией. Если же вспомнить, как работают персонажи у М. Горького («Мои университеты», «Дело Артамоновых»), у Платонова («Котлован», «Ювенильное море»), то проясняются устойчивые основы таких ситуаций в жизни целого народа: уйти от одуряющей пустоты — в работу до одуренья. В этой поглощенности процессом труда, в этом хмельном и страшном веселье есть какая-то мрачная иступленность, как будто люди подбрасывают поленья в адский огонь, где горит их душа, — ничего от строгой сосредоточенности Арджунны и самоцельной игры способностей у Канта. Цель — что-то изломать и задушить в себе, «наступить на горло собственной песне». Кто-то, как Треплев, убивает себя выстрелом. Кто-то, как Войницкий, убивает себя делом. Иногда человек хочет убить себя выстрелом, но этого кажется ему недостаточным, — и он убивает себя делом, как Корчагин. Иногда человек убивает себя делом, но этого оказывается недостаточно, и он убивает себя выстрелом, как Маяковский.

Блуд почти безразличен к качествам партнера — лишь бы, как считает Федор Павлович Карамазов, были признаки пола. Так и блуд труда безразличен к предмету — лишь бы можно было в него внедряться, обрабатывать, растрачивать в нем себя. Ведь сам такой труд выступает как замена чего-то более подлинного, поэтому и внутри него все заменимо, и прежде всего сам труженик. «Незаменимых нет» — эта мораль ворвалась в нашу общественную жизнь словно из обихода публичного дома, но легкая шутка перешла в мрачную угрозу и торжественное заклинание. И конечно, простое вещество выступает как самый удобный алгебраический «икс» для всякого рода замещений — равно безрадостных и беспечальных. Вспомним инженера Прушевского из платоновского «Котлована» — не имея любимой женщины, он хочет вновь и вновь расходовать свое никому не нужное тело на трудовые нужды страны, на «чужой прок», отдаваясь холодной и ленивой ласке строительного вещества. «Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению... Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги».³ Равнодушие, близкое к наслаждению, или наслаждение, близкое к равнодушию, — это и есть точнейшая формула блуда.

И не обязательно, конечно, чтобы предмет труда заменял именно тело подруги, он может заменять любой предмет любого труда, если сами предметы оказываются взаимозаменяемыми и наслаждение ими совмещается с равнодушием к ним самим. Можно командовать взводом, строить железную дорогу, руководить идеологическим сектором, писать автобиографический роман. Можно «работать» эпические поэмы и коммерческие рекламы. Можно стрелять контру, полоть морковку, дергать сиськи у коровы, лишь бы служить партии, как считает Макар Нагульнов.⁴

3 Андрей Платонов. Чевенгур. Роман и повести. М., «Советский писатель», 1989, с. 390.

4 «То и мужчинское дело, куда пошлет партия. Скажут мне, допустим: иди, Нагульнов, рубить контре головы, — с радостью пойду! Скажут: иди подбивать картошку, — без радости, но пойду. Скажут: иди в доярки, коров доить, — зубами скрипну, а все равно пойду! Буду эту пропащую коровенку тягать за дойки из стороны в сторону, но уж как умею, а доить ее, проклятую, буду!» М. Шолохов. Собр. соч. в 8 тт. М., Правда, 1962, т.7, с. 45.

Блуд труда оказывается выражением какой-то высшей верности — идее, идеалу. Вещь исковеркать похабным употреблением можно — идее изменить нельзя. Детей, стариков «в распыл пускать» можно, тем более корове «сиськи оттягать» — но мировой революции, ради которой все это делается, нельзя недодать любовного пылу: во всякой случайной связи и даже насилии должны звать и томить ее голубые глаза. Так роскошная революционная женщина Роза Люксембург водит комиссара Копенкина по дорогам гражданской войны, («Чевенгур»).

Блуд очень легко соединяется с верностью через понятие мании: кто привержен чему-то одному, готов все перепробовать, чтобы это одно получить. Дон Жуан безраздельно привязан к женщинам — и именно поэтому изменяет одной за другой. Трудолюбие переходит в трудоблудие, освящаясь верностью и д е е труда. Поскольку «труд создал человека», поскольку «будущее принадлежит людям труда», — постольку нужно трудиться там, куда пошлет, и так, как прикажет партия «людей труда». Труд настолько славен и почетен сам по себе, как само обладание женщиной славно и почетно в глазах блудодея. Из всех видов и возможностей труда извлекается абстрактная идея Труда как такового — высшего и требовательного смысла жизни. И потом уже этот всеобъемлющий Принцип развинченной походкой блуждает среди всех конкретных разновидностей труда: каждую оплодотворить — и двинуться дальше.⁵

Номенклатурный работник, посылаемый по разнарядке то на сельское хозяйство, то на агитпроп, то на агропром, то на образование и культуру — это своего рода гуляка праздный, всю жизнь бредущий по злачной улице с заведени-

5 Приведу по памяти куплеты, чуть ли не каждый день распевавшиеся по радио, вьевшиеся в сознание:

*Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы!
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В заботе ли ты спускаешься, —
Мечта прекрасная,
Как солнце ясная,*

*Зовет, зовет тебя вперед.
Нам нет преград
ни в море, ни на суше.
Нам не страшны
ни льды, ни облака.
Пламя души своей,
Знамя страны своей
Мы пронесем
Через миры и века!*

Вот она, патетика трудового Принципа, его разгоряченное воображение. Мало ему станков и забоев, так еще миры подавай, чтобы не гасло пламя души.

ями налево и направо. Да нет, почему гуляка? если уж совсем номенклатурный, то держатель гарема, потому что одновременно решает все указанные вопросы, не выходя из своего рабочего кабинета, с раскинувшимся посередине роскошным ложем начальственного стола. До уличных забав он себя не унижит, потому что и сельское хозяйство, и образование с культурой сами покорно являются к нему в опочивальню по первому звонку. Список очередности заранее составлен услужливым евнухом, который, в качестве хранителя укромнейших прихотей и секретных усад, так и называется «секретарем».

3.

Можно предположить, что все это стирание индивидуальных различий: в отношениях труда к собственности, к предмету, к отрасли, к вознаграждению — есть только ретивная выдумка всяких Нагульновых, привыкших к пальбе и гульбе вместо твердого расчета. Дескать, это все дань упрощенчеству, отход от начальной строгой линии, искажение, искривление, извращение мудрых заветов и основоположений. Но вчитаемся опять в самый авторитетный источник, какой только возможен, — причем сам автор, В. И. Ленин, подчеркивает принципиальность своего утверждения, его всеобщий и обязательный характер:

«...Коммунизм, если брать это слово в строгом значении, есть безвозмездная работа на общественную пользу, не учитывающая индивидуальных различий, стирающая всякое воспоминание о бытовых предрассудках, стирающая косность, привычки, разницу между отдельными отраслями работы, разницу в размере вознаграждения за труд и т. п.»⁶

Разве не «строгое» определение? Уж куда строже — прямо по пунктам перечислены характерные признаки блуда-труда: все равно кто, все равно с кем, все равно за что. Не учитывать индивидуальные различия, стереть раз-

6 В. И. Ленин, «Политический доклад ЦК 2 декабря. У111 Всероссийская конференция РКП(б), 2-4 декабря 1919 г. Полное собрание сочинений, т. 39, с. 360. Ср. вышеприведенное высказывание Ленина из работы «От разрушения векового уклада к творчеству нового» (примечание 2), где почти дословно развиваются те же мысли.

ницу между профессиями, отраслями и не рассчитывать на взаимность... Но есть еще и поразительно точные слова из более широкого контекста — не узко производственного, но как бы семейно-бытового: о «предрассудках», «косности», «привычках», всех этих моральных пережитках буржуазной эпохи. Мандельштамова метафора «блуд труда» здесь уже дрожит на кончике пера. Дескать, были когда-то «предрассудки», привязывавшие человека к чему-то единственному и любимому, была «косность», не позволявшая стереть различий между этой и той (отраслями?), была «привычка» к вознаграждению, надежда на взаимность... И вот весь этот семейный уют, погрязший в индивидуалистических предрассудках, должен уступить трудовому сожительству с общественной пользой, без всяких различий, привычек и воспоминаний.

Кто кого упрощает, мы Ленина или Ленин нас? И разве не сводится труд таким смелым порывом в будущее к работе раба или робота, чему-то худшему, чем само блудодействие, — потому что даже «вознаграждение» есть момент индивидуальный и человеческий, а механический молот или фаллос и впрямь трудится «безвозмездно»? Вспомним медведя-молотобойца — образцового пролетария из «Котлована»: вот кто удовлетворяет вышеприведенному определению в самом «строгом» смысле. Да и то не вполне — требует еды и водки, а значит, бескорыстен лишь отчасти. Может быть, он первым и придет к коммунистическому труду, как древнее тотемическое божество своей страны, прямо шагающей из первично-общинного строя в окончательно-общинный?

Труд может стать прекраснейшим средством самоупрощения, истинной потребностью отчаявшейся души. В тесноте общения с вещью — овеществиться самому, забыть свою мучительную человечность. Слишком часто труд — это только бегство от свободы, которая назойливо оставляет человека наедине с собой, со своей совестью. А с простой, осязаемой вещью, которая ничего не хочет, кроме сильных рук, — долой самосознание: мир прост, как соблазн, душа проста, как желание. Будем «беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания» (Платонов, «Котлован»). Блуд — средство избавиться от неудачной или не-

возможной любви: душа не выносит долгого напряжения и сдается на милость первому телесному зуду. Быть полезным, быть мужественным, ощутить свою насущность первым попавшимся способом — вот что называется трудовым подвигом: кинуться в любой прорыв, заткнуть собой любую дыру.

Как-то у нас само собой совмещается: «труд и творчество», «труд и свобода». А ведь тяга к труду может быть от творческой несостоятельности, от бессилия фантазии, от своего рода импотенции — неспособности любить. Случайно ли, что все тоталитарные режимы восхваляют труд как первейшую добродетель и выставляют гражданским идеалом прилежного работника? Он безопасен, потому что работает в поте лица и не отрывает взгляда от земли. В корень слова «работа» вписано слово «раб». «В поте лица своего будешь есть хлеб...» (Бытие, 3:19). Человек стал рабом греха — и потому работником на земле: можно ли проклятие выдавать за добродетель? Свобода, если поискать ее первоначального смысла, — это вовсе не «освобожденный труд», а освобождение от труда. Сколько издевались у нас над евангельскими словами: «птицы небесные не сеют, не жнут...» — образом человека, испугленного от греха!

4.

Техника постепенно освобождает человека от трудового проклятья, сближает труд с мечтой, полетом, духовным деланьем. Но трудолюбие враждебно технике, как разврат — романтике. Блуд слишком привязан к плоти, к вязкому, душному, смертному в ней. Лучше неделю собирать картошку руками, чем один час — уборочной машиной. И люди, склоняясь к земле, чаще вспоминают, что они рабы. Разум, конечно, отдает предпочтение машине, но душа просит надрыва, мозолей, сухого трения о поверхность вещей, чтобы возбуждать и глушить себя этим зудом, бесовской щекоткой, от которой сладко ломит тело.

Там, где блудливый труд, — много наспех сделанных, скорее испорченных, чем облагороженных вещей. Нетерпеливо растерзанных, торопливо брошенных. Блудодей берет от них то, что ему надо, — сминая плоть, гонит вал. Не озабоченный смыслом и мерой самого предмета — кроит, а

точнее, кромсает все по одной мерке. Не таков ли блудливый характер всей нашей промышленности, которая гонит массу несработанных, полуразрушенных вещей? Сколько у нас необъявленных маркизов де Садов, наворотивших горы трупов в своих пролетарских замках со станками сладострастного истязания для безгласных жертв: чистых руд и металлов, непорочных горных и древесных пород! О чудовищных пытках можно догадаться по следам повсеместного безобразия на лицах прекрасных городов и сел, по разорванному узорному плату полей и лесов, по рытвинам и ухабам на теле изможденной земли. То, что стояло, согнулось в три погибели, то, что лежало, поднято на дыбы, то, что имело части, стало сплошным целым на бескрайних трупохранилищах, именуемых уважительно складами или пренебрежительно свалками, но сберегающих примерно одно и то же.

Техника — давно уже пройденный этап, оставленный для любопытных малолеток, жадно мусолящих страницы затрепанных пособий: как это делается, с какой стороны подступаться? Изо всех наук осталась одна арифметика: не как, а сколько — перещупать, перекопать, понастроить. Остановиться нельзя — можно так и застыть посреди строительной площадки, превращенной в мусоросборник, и впасть в черную меланхолию. Спасает только неистовость порчи, сквозных червивых ходов, проложенных через сердцевину прекрасного, девственного вещества, которого всегда хватает в заневестившейся стране. Сколько угля, сколько нефти, сколько газа — и все зажалось, томится, перезревает в своих тайных недрах. Разрыть, откопать, внедриться! А дальше — пусть небо греется нашим дымом, пусть соседи тревожно втягивают ноздрями насыщенный промышленный запах нашей природы. Сладок дым Отечества, вольно гуляющий по всему поднебесью.

Профессионал, берясь за ремесло, как бы вступает с ним в законный брак, посвящает ему себя без остатка. Собственно, профессионализм — это и есть мистериальная посвященность, связанность неразрывными узами с предметом труда, мученический и счастливый брачный венец, таинство «единой плоти» человека и вещи. Любое изделие скреплено печатью любви, как плод долгого претерпевания и взаимного узнавания, нерушимого обета верности. Куда

делось, во что вылилось это великое качество компетентности? В приложение к одному-единственному слову «органы», и впрямь всепроникающим. Дилетантизм спорадичен, спонтанен — всюду рассеивает свои споры, перебрасывается с вещи на вещь, без методички, без привязанности, без обязательств. Не заводит семьи, не выращивает детей, но ускоренно тратит семенной фонд человечества. Он, любимый наш герой, любовник труда — на все руки мастер, словно у него тысяча рук: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Наша социальная мечта — всесторонне развитая личность, шьющая, как Москвошвей, жнущая, как колхоз, играющая, как духовой оркестр. И каждая рука творит чудеса: небывалые покрой, небывалые урожаи, небывалые напевы — лагерники в лохмотьях, голодающие кормильцы и мертвая тишина, в которой скрежещет один гортанный голос.

«Блуд труда» — это ныне называется экстенсивным способом хозяйствования: скорее осваивать новые земли, строить новые заводы, не заканчивая начатого, работая порывами и урывками, авралами и абордажами, как встречаться с первыми встречными, без уговоров и прощаний. Можно пожурить таких проворных и нахрапистых — и призвать к интенсификации хозяйства, к глубине освоения... Но чтобы двинуться в глубину, нужно поставить себе границы; а широта вокруг так уже призывно разлеглась-распласталась, что ноги сами просят идти все дальше и дальше, «все разрушая рубежи». Пресловутая широта наша — не та же ли размашистость блуда, включая блуд с пространством, с землей? Да и что такое эта огромная, невпроворот для житья и освоения территория, как не блуд экспансии, которая перебирает край за краем, версту за верстой, не в силах остановиться и границу свою очертить, прочный дом свой построить. Что такое для нас государственные границы? — игра в классики, легкий перепрыг туда-назад, когда у нас повсюду родной дом и бесконечный путь класса к самому себе, в свои законные рабочие владения!

Сама равнинная земля, раскинутая навзничь на все стороны, — прообраз легкости наших трудовых отношений, ведь «блуд» и значит не что иное, как «блуждание»: шаткость, качание, неоседлость. Вот что сказалось в раздолье души, которая ни к чему прирасти не может и потому грезит о борьбе за весь мир, на меньшее не согласна. Блуд

— психологическое кочевье, которое, возможно, выработалось от географического, когда нахлынули и размыли Древнюю Русь кочевые племена и народы. «И он у нас в крови» — не той ли самой, что широким потоком, потоком влилась в русские жилы в пору степного нашествия и дальше разливалась безбрежно, безбожно, всеми бунтами, от Разина до Ленина, шедшими — вот совпадение! — от низовьев Волги, от старых гнездовищ Золотой Орды, которая по ходу веков краснела от пролитой в землю и ударяющей в голову крови.

Бывает, что передовой отряд, попав на чужую территорию, не может с нее выбраться, остается в окружении и погибает. Так мы не можем выбраться из окружения своей территории, она цепко нас держит, предопределяя весь блудный, кочевный дух исторического существования. Развратно одному человеку иметь десять жен — так развратно одному государству иметь территорию, которой хватило бы для десятерых государств. Владеем большим, чем нуждаемся, — поэтому работаем хуже, чем можем.

И вот — последняя стадия... То чужое, что присвоили себе, но не сумели освоить, теперь исподволь, из-под полы, распродается на сторону. Эта держава, простершая ноги на Сибирь, а локтем возлегшая на Кавказ (горделивый ломоносовский образ), слишком велика своими недрами для владеющего ею государства-самодержца. Хоть и силен, а все-таки слабават для такой страны. И он, совершая блуд с ней посредством безлюбивного труда, одновременно сутенерски распоряжается ею посредством торговли. Не похитив чужого, не начнешь расхищать своего. Сутенерство — высшая и последняя стадия блуда, когда освобождаешься не только от нравственных обязательств, но и от физической страсти к женщине. Это интимная связь, лишенная малейшей интимности, столь же регулярная и законообразная, как супружеская, только с обратным знаком. И это психологически понятно: блуд все время упирается во что-то «не свое», чем он не может овладеть. Отсюда соблазн избавиться от этого «не-своего», но уже не даром — придти на мировую толкучку и сбыть товар, который жжет руки. И покупают, хотя и видят, что на продавце шапка горит. Блуд в производстве ведет к сутенерству в торговле, когда в оборот пускаются не готовые изделия, а даровое сырье, необ-

рабочая, не востребованная плоть земли. Зачем свою рабочую силу напрягать, когда у нас товар под боком лежит, к спине привалился! Распродаются недра возлюбленной — разлюбленной — родины, вывозятся на потребу дальней, расчетливой промышленной похоти. И в самом деле: чем безлюбовно и постыло вторгаться в развороченные трудом-развратом недра, не лучше ли запродать их богатому воротиле, который выкачает из обильной земли все, что возможно, — и заплатит за нее с лихвой. Пусть, опустевшая, спит рядом, отсыпается до самой смерти. Чем жить с нею, не имея пыла и сил, лучше жить за ее счет.

Так далеко ведет мандельштамовская метафора, в самые укромные уголки и постыдные тайны государственного сожительства со своей землей.

5.

Напоследок нельзя не вспомнить, что эта метафора под пикантным соусом уже была заготовлена марксистской социальной «наукой», прежде чем самой науке теперь предстоит ее расхлебывать. Начиная от древних социалистических учений и кончая научнейшим социализмом, всюду в этих миропасительных проектах обобществление собственности дополнялось обобществлением жен. Нет, социализм не предполагает ни лени, ни воздержания, как заявляют его клеветники, — но всего лишь такую трудовую и половую активность, которая не притязала бы на частное владение своими плодами и предоставляла бы их в мудрое распоряжение государства. Все должны трудиться на всех — и в домах, и в домнах. Так что Мандельштам ничего нового по сути и не сказал. Общественная собственность на средства производства вещей и воспроизводства людей уже предполагает и освящает тот ритуальный блуд, каким становится труд без института частной собственности и супружество без института семьи и брака. Метафора «блуд труда» не выдумка, а правда осуществленной утопии, где общественное производство и «общность жен» должны органически дополнять друг друга, как взаимный образец и место передового опыта.⁷

7 См. «Коммунистический манифест», ч. 2.

По идее, они должны идти рядом, вместе, нога в ногу: труд и блуд, блуд и труд. А метафора их скрещивает и опять-таки объясняет, почему этим утопическим проектам суждено было воплотиться лишь отчасти. В производстве — да, в сожительстве — нет. Именно потому, что священный блуд, который предполагался в замену домашнего рабства, с возрастающим размахом воплотился в общественном производстве. Сам труд стал блудливым — и тут уже стало не до блуда. С такой яростью вливалась похоть общественного сожительства в хозяйственный процесс, что для прочих смешений не оставалось сил — все съедал безоглядный труд и его беспризорные порождения.

Больше того, сама любовная сфера стала в какой-то мере поприщем трудовой дисциплины, героического самообуздания — вобрала те качества «буржуазной», «протестантской» этики, которые исчезли из сферы собственно производственной. Хозяйственный ажиотаж рождал нравственных аскетов, очищавших себя огнем общепольных страстей. Вспомним шолоховского Давыдова, который руководит, агитирует, пишет, пашет, раскулачивает. Самоотверженный герой разбрасывался по всем видам труда, чтобы утолить кипение своей крови, жаждущей разлиться по жилам сверхмощного, сверхтребовательного государства. Жены могли не бояться соперниц, потому что мужья сгорали и истощались совсем в другом, необъятно-вместительном лоне.

Экономико-эротическая метафора Мандельштама очерчивает то сплетение двух сфер, которое ускользает от политической экономии, потому что неведомо прежним цивилизациям. Пожалуй, впервые в истории хозяйственный организм столь глубоко пронизан духом оргии, именуемой всенародным энтузиазмом.

Вспомним, как величайший пролетарский писатель Максим Горький описывает тот памятный день, точнее ночь, когда он «впервые почувствовал героическую поэзию труда». Волжская баржа села на мель — понадобилось срочно ее разгрузить. «И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали «показывать работу». /.../ Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. /.../ Вокруг меня с легкостью пу-

II. ТЕМПЕРАТУРА ИСТОРИИ

ховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. /.../ Работали играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятие женщины. /.../ Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и все вокруг завертелось в бурной пляске... /.../ Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить в этом полубезумном восторге делания».⁸

Здесь изображается вовсе не труд, как представляется Горькому, а оргия труда, которая мало чем, в сущности, отличается от той пьяной оргии, которую грузчики устраивают потом в трактире, чтобы отпраздновать свою трудовую победу. И хотя писатель с горечью противопоставляет героический труд грузчиков их трактирному угару, он как будто не замечает, что его собственный подбор слов обнаруживает общность этих хмельных состояний. О труде: «музыка трудовой жизни... приятно охмеляет сердце мое», «с пьяной радостью», «в полубезумном восторге», «объятие женщины», «ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью». О пьянстве: «шумно пировали», «запевал похабную песню», «десяток голосов оглушительно заревел», «барыня лежит», «хохот, свист, и гремят слова, которым по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на свете». Все тот же экстаз, с эротическим запалом, с разбойничьим воем и присвистом. Если это и труд, то он недалеко ушел от физической забавы — такой разбойничий разгул пристал именно грузчикам, которые перетаскивают с места на места плоды чужого труда. Недаром и коммунистические субботники, т.е. образцы высокого и вдохновенного труда будущего, с начала и до конца так и остались погрузочными работами, вроде тех, которыми занимались кремлевские вожди, торжественно перетаскивая бревна под музыку праздничного оркестра. «Хватал, тащил, бросал» — это и есть горьковская формула труда, или, как сказал бы Бердяев, лозунг третьего Рима-Интернационала, своим сжатым трехчленным строем окликающий формулу первого, цезарева Рима: «пришел, увидел, победил».

8 М. Горький. «Мои университеты» (1922). Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 тт., т.16, М., «Наука», 1973, сс. 27-28.

Этот трудовой энтузиазм, которым исстари славилась артели грузчиков, на целый век закружил Россию с того дня, как юный Пешков «хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал» — и страна уже не может остановиться, заверченная бурной пляской под «музыку трудовой жизни». Что раздаётся каждый день по радио, к чему призывают газеты? «Бери, хватай, тащи, качай, держи, даешь, ударим, выдадим!»

И тогда по-новому просматриваются фигуры организаторов этих оргий, бессменных затравщиков, застрельщиков, героев и корифеев, — парторгов, профоргов, группоргов, комсоргов, культуроргов. От их бесчисленных совещаний и слетов веет знакомым духом трудового распутства, ритуального всесмешения и всеподмены, которое лишь в лучшем случае ограничивается словоблудием — оральным сексом, но часто переходит и в настоящее «производственное» соревнование: кто поставил больше галочек, одержал больше побед, больше наворотил, сокрушил, разделал, задвинул, вогнал. Узнаются жесты подворотен, возгласы кутежей, «вой, свист, крепкая ругань». Где они? — да вот, на трибуне! Профсоюзная организация! Комсомольская организация! Пионерская организация! Но впереди, конечно, та, что вопреки названию, уже не сидит за партой, а водит указкой по стране. И тогда, в бурливом обществе всех этих «-оргов», само слово «организация» вспоминает свое забытое корневое родство с «оргией».

1979, 1987

ОБЛОМОВ – КОРЧАГИН – ОБЛОМАГИН

Обломов и Корчагин — едва ли не самые характерные типы русской литературы двух веков. Один олицетворяет собой «лишнего человека», другой — «героя-борца». Что общего между прекраснодушным барином-лежебокой и нестигаемым бойцом революции? Мы покажем, однако, что Обломов и Корчагин представляют собой две грани одного российского (архе)типа, который в полном, двусоставном своем качестве выведен у А. Платонова. Этот любимый платоновский тип, воин-сновидец, боец-лежебока, может быть назван сдвоенным именем героев И. Гончарова и

Н. Островского — Обломагин. Вот оно, имя-оксюморон, ключ к разгадке напряженной двуполярности русской культуры.

1. Обломовка и Чевенгур

Среди выдающихся черт российского характера всегда странным образом уживались «обломовщина» и «корчагинщина», гражданская и трудовая сонливость — с воинской решимостью и напором. Как понять страну в единстве двух ее лиц — Обломова и Корчагина, мечтательного сибарита и безжалостного к себе и к другим энтузиаста? Обломовское мы давно уже научились опознавать в себе — это неощущение реальности, отмашку от практических дел, попускание любой инерции и застою. Но ведь и Корчагина из России не выкинешь, с его жестким, чуть азиатским прищуром и пальцем на взведенном курке. Уже сбитому с ног — выпрямиться, «ухватиться за руль обеими руками», «разорвать железное кольцо», «с новым оружием вернуться в строй», чтобы «в штурмующих колоннах появился и [его] штык» («Как закалялась сталь»).

Вспомним хотя бы конец эпохи застоя, рубеж 1970-х и 1980-х, когда стала вроде бы окончательно оседать «революционная буча» и все по-обломовски замедлилось и обленилось. И вдруг п удар по Афганистану, рывок к четвертому, Индийскому океану, крутой геополитический прорыв. На излете старческого режима (геронтократии) п как вдруг воспрянул наш комсомольский герой! Как вскипела со dna ясноглазой обломовской синевы холодно-серая, стальная корчагинская голубизна! Переливание кровей, превращение ликов! Неужели есть обломок Обломова в Корчагине, неужели не выкорчевать Корчагина из Обломова?

Кажется, что тайна этого родства вскрыта народнейшим из народных писателей — Андреем Платоновым. Голодные и решительные герои его «Чевенгура», строящие коммуны, в которой главным и бесплатным работником было бы солнце, а они — его равными и праздными нахлебниками, — ведь это удивительная помесь корчагинского энтузиазма и обломовского сибаритства. Они готовы неслыханные ратные подвиги совершить, дабы трудящийся человек, скинув иго принуждающих его к труду хозяев, мог ничего

не делать и жить с беспечностью травы, прозябающей под солнцем. Сколько сил тратится — ради революционной отмены всяких усилий!

Вроде бы дела и дела жаждут их тоскливые души, опутанные вековой дремотой, — и вправду, застаем мы их в постоянном саморасходе, самосжигании. Но это энергия именно растраты: итогом бешенства революционных сил становится всеобщее безделье, хождение друг к другу за разрушенные плетни и собирание травок в пищу Божию. Чевенгурская коммуна с травой и солнышком в качестве главных действующих лиц, при полной незаметности и неодушевленности людей, еле шевелящихся от лени и голода, — да ведь это больше всего напоминает не кампанелловский город Солнца, а сонное царство Обломовки. Такое же обилие природного простора с потерянной в нем человеческой живностью — чисто и гладко тянется пространство от прозрачных небес в черную прорву земли, почти не прерываемое суетной, плесенной пленкой «цивилизации». Разница только та, что в Обломовке покой и беспмятство сытости, а в Чевенгуре — голода. Но как пресыщение и истощение одинаково ведут к погашению жизненных энергий — так, позитивом и негативом, совпадают в своих стертых очертаниях две идиллии: помещичья и коммунарская. Будто негатив, отснятый в середине XIX века, проявился 80 лет спустя:

«Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.

Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом... Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спро-

сонья и, почавкав губами или проворчав что-то под нос себе, опять заснет» (Гончаров, «Обломов»).

Как тут не узнать Чевенгура!

«...Коммунизма в Чевенгуре не было снаружи, он, наверно, скрылся в людях — Дванов нигде его не видел, — в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие. ...Он стоял один среди пустыря и ожидал увидеть кого-нибудь, но никого не заметил, прочие рано ложились спать... они желали поскорее истощать время во сне.

Чевенгур просыпался поздно; его жители отдыхали от веков угнетения и не могли отдохнуть... Дома стояли потухшими — их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные; даже коров нигде не было — жизнь отпиршилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян... Все большевики — чевенгурцы уже лежали на соломе на полу, бормоча и улыбаясь в беспамятных сновидениях» (Платонов, «Чевенгур»).

Ради чего кипели бои, лилась кровь, развевались знамена? Чтобы на полном скаку въехать в царство сновидений, еще более беспробудных, чем обломовские. «Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны...» В Обломовке жители хоть трудились, чтобы равномерно удовлетворять свои ежедневные потребности потрохами и кулебякой, — а впрочем, труда не любили: «они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить его не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Чевенгурцы нашли более решительный выход — скинув хозяев, вовсе порешили с вредной привычкой трудиться, ограничив потребности степными злаками и цветами, зато уже обеспечив себе неограниченное их удовлетворение:

«...В Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием... труд раз и навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество — угнетению; но само солнце отпускает людям на

жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение за счет нарочной людской работы — идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы. ...Заросшая степь... есть интернационал флагов и цветов, отчего всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации».

Наверно, стоило несколько лет повоевать, чтобы на всю оставшуюся жизнь и для грядущих поколений обеспечить себе такое «обильное питание», а главное, осуществить тот коммунистический идеал, к которому тщетно стремились обломовцы, не умея покончить с господами и обстоятельствами, принуждавшими к труду. Эта жизнь, переустроенная на правильных началах, имеет все достаточные и необходимые свойства смерти и кладет конец всякому антагонизму. «Добрые люди понимали ее (жизнь) не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом» («Обломов»). В обществе будущего, какое строят чевенгурцы, этот идеал воплотится без помех, потому что главное препятствие, труд, отпадет в результате борьбы. А с ним прекратятся и ссоры — не из-за чего ссориться, убытки — нечему убывать, да и болезни — все уже отболелись. Сон и еда, еда и сон — таков образ счастья у обломовцев и чевенгурцев, с той только разницей, что последние меньше едят и больше спят.

Вот как мечтают у Платонова: «Бараньего жиру наешься и лежи себе спи!... А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы. ...А потом сразу спать хочешь. Добро!» Вот эта самая мечта и есть «вождь попутчикам голодным», но для нее и руками надо поработать, как добрым людям из Обломовки, где «забота о пище была первая и главная жизненная забота». Забот много, зато и пища была добрее: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! ...И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такую полную, муравьиною, такую заметною жизнью».

Но зато уже после полудня суэта прекращалась и жизнь становилась незаметною и неслышною. «И в доме

воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна». Чевенгурцы устранили этот лишний хлопотный промежуток между сновиденьями: нет у них тучных телят и даже мелкие животные их покинули, зато ничего не отвлекает от пользования даровой милостью природы. Едят они не так хорошо, как мечтают, зато спят даже лучше, чем мечтают обломовцы. «Пролетариат... еле шевелился ослабевшими силами», чтобы вполне уже достичь обломовского «идеала покоя и бездействия». Таким образом, исторический прогресс идет по линии возрастания сновидений, чтобы в них перенеслась вся бедная явь.

Заодно и нравственный прогресс обеспечивается материальными условиями. В Обломовке не водилось воров, но могли бы развестись, потому что при сонливости жителей легко было их обчистить — а в Чевенгуре они и так чистые; не только некому совратиться на кражу, но и нечем. «Легко было обокрасть все кругом... если б только водились воры в том краю», — сказано про Обломовку. Заменяя «воры» на «вещи», получим еще один переход из века в век.

Одни только субботники остаются у чевенгурцев праздниками труда — но именно для того, чтобы труд весь без остатка перешел в праздность, чтобы в нем соблюдался особый обряд, лишенный прямой производительной цели. «Так это не труд — это субботники! — объявил Чепурный. ...А в субботниках никакого производства имущества нету — разве я допущу? — просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства». У чевенгурцев, вся неделя п «не-деля», как по воле празднотлюбивого русского языка вслед за воскресным днем, «неделей», стала называться вся «седмица», — превращена в то, чем она и должна быть: в дни сплошного отдыха, чтобы зато в день субботы, или «покоя», устроить праздник труда.

Теперь понятно, почему субботник еще от самого «великого почина» — это «переносить бревна», «грузить дрова», «убирать школьный двор». Таков архетип этой работы, переносящей предмет с места на место безо всякой вредной «прибавочной стоимости». С детства запечатлелся в нас образ: вождь трудящихся всего мира несет на плече бревно, сознательно не возвышаясь над трудовым мура-

вейником. Вот и чевенгурцы, за неделю отоспавшись, перетаскивают по субботам плетни от дома к дому, чтобы с удовольствием порастрасти по дороге часть угнетательского наследия.

2. Воины-сновидцы

Значит, итог великих сражений — сжечь «в костре классовой войны» самих угнетателей и их накопления, чтобы вслед за субботой праздного труда настала нескончаемая неделя, чтобы перевелись прибыли и убытки, «чтобы спать и не чують опасности». «Ничем не победимый сон, истинное подобие смерти» (Гончаров) становится у Платонова еще «истиннее», переходя из подобия в тождество со смертью: «...Внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся..., изо всех темных сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться» («Котлован»). Вот до какого покоя доводит народ его социально беспокойная часть: классовый бой — пролог к вечному сну.

Да и не только по итогам, но и по началам своим действительность чевенгурцев похожа на быстрый сон, когда у спящего нервноически подергиваются лицо и руки от внутренних усилий, от колоссальной работы, которую он продельывает с образами своего минутного бреда. Так живет чевенгурский комрыцарь Копенкин, для которого даже коммуна — слабо чарующий признак, отблеск более возвышенной цели. Ищет он прах Розы Люксембург — обнять, и поклониться, и отомстить мировому капиталу за гибель пламенной женщины, воплотившей соблазн мятежа, величайшую роскошь и разгул мировых пролетарских сил. Эта платоническая революционная эротика и влечет его по всей России на тяжелом Росинанте, «Пролетарской Силе». И в лесах, и в степях, и в долинах, и на взгорьях — всюду он ищет следы своей Дамы-Розы, своей Дульсинеи. По жанру «Чевенгур» — это рыцарский роман, со всеми бредами и подвигами, ему положенными.

Вообще воинственность и грезовидчество, как показывают эпопеи всех времен, отнюдь не исключают друг друга (Роланд у Ариосто, Ринальдо у Торквато Тассо). Истинный

воин, суровый и беспощадный, легко подвластен чарам сна. Кто страшнее всех для мусульман, как Копенкин для буржуев? — бледный и сумрачный рыцарь, весь поглощенный видением Пресвятой Девы. «Он имел одно виденье, непостижное уму» (Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...»). «Роза! — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии». Воин — человек рока, и сон — дело рока. Посланное свыше: удача, знаменье, предназначенье — все в снах является воину. Так Ахилл и прочие ахейские мужи постигают в сновидениях промысел богов. Все гражданское и промышленное, в миру трудом добываемое, — это истинный воин презирает не меньше, чем Обломов на своем диване. Что кольчуга, что халат — лишь бы не уродливый штатский костюм, где телу нет ни богатырского размаха, ни домашнего приволья.

Труд — вот главное звено, выпавшее между сновидчеством и воительством, благодаря чему они и связались в нашей жизни напрямую. И если окончена война, то найти себя в повседневных трудах бывает непосильно недавнему воину. Своя трагедия была у тех, кто не в поле мертвыми полегли и не в концлагеря полуживыми на нары, а мирно уселись за канцелярские столы. Вспомним хотя бы «Гадюку» А. Толстого и ее гадливость к штатской жизни: на амазонке этот пример даже нагляднее, чем на рыцаре, потому что прирожденная женская радость мирного быта — и та навсегда отравлена адреналиновым упоением боя. Ведь сон потому и могуч, что одним ударом, как неотразимый воин, крушит всю враждебную явь. Во сне все невероятно и ошеломительно, как в бою, и душа сразу получает все, чего просит.

«...Ему скучно становилось жить без войны, лишь с одним завоеванием», — раскрывает Платонов душу чевенгурца Кирея. Правда, нет ничего завоеванного, с чем и дальше нельзя было бы воевать, — не в том ли причина обязательного усиления классовой борьбы после уже достигнутой классовой победы? Сначала уничтожают прямого врага, потом косвенного; сначала встречного-поперечного, потом попутчика; а уж кончают на себе и с собой. А чтобы сократить всю эту тягомотину долгого боя, можно сразу воспарить к конечному счастью — «поскорее истощить свое время во сне» (Платонов).

«И вечный бой — покой нам только снится», — угадал Александр Блок это сновидческое начало самого боя («На поле Куликовом»). Можно было бы добавить: «И вечный сон, и бой нам только снится».

То, что обломовская сонливость вовсе не исключает корчагинской воинственности, наоборот, предполагает ее, — сказалось уже в образе Ильи Муромца, первого нашего Обломова и первого нашего Корчагина. Тридцать лет просидел Илья сиднем на печи, чтобы потом уж вволю поскакать-порезвиться по чисту полю. Быть может, не случайно Обломов и назван Ильей, да и в батюшки Муромец годится Илье Ильичу — тянется за этим именем из былинного прошлого какой-то лениво-засыпающий след. Таков же и ставший уже нарицательным Иван Ильич у Толстого, вроде бы и проводящий жизнь в приличных трудах, а по сути лениво и беспробудно доживающий до смерти.

Наконец, слова «Ильич» и «Ленин» в народном сознании сделались синонимами не от той ли памятной лени Ильи, которая потом обернулась богатырством и «володимирством»? Не свою ли исконную лень и чаемую силу вложил народ в это заветное, из седой древности предначертанное имя? Шагает оно от фамильной печки (Ленин) через богатырское отчество (Ильич) ко всемирному раздолью (Владимир), чтобы народному вождю, нареченному по былинному герою-батюшке, владеть за свои подвиги всем миром. Разве это не промысел? Долго враждовавшие между собой царство и богатырство, которые еще в стародавние времена перессорились, через вельможного князя Владимира и народного удальца Илью, — теперь воссоединились между собой в имени-отчестве, словно Владимир и он же Ильич от имени всего народа стал править княжеством, буйный молодец — он же и государь. И уже не дрожит от ударов богатырской палицы киевский престол, а все выше восходит над миром Красное Солнышко...

Вот они где сцепились корешками, эти столь далекие разветвления нашей словесности — Обломов и Корчагин. А вновь срослись у Андрея Платонова, где лежание на печи и смертельный бой уже не разделяются на персонажей, а вместе образуют странное, зачарованное состояние рыцаря-лежебоки, грезящего в сам момент сраже-

II. ТЕМПЕРАТУРА ИСТОРИИ

ния, как-то застывшего на скаку и притом скачущего во сне. Та же самая некапитальность, ненакопительность народа, которая сказалась в его охочести ко сну, рассеянию, забвению, — она же сделала его и бесстрашным воином, всегда готовым оторваться от скопидомских забот и встать под простреленное знамя, уносимое ветром. Копенкин и подобные ему копыеносцы не знают страха, не жаль им и собственной плоти — в конце концов, это все тот же буржуазный достаток, сколоченный на белках, жирах и прочей прибавочной стоимости организма. Вот отчего не любят жирных, чуя, что они капитал свой носят в боках и выпуклостях, а пролетарский человек должен расходовать свое тело на общественную пользу вплоть до полного исчезновения. Ноги-руки и особенно живот — мерзкая частная собственность, наконец-то перешедшая в достояние коммуны и всемирной бедности, которая распорядится ею по своему классовому интересу. Нечего жалеть, нечего терять, ничего не накопили мы в этой копеечной жизни и потому всегда готовы к иной. Сон — в охоту, гибель — в забаву.

Эта заблудшесть души в пограничных областях между жизнью и смертью хорошо передана у Бориса Пастернака в стихотворении «Сказка» — о чудо-богатыре, который вызывает красавицу из драконова плена. Вспоминая международный бродячий сюжет о Георгии Победоносце, поэт вносит в него странный поворот — чтобы сказать правду о своем времени. Воин, как и положено, побеждает дракона — но сам, вместе с освобожденной красавицей-душой, впадает в оцепенение. Такого неожиданного развития сюжета нет в фольклорных песнопениях о храбре Егории. Что это за невероятная победа и какую ценой она дается, если побежденная смерть все еще держит и воина, и деву в плену победительного сна?

<i>Конь и труп дракона</i>	<i>...Но сердца их бьются.</i>
<i>Рядом на песке.</i>	<i>То она, то он</i>
<i>В обмороке конный,</i>	<i>Сияются очнуться</i>
<i>Дева в столбняке.</i>	<i>И впадают в сон.</i>

Это уже не только сказка, это история. Дата под стихотворением — 1953 г. — одна из тех в отечественной исто-

рии, когда дракон умирал, а спасенная краса и сам воин-спаситель все еще оставались в забвенье.¹

*Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.*

Так начинается и так заканчивается последняя часть стихотворения. Кому так царственно дремлет, за чьими смеженными веками проносятся целые миры и столетия? Это душа самого народа тоскует «во власти сна и забвения». И не разобрать в этой «Сказке»: то ли освободитель заснул «от потери крови и упадка сил» — то ли сама спящая дева видит в снах своего освободителя. То ли сон после битвы, то ли битва во сне. 1953. А до того — четыре года битвы за отечество, за ними — восемь лет забвения. И сотни, сотни лет перемежающихся высей и бродов, битв и сновидений.

3. Метафизическая воронка

Порою кажется, что целые народы, как и люди, могут страдать от душевных недугов. Испания долгие века была захвачена манией величия. Германия страдала комплексом неполноценности. Японию терзал страх открытых пространств, что вело к добровольному затворничеству на уединенных островах.

Но XX век — век великих кризисов и исцелений, когда нарыв нагнаивается, распухает, болью отзывается во всем человечестве, и наконец лопается. Народу, перебродившему и перебрившему, возвращается здоровая уравновешенность, способность соизмерять свои желания и возможности, свой порыв и действительность. На исходе XX века стала исцеляться, наконец, и последняя боль: от ее гнойного пузыря, раздувшегося на шестую часть света, давно уже трясло и лихорадило все человечество. На такое огромное пространство, наверно, требовалось и больше времени, чтобы на разрыв натянулась болезненная оболочка — пусть с опозданием, лишь бы не смертельным.

¹ Автограф первоначальной редакции стихотворения — в письме Б. Пастернака Н. А. Табидзе 29 октября 1953 г.

Долго, долго наше общество страдало маниакально-депрессивным или, как теперь чаще говорят, биполярным психозом. не в узко-психологическом, но в культурно-историческом смысле. При этом маниакальное начало преобладало среди господствующих сословий, на вершинах политики и культуры, тогда как масса нижних и средних слоев была погружена в депрессивное состояние, отразившееся в унылых, тягучих народных песнях, в тоске и жалобах, а пуще всего — в бесконечном равнодушии ко всему. Пусть жизнь идет прахом, а там хоть травой зарасти, и даже если эта трава прорастает через мой собственный прах, я не встану, не возопию. Умирать тоскливо, а жить еще тошнее. И какая разница — на лавке спать и думать вековечную бессловесную думу, или прямо в гробу, чтобы уже не суетиться с новосельем и никого не беспокоить. А для спасения души подливать собственной рукой масло в заупокойную лампаду над изголовьем.

Маниакальный склад личности ярче всего обнаружился у выдающихся людей — собственно, сила маний и фобий и выдвигала их на передний край. Петр I и Суворов, Аввакум и Распутин, Белинский и Бакунин, Писарев и Нечаев, Н. Федоров и Э. Циолковский, в какой-то степени Хлебников и Маяковский, поздний Гоголь и поздний Л. Толстой, не говоря уж об Иване Грозном, Ленине, Сталине, Троцком и их прямых наследниках и соратниках среди деспотов и революционеров разных поколений. Упорные и неистовые однодумцы, знавшие «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». У всех этих людей, даже при величии натуры и гениальной одаренности, есть какая-то резко выдвинутая черта, «предрассудок любимой мысли», навязчивая идея, оттесняющая все остальные. Как будто сама действительность так зыбка, податлива, безразлична, что лишь предельным сужением всех усилий к однодумию, одночувствию — можно оставить малейший отпечаток смысла и цели на ее расходящейся трясине. И вот великан отставляет одну ногу, другую упирается в носок или налегает на каблук, отбрасывает все опоры, теряет множественные точки соприкосновения с реальностью, чтобы изо всей силы вдавливаясь в заостренную точку, притоптывать и пританцовывать на ней, кренясь и хватая воздух руками, — и если не падает, то оставляет в расплывшейся жиже след

своего желания оставить в ней след. Великан, стоящий на одном каблуке и размахивающий вокруг руками, – вот здешняя поза великого человека.

В любом обществе есть определенная пропорция социально активных маниакальных личностей, пытающихся навязать свою идею-фикс всем соотечественникам и миру в целом. Но российское общество оказалось менее всего защищено от этих экстремальных типов. Обычно они вытесняются в маргинальные группы, в мелкое подполье, вроде «красных бригад» или эзотерических тоталитарных сект; в России же такое подполье приходит к власти и начинает определять политическую и интеллектуальную жизнь страны. Одна из таких «бригад» и «сект», как известно, ухитрилась захватить страну и решать судьбы человечества на протяжении почти всего XX века. Возможно, это связано с самим типом российской государственности, с необходимостью освоения столь огромного полиэтнического пространства. Умеренные идеи и акции здесь не проходят, нужен очень сильный нажим, энергия исступления и неистовства, чтобы идея утвердилась и привилась. Что тут первично, а что вторично: исступленность личности или уступчивость пространства, его готовность расступаться и вбираться? Трудно решить. Быть может, идея разрастается в манию именно под сильнейшей гравитацией пространства, которое, по Гоголю, «зовет, и рыдает, и хватает за сердце».

Мания может быть обращена на все что угодно: на истребление космополитов или насаждение кукурузы, на счастье грядущих поколений или воскрешение отцов, на резание собак или неубиение комаров, на сбривание бород или отращивание бород, на захват Константинополя или овладение Млечным Путем... Но у нее есть два неизменных и взаимодополнительных свойства: огромная входящая емкость и узкое выходное отверстие. Мания захватывает всего человека, всю полноту его духовных и физических сил, обращая на служение одной частной и ограниченной цели. Даже и цель может быть великая, но берется от нее, как выполнимое здесь и сейчас, такое средство или подробность, что уже цель, дабы осуществиться, начинает служить средству. У сказочного рога изобилия дырочка оказывается крохотная, как у тюбика из-под зубной пасты,

на выжимание которой и уходят мускульные усилия богатыря. Чтобы послужить Богу, надо верно послужить начальнику на своей малой должности. Чтобы послужить прогрессу, непременно надо разрушить всякую эстетику, а заодно уж и своротить Пушкина с пьедестала. Чтобы осуществить всеобщую свободу и изобилие, нужно уничтожить самую богатую и свободную часть общества. Такой человек страшно широк своим основанием, куда притекает энергия каких-то астральных миров, и крайне узок в точке приложения этих гигантских сил. Это какая-то метафизическая воронка, раструбом направленная в сторону иного, а тесной горловиной — к здешнему, наличному. И в этой воронке бушуют вихри, притекающие отовсюду, сжатые на выходе, вырывающиеся с клетотом.

Эта маниакальность соединяет два понятия, по исконному смыслу противоположные: партийность (от латинского «pars» — часть) и тоталитарность (от латинского «totus» — целое). Мания тотальна по объему притязаний и партийна по точке приложения, в ней частичное и целое подменяют друг друга. Если бы человек отдавал некоей части соразмерную часть себя, он был бы просто специалистом, в западном смысле слова, например, специалистом по выращиванию кукурузы. Если бы он отдавал целое в себе соразмерно какому-то Целому, он был бы верующим, мистиком, визионером, в прямо религиозном и во все не тоталитарном смысле. Партийность и тоталитарность начинаются тогда, когда человек отдается частично как чему-то целостному, когда счастье народа он полагает в изобилии кукурузы, а спасение души — в двоеперстном знамени или отращивании бороды. «Pars pro toto», «часть вместо целого» — формула мании. Захваченный ею, человек несется, подгоняемый звездным ураганом, к какой-нибудь щели в заборе; чтобы протиснуться сквозь нее, он использует галактический запас энергии. Чем целостнее личность и чем частичнее цель, тем нагляднее совмещение партийности-тоталитарности в безоглядном порыве, этой страдальческой всеохватности. Насколько человек становится в мании больше себя, перерастает масштаб человеческого — настолько же он становится меньше себя, втискивается в грани чего-то специального. Он больше своего разума, но меньше своей души. То, что

расширяет этого человека, одновременно и сужает его. Через него вливается в этот мир какая-то страшная сила, которой иначе как через щелку мании трудно было бы проложить сюда путь. Потому так поражает в нем сочетание сердечной шири с умственной ленью. Ум направлен на что-то одно — а сердце кипит и волнуется. Широко разверстые зрачки, неподвижно устремленные в одну точку: воронка взгляда, эмблема мании.

4. Обломагин. Биполярность в русской культуре

Этот тип, взятый как целое, депрессивен и маникален одновременно, и Обломов и Корчагин суть две стадии единого общественного психоза, переходящего из маникальной возбудимости в депрессивную подавленность, и наоборот. Этот тип человека, с его сонливо-воинственной душой, можно обозначить как ОБЛОМАГИНА — у него обломовский корень и корчагинский суффикс. Такого персонажа нет в произведениях русской литературы, и тем не менее дух его витает не только над нашей словесностью, но и над всей исторической судьбой. Изредка его можно обнаружить и как целое лицо — у таких провидцев русской души, как Н. Лесков и А. Платонов, раскрывших в своих героях великую силу свершения, действующую, однако, словно бы во сне, а не наяву. «Очарованный странник» — Иван Северьянович Флягин; персонажи «Чевенгура» и «Котлована» — Александр и Прокофий Двановы, Копенкин, Чепурный, Чиклин, Вощев... Они и воюют, и бесчинствуют, и неистовствуют, но все в каком-то заколдованном сне, вроде бы и не шевеля руками, скованные, обвороженные, оцепенные собственной силой.

Так еще Святогор, мощно ступая по родной земле, вращал в нее всею тяжестью, и уже не мог сдвинуться с места: сама сила его обессиливала. Потянулся он за малой сумочкой переметной — а она не скрянется, не сворохнется, не колыхнется.

*И по колена Святогор в землю увяз,
А по белу лицу не слезы, а кровь течет.
Где Святогор увяз, тут и встать не смог,
Тут ему было и кончение.*

Вот так погибает богатырь из-за маленькой сумочки — да из-за большой земли, которая ничего не отдает, а все тянет и хоронит в себе. Вслед за сумочкой переметной, как наживкой неподъемной, — и самого богатыря. Значит, тягучая должна быть та земля, хлябкая; на что обопрешься — в то и провалишься. И чтобы след в ней оставить, приходится оставить бедную свою голову, да еще тина сомкнется над головой и утопит сам след. Что твердь — то тряси́на, что порыв — то замиранье, что битва — то сон.

Конечно, между Корчагиным, стоящим на посту, и Обломовым, валяющимся на перине, — целая пропасть. Однако национальное сознание и словесность всегда ищут опосредования крайностей, чтобы прокладывать центральный путь, и вот нарождается такой персонаж-посредник, как Копенкин, который по-корчагински стоит и по-обломовски лежит, неистово выкорчевывает прошлое и непробудно спит на его обломках. Копенкина можно поставить в ряд: Чапаев-Нагульнов-Корчагин, и одновременно в ряд: Манилов-Обломов-Сатин. В нем переглядываются и вдруг узнают друг друга: унтер Пришибеев и Платон Каратаев, Хлестаков и Рахметов, мужик, прокормивший двух генералов, и генерал, неспособный себя прокормить, коняга и пустопляс. «На вкус хлеба Копенкин не обратил внимания — он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближнему направлению., не отдаваясь своему телу. /.../ Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения». Как очарованный странник, он сам себе чужд, не ощущает своего тела и действий, которые совершаются сами за него, пока ум его занят тоской «однообразных воспоминаний о Розе Люксембург».

Копенкин — одна из разновидностей этого вездесущего, хотя и трудноуловимого нашего Обломагина. По частям он всюду мелькает, а как целое ускользает. Обломагин — обобщенный характер-миф, в реальности же он чаще предстает раздробленным. Причем если классическая литература любила по преимуществу депрессивный тип из верхов («лишнего человека», от Онегина до Обломова), то советская — маниакальный тип из низов (от Чапаева до Корчагина). Хотя в действительности распределение типов чаще обратное, но литература любит играть на контрастах, изоб-

ражать сонного барина и озорного мужика. Не потому ли именно у Платонова, на рубеже 20-х — 30-х годов, и обрисовался столь выпукло этот целостный тип, что низы заняли место свергнутых верхов и привнесли боевой задор в свой вековой покой: воюют — как спят, а сны видят такие — о даровом и всеобщем — что душа просится в последний и решительный бой.

Но целостность этого типа была заготовлена и проверена историей задолго до советского времени — в самом взаимодействии двух его составляющих. Черты Обломагина можно найти в характере самых выдающихся личностей, как лихорадочная смена маниакально-депрессивных состояний. Беспросветная хандра чередуется с несусветными мечтами, чем и определяется удивительный, «скачкообразный» взгляд русских писателей на себя и свое отечество. В первом «Философическом письме» (опубликовано в 1836 г.) Чаадаев жалуется, что Россия пуста и ничего не дала миру («мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли...», от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей»), а в «Апологии сумасшедшего» (1837) определяет ей высшее предназначение по сравнению с другими народами («созерцать и судить мир со всей высоты мысли»). Или вот гоголевское видение России: «...Те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел».² Созерцая одно и то же пространство, душа «вдруг» преображается, впадает то в тоску, то в восторг.

Однако чертам Обломова и Корчагина не обязательно уживаться в одном человеке — они прекрасно уживаются в характере самого общества. Одни захвачены манией, другие страдают депрессией, и чем маниакальнее одни, тем депрессивнее другие. Одного такого маниакального типа, как Иван Грозный, достаточно, чтобы надолго вогнать в депрессию целый народ. С другой стороны, и сонливость масс порождает плеяду неистовых будителей, готовых душу вытрясти из народа, лишь бы перевернуть его с одного бока на другой, чаще — с правого на левый (Баку-

2 Н. В. Гоголь. «Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»», из его кн. «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Собр. соч. в 7 тт., т.6, М., Художественная литература», 1986, с. 245.

II. ТЕМПЕРАТУРА ИСТОРИИ

нин, Нечаев, Ткачев, Ленин...). Революционеры и тираны различаются только тем, что маниакальность первых является следствием долгой народной депрессии, а маниакальность вторых — ее причиной. Впрочем, нелепо было бы ставить перед психиатром вопрос, мания ли служит причиной депрессии или наоборот; точно также вряд ли историк объяснит, инертность народа ведет к одержимости лидеров или бушевание верхов заставляет притаиться и застыть низы.

Так же надвое расслаиваются не только социально-психологические пласты, но и периоды истории. В иные периоды преобладают маниакальные порывы — стремительные реформы, революции, перевороты, почины, скачки, когда прошлое одним богатырским махом опрокидывается назад и нетерпеливо закусывают удила «вихри-кони», зачуявшие призыв будущего. Выпишем некоторые симптомы из медицинского справочника — разве не точно накладываются они на картину общественной жизни 1920-х — 30-х годов? «Повышенное настроение... чрезмерное стремление к деятельности. ...Поверхностность суждений, оптимистическое отношение к своему настоящему и будущему. Больные находятся в превосходном расположении духа, ощущают необычайную бодрость, прилив сил, им чуждо утомление. ...То принимаются за массу дел, не доводя ни одного из них до конца, то тратят деньги бездумно и беспорядочно, делают не нужные покупки, на работе вмешиваются в дела сослуживцев и начальства. Больные крайне многоречивы, говорят без умолку, отчего их голос становится хриплым, поют, читают стихи. Часто развивается скачка идей... Интонации, как правило, патетические, театральные. Больным свойственна переоценка собственной личности... Сверхценные идеи величия».³

Это не только характеристика маниакальных периодов жизни общества, но и устойчивый стиль мышления руководящих его слоев, по роду службы пребывающих в состоянии «административного восторга» (М. Салтыков-Щедрин). Браться за массу дел, вмешиваться в чужие дела, безудержно произносить патетические речи, приписывать историческое значение своим поступкам — вряд ли здесь

3 Справочник по психиатрии, М., «Медицина», 1985, с. 56.

нужно указывать персоналии, потому что таков собирательный портрет нашего «активиста».

Но затем наступает эпоха застоя, упадка, безвременья, когда в судьбе народа остается только уныло тянущийся из прошлого след и ветшающая телега на обочине. «Отмечается гнетущая безысходная тоска. ...Все окружающее воспринимается в мрачном свете; впечатления, доставлявшие раньше удовольствие, представляются не имеющими никакого смысла, утратившими актуальность. Прошлое рассматривается как цепь ошибок. В памяти всплывают и переоцениваются былые обиды, несчастья, неправильные поступки. Настоящее и будущее видятся мрачными и безысходными. Больные обездвижены, целые дни проводят в однообразной позе, сидят, низко опустив голову, или лежат в постели; движения их крайне замедлены, выражение лица скорбное. Стремление к деятельности отсутствует».⁴ Таковы депрессивные периоды, которые, по общему правилу болезни, наблюдаются и в нашей истории гораздо чаще, чем маниакальные. Но одновременно это и характеристика целых общественных слоев и устойчивого уклада их существования — безрадостного, тоскливо-однообразного, с опущенной головой, без малейшего внутреннего позыва к деятельности.

Эти пульсации бывают в истории каждой страны, но мало где они достигают такой прерывистости, резкости перепадов, характерной для маниакально-депрессивного психоза. Для одних открылся уже сияющий перевал, для других нет надежды выбраться из трясины. Причем состояние самой действительности почти не меняется, только окрашено в разные настроения. Нет самого пути, упорного поступательного одоления — а все время одно и то же место на пустынном берегу, где меняются вывески-указатели. То «Непроходимая Топь», то «Здесь будет Город заложен». То «Славный Привал», то «Полный Провал». Не движение по дороге, а смена вех, чередование идейно-эмоциональных знаков на одной стоянке.

Коль скоро речь идет об обществе, маниакально-депрессивная биполярность — это, конечно, проблема не медицины, а метафизики. Такова бинарность самой культур-

4 Там же, с. 59.

но-исторической модели в ее болезненном и порой саморазрушительном выражении. Это предмет патосоциологии и патокультурологии, которые имеют не меньшее право на существование, чем такие известные дисциплины, как патофизиология или патопсихология.

В. О. Ключевский объяснял эту социокультурную особенность чередованием в России краткой летней страды, когда в несколько недель вершится судьба урожая и сгорает вся рассчитанная на год энергия труда, — и долгой сонливой зимы, когда время словно перестает течь в натопленном доме, за пьяным столом, на мягкой перине. «Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии».⁵

Климат, безусловно, изначальное слагаемое социальной психологии и мифологии. Но литературный миф движется дальше, задавая путь общественному развитию и включая в свою сумму все новые и новые исторические слагаемые... Великое дело художника, писателя — давать мифу имена собственные. «Обломов» и «Корчагин» — важнейшие среди них, благодаря не только конкретным обозначенным персонажам, но и корневому чутью самого языка, его образной памяти. Издавна приходилось крестьянину, селившемуся в глухих местах, среди чащоб и болот, с невероятными усилиями раскорчевывать лес под пашню. Через шесть-семь лет земля истощалась и крестьянин переселялся на другое место, оставляя после себя обломки выкорчеванных пней и деревьев. Так и сложилась эта предметно-хозяйственная система «корчевок-обломков», которую бессознательно доносит до нас язык, оживляемый интуицией писателей. Многое слышится в этих двух словах обществу, сложившему пословицу «Лес рубят — щепки летят», народу корчевателей и народу обломков.

5 В. О. Ключевский. Соч. в 9 тт., т.1, М., «Мысль», 1987, с. 315.

Таков он — Корчагин и Обломов в одном лице: то корчится в неистовом напряжении сил, рождая сокрушительную энергию удара-подвига, то отламывается от всемирного древа жизни, неподвижным обломком валяясь в стороне от дороги, по которой бодро шествуют другие народы и государства.

III. КРАСНЫЙ УГОЛОК

«ПОРТРЕТ» ГОГОЛЯ-БЕЛИНСКОГО

...Все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные живые глаза.

Гоголь. «Портрет» (1-ая редакция)

Захожу в кабинет редактора — над его головой висит портрет Белинского. Трудно понять, что же общего между «неистовым» Виссарионом и этим осторожным чиновником. Почему вся эта канцелярская рать, орудующая ножницами, как гильотиной мыслей и слов, прикрывается, точно иконой, бледным ликом святого подвижника и мученика идеи?

Правда, Иосиф Виссарионович, как ценитель всего изящного и передового, считался по этой линии прямым наследником Виссариона Григорьевича. Но ведь давно известно, что завещание оказалось подложным. Разве мог Белинский завещать нашим критикам такую волшебную дубинку, которая сшибала бы писателям головы с плеч и сажала бы на их место головы самих критиков? Чтобы, например, у Маяковского выростала вдруг голова Владимира Ермилова, а у Пушкина — голова Дмитрия Благого, и чтобы ноги двигались туда, куда голова захочет; а голова, конечно, гордилась бы своими быстрыми ногами, горячим сердцем и глубоко дышащей грудью.

Попробуем только представить себе... Если наш редактор или критик говорит как бы от имени Белинского, то пусть к нему придет на прием писатель, допустим, в образе Гоголя. Приходит такой Гоголь к такому Белинскому и хочет узнать, что же уважаемый критик думает о его повести «Портрет». Выношенной, выстраданной, программной, над

которой писатель «мучил себя, терзал всякий день». И очень старался, чтобы его повесть, предназначенная для журнала «Современник», оказалась бы «во многих отношениях современной» и была бы заслуженно напечатана в этом знаменитом журнале.

И вот наш как бы Белинский, от имени журнала «Современник» и с точки зрения высоко понятой современности, стал бы с пристрастием разбирать эту вещь, уже истерзавшую писателя и потому достойную всяческого возмездия. Он продумал бы свой отзыв и, вооружившись гегелевской триадой, изложил бы его в трех пунктах.

Сначала, прощупав произведение по косточкам, особенно повозившись в области шейных позвонков, он извлек бы из него мысль писателя, которая была бы вполне достойна помещаться в голове самого критика, и назвал бы эту мысль «прекрасною», отчего наш Гоголь зарделся бы и потупился. Вспомнив изящную манеру своего великого предшественника, наш Белинский сказал бы примерно так:

«Мысль повести была бы прекрасна, если б вы поняли ее в современном духе: в Чарткове вы хотели изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности».

Таков первый пункт: наш критик отделяет мысль от произведения и высказывает ей лестную похвалу, но уже с предостерегающей оговоркой, в условном наклонении: «если бы вы поняли ее в современном духе». Тут уже начинается мистика: наш бедный Гоголь не понял своей собственной мысли, причем не понял ее именно в современном духе. Чья же тогда эта мысль, и притом прекрасная, если сам писатель ее не понял? Предполагается некое раздвоение в голове писателя, позволяющее нашему критику постепенно насадить ему свою голову, в которой мысль писателя, не понятая им самим, понимается уже вполне современно. И дальше критик, уже из своей головы, приставленной к безмозглому телу стихийного дарования, объясняет писателю, что же, собственно, он хотел сказать, хотя и не сумел: «в Чарткове вы хотели изобразить...»

Теперь, посадив писателю свою умную голову, но оставив ему живописный талант, наш критик переходит ко второму пункту: как нужно было бы написать это неудавшееся произведение, чтобы оно было достойно столь большого таланта и вместе с тем выражало прекрасную мысль самого критика. Наш Белинский, следуя реалистическим заветам своего великого предшественника, сказал бы примерно так:

«Выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда вы со своим талантом создали бы нечто великое».

Оказывается, что для воплощения той мысли, которая помещалась в голове критика, писателю нужно было бы подыскать и другую форму. Раз Чартков погубил свой талант жадностью к деньгам, то писатель и должен был бы развернуть этот сюжет во всей прозе пошлой действительности, иначе он, уже автор, а не герой, губит свой талант погоней за фантазиями и обаянием мелкой вычурности. Чтобы разоблачить художника чересчур прозаического и меркантильного, никак нельзя быть художником чересчур мечтательным и романтическим, а нужно быть поближе к тому, что изображаешь. Передав нашему Гоголю свою мысль, наш Белинский затем потребовал бы от него соблюдать эту мысль во всей строгости: раз вы хотели изобразить художника, погубившего свой талант жадностью к деньгам, то уж извольте обойтись без всякой мистики и фатализма, а покажите нам, на почве ежедневной действительности, как он продает свою кисть. Вот почему сцена с квартальным, его пошло-скучные рассуждения об искусстве — вполне уместны в повести, а страшный ростовщик и его таинственный портрет — это все, как сказал бы наш критик, детские фантазмагии, которые могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто скучны...

И далее наш редактор перешел бы к третьему пункту, уже прямо оценивая предложенное произведение. По правде сказать, осталось бы от него совсем немного. Раз мысль уже извлечена во всем своем современном значении

(1 пункт) и далее показан верный путь ее воплощения (2 пункт), то само произведение оказывается поучительным образчиком того, как не следовало воплощать эту прекрасную мысль:

«Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами, не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что вы почили столь нужным, именно оттого, что отделились от современного взгляда на жизнь и искусство».

Вот так наш новоявленный Белинский разделался бы с повестью несчастного Гоголя и потребовал бы создать третью по счету редакцию, потому что повесть уже и раньше переделывалась по его совету, освобождаясь автором от чересчур мистического колорита. В первой редакции портрет сам собой таинственно возникал на стене, а во второй художник покупал его в обыкновенной лавке и под мышкой приносил домой. Но теперь понадобилось бы и вовсе исключить этот фантастический предмет из современного обихода, как не соответствующий программным установкам журнала «Современник».

В общем, чтобы «Портрет» оказался достойным своего замысла и таланта автора, в нем не должно быть самого портрета, а также ростовщика, изображенного на портрете, а также аукциона, на котором продается портрет и разъясняется его тайна, — всего этого не нужно. А нужно, чтобы остался один художник, продающий за деньги свой талант, и обличение общества, которое своим торгашеским духом губит прекрасные дарования. И тогда повесть можно было бы озаглавить как-нибудь иначе, например, «Дух наживы» или «Раствление молодого таланта», чтобы мысль выразилась прекраснее и современнее. А впрочем, название «Портрет» можно было бы оставить, имея в виду правдивый и типический портрет художника, растратившего свой талант созданием заказных портретов, — портрет, выполненный по заказу самого времени рукою писателя, развившего свой талант живописанием духа наживы.

Вот к какому выводу подвел бы нас редактор, сидящий под портретом Белинского, и, конечно, от имени журнала «Современник» отверг бы эту повесть — или оговорил бы

условие, чтобы в этом «Портрете» не осталось бы ничего от самого портрета и его странной истории, столь чуждой трезвому духу современности. Так бы он разложил все достоинства повести, чтобы прекрасную мысль взять себе, правду жизни передать современности, огромный талант оставить художнику, а повесть выбросить в мусорную корзину до очередной редакции. И все остались бы на своих местах: писатель при таланте, редактор при идее, жизнь при своем верном спутнике — жизнеподобии, а рукопись — при той бумаге, на которой была написана.

Или — страшно представить — Гоголь достал бы рукопись из корзины, разглядел, принес домой и написал бы третью редакцию, под которой уже смело мог бы подписаться и сам редактор. И живой дух покинул бы писателя в тот миг, как «Дух наживы» стал бы издаваться в тысячах экземпляров, неся современникам мысль, понятую «в современном духе». И портрет, исчезнувший по сюжету из гоголевской повести, вдруг нашелся бы совсем рядом и подмигнул нашему Гоголю из-за головы редактора: ты меня выбросил, а я вон где. И уже не червонцы по лунным ночам считаю, а при ясном свете разума веду счет идейным победам.

Гоголь так убедил нас во всемогуществе своего ростовщика, что кажется, и со многих других портретов, украшающих стены редакторских кабинетов, глядят все те же неотразимые, неподвижные глаза, «как бы готовясь сожрать» бедного одинокого автора — «на устах написано было грозное повеление молчать». Сколько тут, этих грозных портретов — не одних только неистовых, но и железных, и стальных, и любивших добро, и евших грибы, и черненьких, которых надо любить, и беленьких, которых всякий полюбит, и горьких с солеными слезами, и сладких от лунных чар, и некрасивых, и толстых, и ленивых, и достойных, и успевающих, и щедрых, и вороватых, и бережных... Есть среди них и великие, святые люди — но художник, один раз изобразивший ростовщика, уже не может ничьих других глаз показать на портрете. Помните, заказали ему картину для церкви, и всю душу вложил он в изображение святых лиц — да только потом было указано ему, и сам он с ужасом увидел, что «почти всем фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он

сам вздрогнул». Вот и автор, ждущий решения своей участи в редакторском кабинете, вздрагивает от этих живых глаз, устремленных на него отовсюду, как будто не рукопись пришел он сюда продать, а собственную душу.

Ростовщик ростовщику рознь. Один покупает душу за деньги, другой — за власть над людьми, третий — за власть над умами. Поглядишь на портрет такого блаженной памяти властителя дум — и вдруг видишь глаза ростовщика... Нет, не стоило бы вешать в комнату никаких портретов — неизвестно еще, какая сила незаметно прикипела к их зрачкам и ворожит слабые человеческие души. «...С тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого зарезать... Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова: точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь». Не оттого ли редакторы так часто режут рукописи, что за их спинами висят эти важные портреты, глазами обращенные на автора и повелевающие ему молчать. Вот он и молчит; а редактор, сидя к портрету спиной и глаз его не видя, чувствует такую необъяснимую тоску, что режет подряд одного автора за другим...

При каждом редакторе висят за его спиной шпионы, стерегущие каждое слово, и оттого редко удается услышать в этих уютных кабинетах хоть что-нибудь искреннее и веселое. Только бедному молчаливому автору прямо в душу глядят значительные глаза, когда редактор сидит, отвернувшись, и режет рукопись; и автор вздрагивает от ужаса, а редактор только чувствует беспричинную тоску, и режет, режет. Чистые, святые люди — а глаза у всех одинаковые...

Страшно, страшно делается за Гоголя. Как бы и сам он, вослед Чарткову, не погубил свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к прекрасным мыслям и обаянием современного взгляда. И разве идеи в голове умного редактора менее опасны для дарования художника, чем деньги в руках богатого клиента? О, ростовщик знает, на какие обменные единицы лучше вести счет: на жаркие отблески презренного металла или на яркие отсветы исторических зорь в картине художника. Никто заранее не знает, что спрятано за рамкой портрета: стопка золотых червонцев или стопка наградных бумаг, золотых орденов, чиновных удостоверений. Идея — такая же абстракция власти над

миром и всеобщий эквивалент разменных ценностей, как и ассигнация.

Кажется, что и сам Гоголь не скрывает своего таинственного родства с художником, портрет которого нарисовал в своей повести, вставив туда маленькое зеркальце, чтобы оно отсвечивало хоть одной черточкой самого автора. «...Он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем...» Как нарочно, здесь сошлись самые приметные слова из знаменитой лирической сцены «Мертвых душ», где выразилась вся душа писателя, все, что он любит, и слова «живой», «бойкий», «русский», «черт» служат как бы опознавательным знаком родства автора поэмы с героем повести. «И какой же русский... черт поberi все... у бойкого народа... наскоро живьем...» Да и «гоголь» не остался без отзвука в «птице-тройке» и ее неудержимом полете: «сам летишь, и все летит...» Гоголь не употреблял имен собственных понапрасну, тем более своего собственного имени, и ввел эту лирическую подробность только во вторую редакцию повести, писавшуюся тогда же (1841-1842) и там же (Рим), где лирически завершался первый том «Мертвых душ». Так что совпадение словаря далеко не случайно и выражает волну лирического мироощущения, словно бы перенесшую автора в это место повести из окончания поэмы.

К тому же Гоголь работал над второй редакцией повести отчасти по социальному заказу Белинского, разбранившего первую редакцию как «неудачную попытку Гоголя в фантастическом роде». Поэтому автор, переправляющий картину современной жизни по указанию критика, хотя и обратно тому, чего требовали от Чарткова его клиенты (Чартков должен был приукрасить, а Гоголь, напротив, прибеднить, выскоблить всякие украшения), вполне мог в нечаянный лирический миг почувствовать себя Чартковым, точнее, Чарткова — собой. Вот отчего герой так лихо, в предчувствии публичного одобрения и успеха, «гоголем» проходит по тротуару, ощущая удаль и бойкость «по русскому выражению: черту не брат». А ведь только что художник как раз и стал братом черту, скрепив с ним червонцами пожизненный и посмертный союз.

Кажется, что поговорка «черту не брат» как раз и означает братание с чертом, — таков обратный смысл некото-

рых выражений в русском языке. И этот братский союз, как и положено между членами одного семейства, скреплен фамильно, прикрываясь для скромности только подложной «а» и уменьшительной «к»: Чертов получилось бы слишком зловеще, к тому же художник — братик меньшей, пусть будет с буквой «к». Так и именовался он в первой редакции: Чертков — пока Гоголь, снимая по требованию критика «налет чертовщины», не заменил одну букву для торжества реализма и не получился более бледноватый оттиск того же оригинала — Чартков.

Значит, Чартков в манере «гоголя» проходится по троутуару в тот самый момент, когда сам Гоголь, на манер Чарткова, переправляет свой «портрет» по требованию заказчика... Неужели автор, представший сейчас перед редактором, и дальше повторит судьбу своего персонажа? Все так же сидит он в просторном кабинете, и со стены смотрит на него все тот же помолодевший портрет... «Черты старика сдвинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать...»

Нет, хотя и вторая редакция была в современном духе забракowana чутким общественным контролером, Гоголь не стал создавать третью. Более того, не пропала в редакторской корзине первая, в которой мысль выразилась яснее, чем во второй, хотя и не так прекрасно, как могла бы выразиться в третьей. И поскольку мысль эта относится ко всем портретам, наводящим тоску и желание кого-нибудь зарезать, — стоит воспроизвести это место из первой редакции, начисто выброшенное во второй, как слишком фантастическое:

«В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидно, без образа, на земле».

Не потому ли этому духу, живущему без образа, так хочется, чтобы с него писали портреты? И по той же причине портретам не нравится, когда угадывают тот дух, который в них изображен. Им хотелось бы скрыть исток и тайну своего изображения, чтобы жить на полотнах настоящей жизнью, выпрыгивать по ночам из рамы, забираться вглубь

сновидений, чтобы днем, сталкиваясь с портретом, люди, как сомнамбулы, повторяли нашептанные им речи, чтобы повсюду сопровождали их и отовсюду встречали живые неподвижные глаза, «современным взглядом» впиваясь в душу художника. Не потому ли из вторых и третьих редакций «Портрета» начинает, по требованию редактора-реалиста, исчезать сам портрет — чтобы остаться над головой редактора и вечно смотреть оттуда все тем же немигающим взглядом, выражая прекрасные мысли о современности и грозно повелевая молчать о своем древнем могуществе и «бесчисленных жертвах»?

Впрочем, не слишком ли далеко мы зашли в своих предположениях, не слишком ли много фантастических затей в этом литературном опыте — и не косится ли из-за спины редактора на нас все тот же портрет? Вот сейчас подрежут одно, вырежут другое — я физически чувствую тоску, которую нагнало на редактора мое сочинение, мысль которого «была бы прекрасна... если бы вернулась на почву ежедневной действительности». Поэтому прочь домыслы — вернемся на эту самую историческую почву.

Нет, слава Богу, есть у нас настоящий, неподдельный Белинский, не заказной его портрет над головой редактора, а пламенные его статьи, выразительный автопортрет, писанный рукой самого критика, — полное собрание сочинений, где о том же самом «Портрете» написано совсем, совсем иначе, чем у нашего лже-Белинского. Тот Белинский не стал бы отделять мысль от произведения, не стал бы хвалить писателя за то, чего нет в его произведении, не стал бы требовать для выражения той же мысли совсем другого произведения. Отбросим все «как бы» и «если бы» — вот что писал великий критик о великом писателе:

«А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в с о в р е м е н н о м духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами...; не нужно было бы ни ростовщика, ни аук-

циона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно оттого, что отделился от современного взгляда на жизнь и искусство».¹

Захожу в кабинет Белинского — над головой великого критика висит портрет будущего редактора.

1985

ЛЕНИН – СТАЛИН. 1988 *

1. Одиночество Ленина, возвращение Сталина

Когда-то они были неразлучны — на плакатах и фотографиях, в учебниках и в сознании народа. Потом остался только Ленин, а Сталин выбыл в неизвестном направлении: ждать не приказали, но и надежды не отняли. И вот он возвращается...

Другой, да, другой Сталин. Но время ничуть его не состарило, наоборот, омолодило. Он меньше Иосиф Виссарионович — и больше Сосо и Коба, как его называли друзья юности и товарищи по подполью. Он уже не всеобщий отец, умудренный вождь, старший друг пионеров и физкультурников, добрый и всезнающий дедушка — нет, но молодой авантюрист и демонический злодей, у которого неистощимый пыл и южный темперамент на совращение целомудренных народов. Коварный, неотразимый, циничный, освобожденный от всяких нравственных норм, как либертины у маркиза де Сада, любитель острых ощущений и знаток неопытных сердец, одной усмешкой сквозь жесткие усы сводящий с ума: вечно юный Сталин, политический оболститель и насильник. Мужественный брюнет, всегда охочий до юных дев из семейства прогрессивных

1. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 12 тт., изд. АН СССР, М., 1953-1956, т. 6, сс. 425-426.

* В 1988 году на волне перестройки возник новый расклад мифологических фигур: Сталин, который в хрущевско-брежневские времена почти выпал из советского дискурса, как «уклонист» от ленинизма, вдруг опять в этот дискурс вернулся, но уже не как «прискорбная ошибка», а как «злейший враг». Конфигурация эта продержалась недолго, всего года два-три, до конца горбачевской эпохи; но сама эта попытка придать устойчивость идейному дискурсу введением в него новой анти-тезы заслуживает интереса, хотя бы как момент «решающей развилки» (бифуркации) в истории такой мощной знаковой системы, какой была советская идеология.

народов. Древнее предостережение: красна девица, словно маков цвет, не ходи, милая, за околицу, по чисту полю молодец идет, молодец идет, маков цвет сомнет.

Раньше говорилось: Сталин — это Ленин сегодня. Но зачем делу социализма сразу два Ленина: вчерашний и сегодняшний? Любая система со временем стремится избавиться от дублирующих элементов, как язык избавляется от полных синонимов. Идеология — тот же язык, только социальный; он имеет свои синонимы, антонимы, омонимы, отношение между которыми меняется быстрее, чем в национальном языке. Например, слова «социализм» и «демократия» долгое время звучали для нас как синонимы, а «коммунизм» и «фашизм» — как антонимы. Синонимами были имена: Сталин и Ленин, антонимами: Сталин и Гитлер. Теперь «коммунизм» и «фашизм» все больше звучат как синонимы, а «социализм» и «демократия» как антонимы.

Бывают и идеологические омонимы, т.е. слова, звучащие одинаково, а по смыслу не имеющие между собой ничего общего. Например, «диктатура пролетариата» и «фашистская диктатура» — вряд ли кто-нибудь слышал здесь одно и то слово, разве что у него был политически невоспитанный слух. Или: «в революционных боях наш народ завоевал себе свободу» и «радиостанция «Свобода» клеветает на наш народ». «Диктатура» и «диктатура», «свобода» и «свобода» — это, с точки зрения советского человека, просто разные слова, как «коса» на голове у девушки и «коса» в руках у Смерти, как горный «ключ», забивший из расщелины, и гаечный «ключ», которым избили прохожего.

Бывает и наоборот: разные слова настолько сближаются по значению, что их можно писать через дефис, как одно сдвоенное слово, например, «фабрики-заводы», «рабочие-крестьяне», «грибы-ягоды», «фрукты-овощи», «Пушкин-Лермонтов». Разумеется, образованный человек знает разницу между Пушкиным и Лермонтовым, но в массовом сознании они держатся на слуху как один великий поэт, посланный в Михайловское, сражавшийся на Кавказе и смолу убитый на дуэли Дантесом-Мартыновым.

Идеологическое сознание тоже любит такие дуплеты: Маркс — Энгельс, Ленин — Сталин. Нужно поставить рядом два имени, чтобы между ними сразу прочертилась генеральная линия, на письме изображаемая знаком тире.

Одно имя не дает линии, а между тремя она может искривиться, дать зигзаг, поэтому попарно имена звучат всего сильнее и убедительнее. Словно бы разносится между ними: от вершины к вершине — горное эхо, усиливая звучание каждого. Размах, простор. Между вдохом: Маркс — и выдохом: Энгельс — слышится как бы дыхание самой истории, набравшей побольше воздуха в грудную клетку. Что там только не звучит, в этой многозначительной паузе! Какую великую работу проделывает история в молчании! Маркс — Энгельс, Ленин — Сталин. Ну и поменьше, помельче, однако тоже с подтекстом, внутренним резонансом: Ворошилов — Буденный, Горький — Маяковский...

И вот с какого-то момента главная гулкость пропала. Даже мне, успевшему прожить всего шесть лет с двойным именем «Ленин — Сталин» на слуху, — даже мне с 1956 года уже недостает этой смысловой растяжки, звукового раската. В коротком слове «Ленин» мне слышится какой-то сбой, недосказанность, будто что-то толкнулось — и замерло, подавилось собственной немотой. После «Ленина» само напрашивается тире, как знак исторического разгона, траектория великого броска в будущее — а сил не хватило, тире сломалось на точке. Прыгун разбежался — а прыгать не стал, потоптался на месте и скрылся в раздевалке... Нет, не хватает парящего перелета через эпохи, времена, ступени прогресса: Ленин — (летим... летим...) — Сталин.

И долго, целых тридцать лет, длилась эта томительная пауза, словно ком застрял в горле: вдох сделан, а выдохнуть не дают. И уже не дышится во все легкие, а пускается во все тяжкие. 60-е... 70-е... 80-е... У народа, перескочившего высокие исторические ступени одну за другой, появилась одышка, и стало за него тревожно: дойдет ли? Осилит ли?

Теперь тревога проходит. Прорезалось второе дыхание. Сталин снова с нами. Он вернулся в свое законное общее имя: Ленин — Сталин.

2. Враг-спаситель

Да, вернулся другим, хищным и страшным, но такой Сталин нам еще нужнее, чем тот многомудрый вождь, каким он был при жизни. Всезнающего учителя, бессмертного гения, заботливого отца наш народ приобрел еще до Ста-

лина, в годы октябрьских родин, отныне и навсегда, а вот достойного врага ему недоставало. Их было слишком много, врагов, и все, как оказалось, ненастоящие, потому что настоящих много не бывает. Даже отсталая религиозная традиция хорошо это знает и когда произносит слово «враг», то обязательно в единственном числе. Враг и есть Враг — Сатана, что буквально значит «противник». И если говорят: «враг попутал», то ясно, что это не какой-то там один из многих отщепенцев и злопыхателей, а такой же единственный и общий всем людям Враг, как и Бог — один. Произнесите: «враги» — и сразу слово измельчает, из религиозного языка перейдет в какую-то политическую трескотню, в газетный или партизанский жаргон. «Враги сожгли родную хату», «надо их всех перестрелять, врагов народа»... Сам язык дешевет, размениваясь на множественное число. А «Враг» — слово дорогое. И если бог и учитель у нас один, в соответствии с древней священной традицией, то и враг должен быть один.

И теперь понятно, почему он, Враг с большой буквы, стал подбивать нас к поиску врагов. Это и было его главным Вражьем делом: насочинять миллионы шпионов и вредителей, чтобы самому затаиться в их разбухшей серой массе. «Сколько их! куда их гонят? что так жалобно поют?» — ну конечно, это все мнимые враги народа, отправляемые на очередной этап сквозь пургу. «Бесконечны, безобразны в мутной месяца игре . . .» А кто их гонит — тот самый Враг и есть, он их нарочно выдумал и выдал за врагов, чтобы за них спрятаться. Вон их сколько! — и каждого надо найти, опознать, доказать, обезвредить, да еще и к самому себе прислушаться — нет ли и там, в моем сердце и разуме, чего-то вражеского, чтобы сдать и донести.

Враг всю эту вьюгу нам в глаза напустил и рассыпался тьмою мелких бесов, чтобы мы его не поймали. Мчались мы на вихрях-конях по своей великой средиземной равнине, а он навстречу нам выдул стужу-метель и так засорил глаза, чтобы повсюду нам примерещились бесы-вредители — чтобы его, Проклятого, не увидеть, Вражину лютую. «Только вьюга долгим смехом заливается в снегах» — в ответ на все наши «трах-тарарах-тах-тах! кто идет?». Сколько врагов перестреляли — а главный ушел невредимым, и остался в ушах только глумливый смех поднятой им вьюги.

Но теперь мы разобрались, что к чему и кто кого, — во врагов больше не верим, потому что ясно видим перед собой одного Врага: из-за множества подставных встал, наконец, во весь рост, как будто для высшей меры наказания. Он-то и помешал нам вкусить обещанный рай.

Ведь было бы нелепо, если бы Еву соблазнила целая стая юрких змеек, — нет, он должен быть один, виновник грехопадения. Отрицательный персонаж Книги Бытия стал положительным героем Краткого Курса, но ведь это историческое развитие одного характера — Змея-Искусителя. Человечество уже почти обитало в раю под надзором всемогущего, всеблагого и предавшегося священному покою лишь в последний день сотворения нового мира, отчего и зовут его по-божески — Влади-мир Лен-ин: ибо сотворив в шесть дней новый мир, на седьмой опочил.¹ Уже шагнуло человечество под пышную крону древа жизни, с которого свисали плоды нэпа и кооперации, но рядом росло другое, из-за которого и выполз искуситель и прельстил более румяными, да горькими плодами индустриализации-коллективизации. Чтобы мы в райском саду сами стали как боги, хозяева жизни, познавшие добро и зло. И вот, едва вкусив от этих кровью налитых румяных плодов, как и было предсказано: «в тот же день — смертью умрете» — стали умирать один за другим, не отходя от ветвистого древа. И треть народа умерла, а остальные оказались в пустыне.

После грехопадения и пошел раскол на добро и зло, на свет и тень, на Основной Закон и нарушения законности, на пионерские лагеря и концентрационные лагеря, на героические перелеты через Ледовитый океан и обживание политзэками его суровых берегов. Был один только рай и цельное древо жизни, а от Лукавого началась излучина, расколовшая нашу жизнь на свершения и ошибки.

Но теперь, наконец, Враг опознан и назван — и значит, рай восстанет из руин. Раньше-то считалось, что мы живем уже почти в раю, но походил он больше на каменистую пустыню. И хлеб приходилось в поте лица своего добывать, и земля рождала терние и волчцы вместо обещанных сладких плодов, и женщины мучились, надевая вместо воздушных кружев «одежды кожаные». И если это называть раем,

¹ По библейской традиции, день считается за год (иногда и за тысячелетие). Владимир Ленин опочил на седьмой год созданного им государства.

тогда непонятно, каким может быть не-рай, неужели еще хуже? Сбились в стадо, дрожим по-овечьи, а пастухи наши — косматые, лютые. И вот уже умирают дети тех, которым был обещан рай. Поколебалась наша вера, и божья слеза скатилась с небес... неужели конец?

И вот — спасен. Как же не спасти его, нашего бога, если он спасает нас неустанно, летом посылает лето, а зимой зиму. Мы его — сейчас, чтобы он нас — всегда. Именно Враг, хитростью лишивший нас рая, теперь хитростью истории нам его возвратит. Ведь если бы не его спасительная ложь, то пришлось бы признать бога не богом, и рай не раем, и завет обманом, а коль скоро Враг опознан, значит, остаются в силе прежние обетования. Это мы, грешные, не того послушались, не туда свернули — заблудились в пустыне. Но рай нас ждет и бог нас простит, если вернемся к его заветам, если отступимся от Отступника, воспротивимся Противнику и обличим его лукавую природу в самих себе.

Вот он каким возвращается к нам, Сталин. Для нашего главного дела он теперь еще нужнее, чем при жизни. Стала величайшим коммунистом-организатором — ну, не смерть Сталина, так посмертное бесчестье. Живой Сталин убивал коммунистов, а мертвый возрождает коммунизм, от греха отмывая: «кровь его на мне». Мертвый, срам принимает за живых. Такой Сталин нам гораздо нужнее, чем гений всех времен и народов, потому что возвращает нам отнятую надежду. Сталин-злодей исполнит то, чего не исполнил Сталин-гений.

Змей-искуситель переживает теперь второй акт исторической мистерии — в роли козла отпущения. Был такой обычай у народа, верившего в свою избранность перед Богом, — раз в год возлагать на козла всенародный грех и изгонять в пустыню. Тот грех, который отторг людей от рая, теперь сам отторгается от них и удаляется туда, куда их завел. Козел в этих ритуальных представлениях — столь же низменное животное, как и змей: оба олицетворяют нечистую силу, отчего и изображается она часто с козлиными рогами и в змеиной чешуе. Но если змей воплощает хитрость и жестокость, то козел — похоть и тупость: активное и пассивное, ядовитое и смрадное начало греха. Так сошлись оба эти животных в нашем представлении о Враге: он тупой, ограниченный человек, но сметливый на гадости, пылкий на мерзости, злобно-лукавый и похотливый. Эта роль спе-

циально похотливого придатка, как бы полового органа хозяина, отпущена тому, кто всех перебрал: мужчин — на нары, женщин — на перины, нашему неумемному Бери-Бери, который и стал первым козлом отпущения во всем этом многоступенчатом ритуале посмертной расправы со Сталиным.

Про Бухарина, одного из очередных врагов, было «свыше» сказано на судебном процессе, что он помесь свиньи и лисицы. В самом подборе слов узнается пошлая политическая грызня — потому что в тех возвышенных обрядовых ролях, которые передаются сегодня Врагу народа, объединяются гораздо более древние и емкие символы: козел и змея. Значение вроде те же — измененность (свинья, козел) и лукавство (лисица, змея). Но если свинья и лисица — персонажи какой-нибудь басни, детской сказочки, в духе которой для простодушной публики разыгрывались фольклорные процессы 30-х годов, то змея и козел — персонажи мистериальные, библейские, до которых ныне доросло наше историческое сознание пережитой трагедии.

Два обличья нечистой силы: первое — когда она искушает добром; второе — когда обличается во зло. Тот, кто в образе змея завлек нас из рая в пустыню, теперь, в образе козла, сам изгоняется в пустыню, чтобы сохранить нам надежду на рай. Именно сейчас, когда Сталин во всенародном сознании превратился в змея-искусителя, он фактически играет для избранного народа роль козла отпущения, и тут нет никакого противоречия, потому что эти две роли предназначены для одного актера, как две личины великого лицедея.

И теперь мы уже не в коммунальных двориках забиваем козла, крепко пристукивая его костяшками домино, а забиваем на просторе всей страны, чтобы он костями лег в той проклятой мертвой пустыне, куда нас заманил; и выносим его кости из нижней части райка, с высоты которого созерцают театр народной жизни его наследники, — выносим кости из малого рая и выбрасываем к стене плача, у которой уже оплакиваем самих себя, а не могильный прах своих палачей.² Мы забиваем козла всенародно, и не услов-

² Для нового поколения читателей, может быть, понадобится напомнить, что в 1961-ом году прах Сталина был перенесен из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным, и захоронен у Кремлевской стены, где почетного погребения удостоились и другие вожди коммунизма: от Свердлова и Дзержинского до Андропова и Черненко.

ными точками-гвоздиками костяшек, а пригвождаем его к столбу позора побелевшими костями его жертв.

Но как ни праведен гнев, он не колеблет, а укрепляет нашу главную веру, и имя бога еще ослепительнее сияет, отмытое от имени греха, от имени навета.

3. Железный жезл. Магия-металлургия.

И ведь какое имя этот грех взял себе — не просто красивое, а словно бы выдуманное мальчиком-семинаристом по образу того, кто воображался ему первым учителем всех мятежников: с железными когтями, со стальными зубами, прямо по предсказанию Священного Писания. Ушел из семинарии, не доучившись, — но может быть потому, что главному уже научился, и пошел разносить слово своего бога, — стальной меч, исходящий из уст божих, кару и пагубу, ниспосланную на народы. Быть может, поразили воображение семинариста такие слова: «железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому...» (Иеремия, 28: 14). А может быть, понравились ему слова из Апокалипсиса: «тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся» (Откровение, 2: 26-27). Образ железа следовал за ним неотступно и сам подсказывал имя, под которым пасти народы, впавшие в язычество, — Сталин.

У Герцена как-то довелось прочитать в «Былом и думках»: «Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие слезы, замеченные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли...»³ Как легко переправить в этих датах восьмерки на девятки! — и ничего не изменится по существу, словно отзыв заготовлен сразу на два века: николаевский и сталинский.

Но стоит внимательней сопоставить нашего Противника с его слабым предшественником, отхватившим себе точно такой же тридцатилетний кусок в судьбе своей дер-

³ Герцен А. И. Былое и думы. М., «Художественная литература», 1982, т. 2, ч. 4, с. 25.

жавы, — и снова поразишься уже несопоставимости. Так меняются масштабы и материалы, из которых создавался этот жезл, пасущий народы! Там — пять повешенных за вооруженный бунт и убийство, здесь — в миллионы раз больше погубленных за... преданность и покорность. Но зато и прозван был тот царь всего только Палкиным: вот от каких детских наказаний им было больно, кожа еще не за-дубела даже под началом Дубельта. А наш Враг, не дождав-шись памфлетов Льва Николаевича Толстого и пренебре-гая панегириками другого Николаевича Толстого, отнюдь не Льва, — сам себя лучше и точнее всех назвал: Сталин. Одна пасомая эпоха относится к другой, как железный по-сох к деревянному, как «Сталин» к «Палкину». Впрочем, с железом в имени пусть матрос-братишка по югу гуляет и под курганом вечно спит, а старшему брату и уже начина-ющему отцу подобает именно Сталин, сплав несравненно более твердый и зрелый.

Теперь-то мы знаем, в какой домне-мартене выплав-лялась эта сталь, по созвучию слов — случайному ли? — воспетая множеством стальных соловьев той эпохи. «Как закалялась сталь» — случайно ли выбрана эта метафора для наиболее поучительного романа эпохи или намеренно вписано в нее имя вождя, заведомо дающее ответ на все вопросы, поставленные этой и множеством подобных учебников жизни? Выплавлялась эта сталь в печи, которая раскалялась пожарче магнитогорских и исстари называ-лась пеклом, дабы оттуда в достойном вооружении и стальных доспехах выходили неуязвимые, броней покры-тые, нездешним пламенем опаленные, темные ликом ан-гелы — посланцы настоящего Врага, закаленные им в ог-ненной купели, этом вечном прообразе Магнитки. Сталин строил печи, чтобы выковывать свою стальную рать, что-бы она разливалась и затвердевала по всем ячейкам обще-ства, превращенного в огромный, слаженно гудящий ста-лелитейный цех. Он сам был богом Стали, богом домен и мартенов, хозяином всех огневых точек страны, знако-мых ему изнутри, по тому кипению и накалу, в котором была и пребудет его душа.

Как узнается в плане индустриализации, в расцвете ме-таллургии — буква и дух нестигаемой стали! Не случайно вернейший из речетворцев задумывал, как свою лебеди-

ную песню, «Черную металлургию»⁴, очередной том из все той же эпопеи «Как закалялась сталь», в которую обратилась вся наша литература. Этот образ стального века, олицетворяемый именем и делом Сталина, все еще витает над бесчисленными романами и пьесами о «стали и шлаке», о «сталеварах», о чугунных людях, вышедших из плавилен сталинских времен.

Как в иные «темные» века процветала черная магия, так у нас — черная металлургия: в той же функции властного заклинания горючих подземных недр, в топку которых подбрасывались руды, люди, идеи. В самих словах «домны» и «мартены» угадывается искаженный отзвук древнейших понятий: демоны и отец их — мартышка Бога. Весь воздух Отечества пропитан этим дымным запахом стальных и чугунных печей, выплавляющих больше черного металла, чем в любой другой стране и даже вместе взятых передовых. Уже во всем мире кончилась эра чугуна и стали, вытесненная более современными материалами, — а мы все не можем остановиться. И не экономическим расчетом диктуется этот избыточный рост, а какой-то мистической необходимостью: не остынет ли душа народа, лишившись подогрева из пылающих печей? «Кипят, кипят котлы чугунные...» В других странах — свои увлечения: где бананы и тростник, где автомобили и компьютеры, — а у нас сталь да сталь, не технический только, но духовный продукт сталинской эпохи.

Там, в этих плавильных печах, с адским грохотом выковывались из лучших сортов легированной стали сталинские кадры, которые страна делегировала из забоев на съезды, а со съездов — в еще более дальние забои, и имя этому несчетному множеству было — легион. Они сверкали повсюду малыми искрами — неистошмой россыпью той одной, что вспыхнула на рубеже веков, на серой газетной бумаге⁵, рассыпавшись затем сияющей россыпью салютов, зарниц, пожаров, зарев. Эти малые искры пропадали во тьме пустой, отзываясь в душах тех, кто оставался, то жалобным воем, то гнетущим молчанием.

Кадры решали все. Но чтобы стать кадрами, они и должны были мелькать, быстро сменяя друг друга, как в

4 Последний, незавершенный роман Александра Фадеева (1901-1956).

5 «Искра» — первая общерусская марксистская нелегальная газета, издававшаяся В. И. Лениным в 1900 — 1903 годах.

лентах кинохроники. Прежняя техника кино, когда сцены держались подолгу, словно в театре, привлекая взгляд последовательностью действия, остротой интриги, лепкой характеров, — эта «фильма» дореволюционных времен безнадежно устарела. Наступила эпоха монтажа — неожиданной склейки быстро мелькающих кадров. Сталин и Эйзенштейн были соавторами изобретения. Один возился со своими кадрами, разрезая ножницами и соединяя клеем, чтобы воспроизвести бешеный ритм эпохи, динамику сменяющихся социальных разрезов и идейных ракурсов. Другой раскручивал сам этот ритм, вырезая одни кадры и подклеивая другие, чтобы эпоха убыстрялась, догоняла и перегоняла свою кинохронику. Закон монтажа, поражающего причудливыми сложениями и зигзагами, оставался тайной мастера: один кусок накладывался на противоположный, лицо Зиновьева на лицо Троцкого, лицо Бухарина на лицо Зиновьева, лица старых большевиков на лица кулаков и середняков, лица командармов на лица конокрадов, аккуратно подстриженные и в пенсне — на всклоченные и бородатые... И от этого монтажа цепенел зрительный зал, а сидевшие в первых рядах деятели искусств от восторга махали рукой и шептали друг другу со слезами на глазах: «Мастер! Мастер!»

И вот время, мастерски овладев полным набором клеев и ножниц, делает новый монтаж: Сталин по краям молнии-зигзага великого заветования отрезается от Ленина и по краям пакта о ненападении приклеивается чуть ли не к Гитлеру. Если обратить внимание на главное: волю к власти, которая щетинками-штыками топорщится над губой, то окажется просто одно лицо, любимо-ненавидимое. Сталин — уже не Ленин сегодня, а Гитлер здесь.

Он возвращается, другой Сталин... Но дело, которому служили Ленин-Сталин, от этого не только не проигрывает, но одерживает победу в тот миг, когда поражение кажется неминуемым. Сталин возвращается, чтобы спасти дело социализма — уже не от Троцких-Зиновьевых-Бухаринных... Теперь Сталин спасает социализм от самого Сталина: страна перекладывает большевистское иго на его стальную шею — и он держит, чтобы страна могла и дальше жить, «дыша и большевея». Сталин стоит, как тяжелоатлет, с рекордным грузом кармы на вытянутых руках, и держит, дер-

жит, пока мы проходим мимо, в славное будущее без Сталина. Слава Сталину-злодею! Слава Сталину-преступнику! Слава Сталину — искустителю и искупителю наших грехов!

Он стоит уже не на трибуне Мавзолея, а напротив, на Лобном месте, празднично обновленном; и отсалютовав направо, восторженно-негодующая толпа, проходящая по Красной площади, салюует налево — своему славному извергу, чья посмертная казнь, не в пример предыдущим, облегчает народную душу от тягчайших грехов.

4. Тире — трещина в сердце народа

...И снова привольно дышится, и дело кажется еще непорочным, пусть отброшенным назад, но тем более рвущимся вперед. «И Ленин такой молодой, и вечный Октябрь впереди!» Время, благодаря Сталину, вновь обретает гулкость, далекий раскат в будущее. Те тридцать лет, что мы обходились без него, прошли все-таки глуховато, с одним именем на устах, слишком коротким, безотзывным в своем вечно правом и гордом одиночестве. Теперь они опять вместе: Ленин и Сталин. Ленин — Сталин. Дело Ленина — дело Сталина.

Пусть иначе, иронией и трагедией, переливаются смыслы в этом двойном слове: не тождество, а противоположность, не продолжение, а преодоление. «Ленин — Сталин» теперь звучит как название поединка, который свел на одной исторической арене двух сильнейших борцов. Кто кого? Объявляется матч на звание чемпиона нового мира. Разве это не вдохновляет больше прежнего: черта соперничества на месте прежней черты наследства? Больше воздуха, больше простора между этими именами — но так же спаяны они неразрывно: Ленин — Сталин.

Теперь в этом просвете, образованном вокруг удлиненого тире, гуляет ветерок перемен. В эпохе, во всем учении социализма образовалась как бы реактивная тяга, необходимая для исторического ускорения. Было, к чему притягиваться, — не было, от чего отталкиваться. Был магнит, вперёдсмотрящая и вперёдзвущая идея, — не было трамплина, святого чувства отталкивания от прошлого.

Был, был трамплин, но уж очень шаткие, прогнившие опоры, которые проваливались от первого толчка. Что там

царь, легко расстрелянный, точно в тире; что там фюрер, сам себя, точно в русской рулетке, застреливший! Эпоха их перешагивала, прыгала через их трупы и с пионерским задором бежала дальше, под руководством Ленина-Сталина. Не оставалось ничего надежного, от чего можно было бы надолго, навсегда оттолкнуться. Капитализм? Империализм? Это — «что», а враг — всегда «кто». Разве какие-нибудь американские президенты или британские премьеры, с их чехардой каждые четыре года, — это надежные враги? Вот и застопорились: не с кем бороться. Хочешь взлета — ищи трамплина. На Николая-Керенского-Троцкого-Гитлера уже не обопрешься: Ленин-Сталин всех врагов победил, всю их силу себе присвоил — значит, самый сильный враг теперь должен обнаружиться в нем самом.

И вот, когда святой злобы уже не осталось на Руси, и все враги провалились, и опоры прогнили, и поприща для борьбы не осталось, и винить некого, и безумной ногой от почвы оторвались, бежим, бежим, а счастья нет и нет, — доискались, наконец, до врага, появился он всерьез и надолго. Из Ленина-Сталина вышел Сталин и, как часовой на разводе, выполняя партийное поручение, встал наизготовку в форме лютого лазучика и снайпера по самым заветным нашим целям. Ленин же, выполняя другое партийное поручение, оторвался от Сталина и устремился далеко вперед, в даль недостижимую, но все же зовущую родным картавым голосом и святым последним заветом-завещанием.

Долго, долго вся наша партия работала на Сталина, теперь пришла пора Сталину работать на партию. Исполнить партию азиатского гостя — вакхическую песню алеющего Востока, с его клейко-кровавым Солнцем да-здравствующего государственного разума. Вот с кем мы будем бороться до конца своих дней, вот на чей ложноклассический королевский гамбит мы ответим народной или, наоборот, демократической партией, — лишь бы противник был уже достаточно мертв, чтобы не умирать в нас самих. Сталина, в отличие от всех царей-фюреров, уже не спишешь на свалку истории: по праву социалистического первородства, он — в нас. Глубоко, в потемках, на дне души... Поскоблишь ленинца — найдешь сталинца. Отныне мы всегда будем бороться со Сталиным в себе, двигаться вперед, отталкиваясь от Сталина. Сталин — в тебе и во мне.

Все прежние пороки были чужие — от царизма, капитализма, фашизма: родимые пятна чужих загнивающих тел. Этот порок — свой, это родимое пятно нашего собственного социалистического первородства. Сталин — наш вечный порок, который делает предстоящий рай столь же недостижимым, сколь и непорочным.

Зато воистину началась эпоха ускорения: у нашей истории появился реактивный двигатель. Раньше мы наивно надеялись достичь сияющих далей, держа впереди лунную подкову идеала-магнита и непрерывно идейно подковываясь и перековываясь по его образцу; а теперь научились использовать реактивную тягу, которая оттолкнет нас от грешной земли, — огненным столпом самосожжения вознесет ввысь.

Все теперь стало на свои места. Окончательно сложилась наша собственная религиозная картина мира — словно из эпохи язычества избранный народ, пристыженный грехом и уstraшенный карой, вступил в светлую эпоху единобожия. Раньше была предистория, с каким-то неясными, языческими богами-двойниками, у которых разделялись тела, но срастались сердца и головы. Подлинно священная история начинается только сейчас. У нас есть бог, очищенный от всяких наветов и свято блюдуший завет со своим жестоковыйным народом. И у нас есть мятежный ангел, возомнивший себя носителем Света, но низринутый во тьму, сраженный и опаленный молнией заветания. Падший ангел собрал вокруг себя воинство тьмы, напал на светлых ангелов и истребил их, но последовало возмездие... И так до скончания веков будет разыгрываться битва Ленин — Сталин, и поле ее — сердца людей. Теперь есть возможность объяснить, почему социализм не таков, каким он мог и хотел быть: враг оказался внутри самого социализма. Он сам его построил. Он объявил его полную и окончательную победу.

Если отбросить излишнюю щепетильность, таким до боли родным и близким врагом можно даже гордиться. Чужой, закордонный, оказался столь слаб и труслив, что даже достойного врага нам пришлось создавать самим из себя, быть первопроходцами и на этом пути. Наш Враг — из народа, против народа и для народа. Мало с нас индустриализации, коллективизации, культурной революции — так и

сталинизацию пришлось проводить самим, до всего дошли своим умом, и ни демократические друзья, ни капиталистические враги нам ни в чем не помогли. Так мы сильны, что этой силы хватило на то, чтобы породить собственного врага, — хватит и на то, чтобы его сокрушить. Вот каков наш бог: он сам создал богоотступника, и поставил его во главе своих ангелов, и провидел его отступничество, и заклеил — но не уничтожил, чтобы вновь и вновь доказывать на нем силу своих идей.

Пожалуй, Сталин, и дальше юнея на наших глазах, вон в кого превратится — в мальчика для битья. Теперь каждый, проходя мимо, сможет надрать ему усы, а то и плюнуть в глаза. Но нельзя, никак нельзя вместе с мальчиком выплеснуть и чистую воду освежающего учения.

Отныне всегда будет так: ленинизм и сталинизм, и черта между ними трещиной пройдет через сердце народа, который растянет срок своего осмысленного исторического бытия на длину этого тире. Казалось бы, одно слово хорошее, другое плохое, и чего там судить-воевать, ведь хорошее всегда сильнее, да только сам народ на «нас» и «них» раздвоился. И получается: все мы ленинцы, а с другой стороны, все о н и сталинцы. Вот и приходится хорошему народу бороться против плохих людей, т.е. с самим собой. Ленин с нами, но Сталин в нас. Наконец-то модель отечественной истории вполне оформилась по священному образцу и теперь может работать вечно, возвращаясь на круги своя: сначала от Ленина к Сталину, потом обратно от Сталина к Ленину.

Итак, великое некогда слово распалось на два, противоположных по смыслу. Такие поучительные случаи происходят в языке и называются «энантиосемией»: два слова от одного корня расходятся до того, что становятся антонимами. Например, «начало» и «конец» имели когда-то одну основу «кон», обозначавшую и конец, и начало, т.е. некий рубеж; а потом до того разошлись, что теперь между «началом» и «концом» можно поместить уже долгую середину, почти безначальную и бесконечную. Или слово «честь», из которого вышли два глагола: «чествовать» — оказывать уважение; «честить» — бранить, ругать.

Вот так и честное слово «Ленин — Сталин» распалось на два, чтобы одно ч е с т в о в а л о с ь, а другое ч е с т и

л о с ь. Великий исторический рубеж, обозначенный этим словом, тоже раздвоился и обозначает теперь светлое начало социализма и его мрачный конец. Так развивается язык, так обогащается система идеологических знаков, разделяя свои слипшиеся значения.

Если вернуться к науке, в которую наш вечный враг внес решающий вклад, то, конечно, подчас в языке встречаются и полные синонимы, но для второстепенных, редко употребляемых слов, например, для обозначения самой этой науки: «языкознание» — «лингвистика». Есть такие синонимы и для второстепенных идеологических знаков: Куйбышев-Орджоникидзе, Черчилль-Чемберлен. Но для главных слов в языке нет синонимов: чем заменить «хлеб», «сердце», «солнце»? Для слова «Ленин» нет и не может быть никаких синонимов — а те, что пробуют примкнуть и встать рядом, тут же превращаются в антонимы. Например, смешно вспомнить, Ленин — Мартов; грустно вспомнить, Ленин — Троцкий; страшно вспомнить, Ленин — Сталин.

Но не забудем воздать честь и самому языку, столь же могучему, сколь и свободному, а значит — щедрому и терпимому ко всем говорящим. Возьмем то же выражение «Ленин — Сталин»: как прикажете его понимать? Нет ничего хитрее тире, и склонностью к этому знаку русский превосходит другие языки. Тире в русском языке имеет по крайней мере два значения: следования и противопоставления. Например, «лес рубят — щепки летят»: значение тире здесь передается словами «если... то...» Если лес рубят, то щепки летят. «Если Ленин, то Сталин». Так это выражение прочитывалось раньше. Но не изменяя его написания, можно предложить и другой смысл. «Дуб рвется в высоту — к земле тростинка гнется». Здесь тире означает «наоборот», «напротив». «Ленин, и наоборот, Сталин». Тире тоже подвержено энантиосемии, может выражать нечто противоположное себе.

Так что вовсе незачем переписывать историю — достаточно просто ее перечитать. Сам язык говорит вещи противоположные, не меняя ни одной буквы, и поэтому всегда правдив и свободен. Правдив был полвека назад, когда ликовал: «Ленин — Сталин». Правдив и сейчас, когда бьет тревогу: «Ленин — Сталин».

Достоевский когда-то обнаружил, что всего лишь одним трехбуквенным словом простые русские люди вполне могут выражать всю сложную гамму своих взаимоотношений. Что же тогда говорить про интеллигенцию, языковые возможности которой неограниченны. Ей не то что трехбуквенного слова, а **о д н о г о т и р е** навсегда хватит — непроизносимого, а потому годного к умолчанию, к тайной насмешке или молчаливой угрозе. Тире годится для того, чтобы исподтишка подтрунивать над властью — и чтобы звонко приструнить насмешников. Сколько новых партий, движений, политических платформ и политологических трактатов могут возникнуть из одного знака препинания! «Тире против тирании!» «Тире и трагедия тирании». «Тире и ирония демократии». «Тире — потерянное и обретенное». «Тире и проблема третьего пути»...

Пройдет сто и тысячу лет, из всего политического лексикона нашего времени останутся, быть может, только два слова: Ленин и Сталин, да еще знак тире между ними. Но и тогда наша интеллигенция сможет выразить все сложнейшие оттенки своего политического мышления, употребляя одно только это двуединое слово — по-новому интонируя тире и вмещая бездну смысла в емкую паузу.

(Далее следует короткая интермедия: все присутствующие по очереди произносят «Ленин — Сталин», каждый по-своему, искренно и вдумчиво, вкладывая в тире свое понимание исторического пути, пройденного народом и еще предстоящего).

Приложение. Маркс – Энгельс

Теперь остается высказать еще одно предложение, которое могло бы послужить дальнейшему ускоренному развитию нашего идеологического языка, а также философии, теологии и иконографии. Мне кажется, что на сдвоенном силуэте профили Маркса и Энгельса как-то слишком навязчиво повторяют и перекрывают друг друга, и если бы их немного раздвинуть, мы получили бы два самостоятельных лица. Одно смуглое, семитское, другое светлое, нордическое. Оба олицетворяют разные стороны учения, которое в одном лице прорастает вдаль и вширь могучей порослью курчавых волос; а в другом лице укорачивается, подстрига-

ется, умеряет свой буйный рост. Дикий, цветущий рай, ветхозаветный Эдем как бы превращается в регулярный сад, ухоженный на английский манер.

Нет, все-таки Эдем нам снился, и ради возвращения в Эдем совершали мы великую ре-вол-юцию, которая буквально и означает «воз-вращ-ение». Пусть этот подстриженный профиль не заслоняет профиля буйного, вдохновенно разметавшегося, словно олицетворяющего собственные пророческие слова об источниках изобилия, которые польются полным потоком. Эти волнистые кудри и пышная разлившаяся шевелюра, эта героическая симфония, которую бессильна укротить палочка парикмахера-дирижера, — все это обещает полный поток и даже потоп изобилия, если верить ветхозаветной примете о том, что в волосах человека заключена его сила. Случайно ли, что не Сен-Симон, не Фурье, не Фейербах, не Энгельс, но именно Маркс стал наглядным символом освобожденного человечества? В самом облике этого нового Самсона, богатыря-назоря, к волосам которого не прикасалась бритва, избранный пролетарский народ узнавал свою неодолимую силу, обращенную против буржуев-филистимлян. Взгляните на этих подстриженных или лысоватых идеологов — они лишь условные знаки своих учений, а Марксу сама природа щедро пролила поток грядущего изобилия на темя мыслителя-борца.

Много нашлось вокруг этого пролетарского Самсона коварных Далил, желающих остричь его волосы и лишитъ прирожденной силы в борьбе с угнетателями-иноверцами. Все они, эти оппортунистические Далилы, чаровницы и со-вратительницы мировой революции, пытались причесать Маркса под Энгельса, лишая его диалектический историзм живой неукротимой мощи и втискивая в рамки скучного диалектического материализма.

Маркс — он и в жизни был порядочный растреп, ему некогда было следить за собой, потому что мыслям его было тесно в любой оболочке. Если Энгельс походил на подтянутого офицера прусской армии, всегда готового выступить в поход, то вокруг Маркса всегда лепилось живое семейное месиво, мешавшее быть ему вполне опрятным. В бумагах Энгельса царил идеальный порядок, в кабинете Маркса на стопке книг можно было увидеть тарелку с яич-

ницей, а посреди рукописей возвышалась кружка превосходного эля. Он был материалистом до мозга костей и не отделял процесса теоретического производства от материального воспроизводства своей жизни. Одно включалось в другое, по известной формуле «бытие определяет сознание». Со стороны Маркса это была не формальная лишь дань доктрине, но стихийно присущий ему способ существования: он вкушал и творил одним двусторонним актом своего жизнелюбивого организма и плодоносящего интеллекта. Он не очищал свой кабинет от запахов кухни, постоянно нуждаясь в непосредственном соприкосновении надстройки с базисом, вновь и вновь удостоверяться сам и убеждая других, что человек должен есть и пить не только в процессе, но и в самой основе и предпосылке своего мышления.

А рукописи! Энгельс выводил буквы так аккуратно, что потомкам не стоило ни малейшего труда их прочитать и узнать все, что думал Энгельс. Почерк Маркса был столь же неприглаженным, как и его прическа, и разобраться в нем было бы невозможно без помощи Энгельса, от которого мы, собственно говоря, и знаем, что писал Маркс. Но не лучше ли попытаться напрямую, без посредника, вчитаться в Маркса! Тогда мы поймем, что никогда не сумеем до конца его прочитать — так сложен его почерк, так спутаны густые пряди его мыслей и слов. Все новые и новые поколения будут читать и перечитывать эти роящиеся, растрепанные, скомканные и отброшенные буквы-зигзаги, буквы-взрывы, буквы-галактики — и погружаться в мир марксовской мысли, поистине не знающей границ и не переводимой ни на один из известных нам языков. Энгельсовский перевод на немецкий язык остается, по сути, лишь одной из возможных интерпретаций, но вавилонская клинопись и славянская кириллица могли бы сыграть не менее значительную роль в дешифровке этого загадочного почерка марксовской мысли.

Ведь надо же наконец признать, что не только в практике, но и в теории социализма была допущена непроизвольная ошибка, капелька упрощения, не имеющая, разумеется, ничего химически общего с пролитыми впоследствии морями крови. Все теоретические наследники Маркса — увы, начиная с Энгельса! — стригли его под гребенку так

называемого «марксизма», а любая гребенка тесна для его могучей, вечно непричесанной головы. Живое, растущее учение они укорачивали до нужд своей эпохи, до некоей неколебимой и всегда неизменной доктрины — как бы прилизывали, гладили Маркса по волосам, а он нам дорог непричесанным, как олицетворение стихийной мощи потрясенного им мироздания.

Разве не правда, что второй и последующие тома «Капитала», дописанные Энгельсом за Маркса, получились не так объемны и величественны, как первый томище, которым восхищался Ленин, как и другим матерым человечием, сочинителем не менее объемных томищ? А энгельсовская «Диалектика природы» — всегда ли и во всем она соприродна той диалектике общества, которую развил Маркс? И все труды Энгельса как бы не вполне капитальны и в известном смысле представляют собой добавочную ренту с того огромного идейного капитала, который нажит Марксом благодаря рациональному обращению с наемной силой. Пока буржуи материально наживались на труде пролетариата, Маркс идейно обогатился на его борьбе.

К сожалению, наша наука пошла по несколько облегченному энгельсовскому пути, а махину настоящего, первоначального марксизма ей еще только предстоит осилить, чтобы неоскопленное это учение и дальше оплодотворяло наши помыслы и дела. В теории нам недостает трамплина, который внутри самого научного коммунизма служил бы такой же твердой точкой отталкивания, как Маркс служит притягивающим магнитом. Ведь не секрет, что прежние наследники-исказители, все эти Каутские-Бернштейны, оказались картонными фигурами, и даже сам товарищ Плеханов... Так кто же возьмет на себя ответственность за кровавые уроки марксизма, за гибель целых классов и народов? Нет, кажется, не избежать товарищу Энгельсу нового партийного поручения: быть оппонентом товарища Маркса по некоторым фундаментальным вопросам марксизма, фактически подмененного... энгельсианством.

Марксизм — в опасности! И спасти его может только Энгельс — как всегда, жертвуя собой. Была пора, когда Энгельс нарочно приуменьшал свой вклад, чтобы утвердить приоритет Маркса — но теперь стоило бы Энгельсу закрепить за собой приоритет в тех вопросах, которые мешают

Марксу оправдаться перед потомками и по-прежнему звать за собой в коммунистическое далеко. Энгельс считал себя марксистом, как Сталин — ленинцем. Но, как уже отмечалось, пары в процессе диалектического развития становятся противоположностями. Сталин — уже не соратник, а противник Ленина, и именно потому — спаситель ленинизма. Придется и Энгельсу стать основоположником энгельсианства, чтобы спасти марксизм и принять на себя огонь его критиков и страдания исторических жертв. Придется Энгельсу после смерти Маркса усыновить его детище — «научный коммунизм», как при жизни Маркса он усыновил другое его детище — Фридриха Демута. Домашняя работница Маркса Элеонора Демут и друг его дома Фридрих Энгельс образовали вымышленную чету, реальный плод которой был порождением самого Маркса, — чтобы спасти от бесчестия его брак и потомство. Так и теперь Энгельс должен дать свое имя кое-каким произведениям бурливого марксова ума, чтобы имя самого Маркса осталось свято для грядущих поколений.

И тогда окажется, что Сталин вовсе не был марксистом, а только энгельсианцем, да к тому же опошлившим то, что уже было упрощено Энгельсом, на которого он ссылается в своих работах чаще, чем на Маркса. Через энгельсовскую стрижку остается у Сталина от всей вдохновенной шевелюры Маркса только узкая щеточка усов. «Краткий курс» — тупой устав власти. Так иссякала сила Самсона у гладковыбритых наследников марксова учения. А началось это постепенное пострижение сподвижников Маркса в монахи, точнее, в евнухи марксизма — уж не с Энгельса ли?

Пора, мой друг, пора, — как бы подсказывает Маркс своему вечному соратнику. У научного социализма еще не выявлен его коренной порок, который позволил бы остаться непорочной самой социалистической науке. И если признать некое темноватое родимое пятно на теле бессмертного учения — пятно, достойное столь могучего тела, — то оно видится мне именно во вкладе Энгельса. Пусть разделятся близнецы — и история сочинит новую, еще более потрясающую легенду об интеллектуальной дуэли, которая исподтишка или бессознательно велась в их дружеской переписке. И окажется, что Маркс — наш буйный мавр, наш курчавый арап — был коварно умервщен на этой дуэли,

но он воскреснет в темном нимбе волос, в этом сияющем венце первомученика марксизма.

Мне кажется, Энгельс чего-то мучительно не понимал в Марксе, хотя по-своему его любил и всю жизнь старался искупить свою вину. Это был первый в мире фабрикант, который трудился на благо пролетариата. И лишь когда Маркс умер, Энгельсу показалось, что он наконец понял. Он продержался еще двенадцать лет после смерти Мавра (который, сделав свое дело, мог спокойно уйти), — но уже меньше пил пива и сделался кротким и ласковым. И все переписывал, переписывал на свой лад густые марксовы каракули — бумажная овчинка стоила идейной выделки. Его ли вина, что в них со временем обрядился империалистический волк, прикинувшийся социалистической овечкой?

Нет, он не был мятежным ангелом, наш Фридрих Энгельс, но ангелом мира и дружбы, как свидетельствует его безыскусные имя-фамилия.⁶ А Карл — имя обязывает! — был человек, из той могучей породы людей, которые не бывают ангелами. И еще Маркс, как напророчила ему фамилия, поднял над всем миром могучий рабочий молот, — где уж тут удержать его в ангельских крыльях.⁷ Вот почему, в соответствии с новым смыслом выражения «Ленин — Сталин», я предлагаю, чтобы и в слове «Маркс — Энгельс» тире читалось как знак живой диалектической протоположности, а не только диалектического единства. Маленькая интонационная поправка.

Пусть за Энгельсом останется первенство диалектики в природе, а за Марксом — диалектическое взаимодействие человека и истории, общества и природы. Пусть они совместно создадут «диалектический материализм», о котором, кстати, оба не подозревали, в отличие от самоучки Дицгена (вот кого еще нужно призвать на выручку Маркса!).⁸ Но пусть один создаст чисто диалектическую, а другой — чуть метафизическую версию диалектики, за что впоследствии ухватится Сталин. Пусть истмат вообще от-

6 Этимологически «Фридрих» означает «мир», «Энгельс» — «ангел».

7 «Карл» в древненемецком и среднеанглийском языках — «человек», «мужчина», «мужик», «простолудин», «крестьянин». Фамилия «Маркс» — от латинского «marcus» — молот.

8 Иосиф Дицген (1828–1888) — немецкий рабочий-кожевник, философ, самостоятельно пришедший к материалистической диалектике.

лепится от диамата и будут созданы два института: Маркса — Ленина и Энгельса — Сталина. В одном будет изучаться воистину непобедимое учение, а в другом — временно, увы, победившее. В одном демократия социалистическая, а в другом диктатура пролетарская. В одном — научный коммунизм и построение бесклассового общества, в другом — казарменный коммунизм и усиление классовой борьбы.

Дело Маркса — Энгельса, дело Ленина — Сталина все еще не побеждает — потому и живет. В нем живет то, что мешает ему победить, но помогает оставаться делом жизни всех людей. Ведь главное дело мудрых и смелых — победить себя.

1988

СССР. ОПЫТ ЭПИТАФИИ

«О мертвых или хорошо, или ничего». Даже посылая в небытие заклятого врага, стоит постоять молча над его могилой, а то и привести на память все лучшее о нем. Этого требует не сам покойный, но чин смерти, чин прощания и отпевания. В смерти есть тайна, есть высокое значение, которое не дано унижить живым, не унизив себя. Относится это и к той могиле, куда сегодня опускают целую страну, еще вчера заносчивую и беспощадную. Не стоит плясать на этой свежей могиле. Не стоит поносить последними словами мертвую державу. Это пристало делать в прошлом, когда она была опасной и мстительной. Для сурового приговора найдется время и в будущем, когда память истории расставит на свои места все и всех, в том числе и теперешних громких осудителей. Но сейчас редкое время для сосредоточенной скорби, для соучастия в таинстве погребения.

Ведь если верно, что похоронный колокол всегда звонит и по остающимся жить, то тем более это верно, когда умирает страна. Вместе с ней мы хороним себя, расстаемся с детством, молодостью, а кто и почти со всей прожитой жизнью. Ведь ее, этой страны, не было отдельно от нас. И если часть нас самих сейчас умирает вместе с этой страной, то часть этой страны еще остается в нас и продолжает жить.

Два чувства смешались, когда утром после Рождества я открыл газету и прочитал, что Советского Союза больше не существует, что флаг его спущен, а президент ушел в отставку. Первое чувство: что все мое прошлое мгновенно унеслось от меня во времени, как раньше оно унеслось в пространстве, кануло в глубь Атлантического океана, над которым я летел в Америку. И теперь мое скучное детство, пионерский лагерь, песни у костра, двусмысленные экзамены, потаенные анекдоты, влюбленность под бряцание любительской гитары, утонченные недомолвки в статьях и обходительные препирательства с редакторами — все это наклеилось на пожелтевшую страничку истории, подверстанную вслед за крепостным правом, революцией и пятилетками. «А вот так жили в Советском Союзе. Была такая страна. Период позднего Сталина... И раннего Хрущева...»

Как странно осязать прямо под своей кожей археологический слой, пыльные отложения веков. Откуда ты? Я родился в Атлантиде. Я родился в Византии. Я родился в СССР. Экзотические слова — отголоски уже немых исторических миров...

И вот уже вежливый голос экскурсовода водит меня по закоулкам моей памяти. Обводит указкой тетради в косую линейку, по которым мы когда-то учились писать. Мгновенно вся моя прошлая жизнь утратила свойство интимности и обратилась в музей, открытый для показа равнодушному скопищу потомков. Для этого оказалось достаточно одного слова: бывший Советский Союз. И вся моя прежняя жизнь, это сорокалетнее блуждание по пустыне в поисках выхода из нее, тоже вдруг оказалась бывшей. Прожитая не столько мной, сколько человеком моего поколения, из тех, ранних пятидесятых, с налетом серости, усталости, ожидания. Эсесесер. Сколько оттенков серости рокочут и переливаются в этом слове!

Но и другое чувство нашло поверх первого. Не то, что я остался хлипкой тенью в прошлом этой страны, — а то, что страна эта теперь переселилась в меня. Обосновалась. Во мне живет. Напеваает вполголоса дивные песни. «По военной дороге... Только ветер гудит в проводах... Где закаты в дыму...» Из меня эта страна разговаривает. Я с ее, советским акцентом, произношу американские слова. Ее, советскими торопливыми и неточными жестами, я трогаю аме-

риканские вещи. С ее, советским недоверчивым прищуром, я озираюсь в американских универмагах. С ее, советской беззаботностью, я ничего не понимаю в американской банковской системе. С ее, советской щепетильностью, я стараюсь подчеркнуть и обосновать свое особое мнение, хотя никто вокруг его не оспаривает. С ее, советской настороженностью, я отношусь к льготам и привилегиям за цвет кожи, хотя совестливые американцы считают, что по отношению к обиженным расам это справедливо. Раньше как было просто! Эта страна существовала отдельно от меня, страшная, могучая, и всеми силами я старался не быть советским, быть кем угодно — другим: русским, евреем, американцем. Теперь, когда она исчезла с лица земли, я чувствую ее в себе. Я похоронил в ней часть себя, чтобы другой частью она воскресла во мне. И теперь никто уже не живет в советской стране — зато она живет в нас, своих вечных питомцах и посланниках. И особенно в тех, кто из нее уехал.

В тех, кто остался, она постепенно начнет превращаться в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан... А в тех, кто из нее уехал, она останется навсегда, потому что ей не во что изменяться. Америкой, или Францией, или Израилем ей не стать никогда. Так ловко она выпихнула нас из себя, чтобы в нас надежнее выжить, сохраниться, как запах в закрытом шкафу.

Что осталось советского в мире? Москва перестала быть советской. И улица Горького, ныне Тверская. И учебники истории, ныне антисоветские. И Кремль, ныне без кулачковых полотнищ. И радио, ныне без марша ударных бригад. В нынешнем мире, где почти не осталось ничего советского, самое советское — это я. Мои ребяческие инстинкты, которых не могут пересилить годы взрослой рефлексии. Моя вера в дружбу народов. Моя гордость красным цветом. Мои слезы при исполнении интернационального гимна. Мои попытки втайне вызвать у читателя несогласие со своею собственной мыслью. Моя нелюбовь к авторитетным цитатам и любовь к многозначительным повторам. Моя любовь к разговорам до одури и до потери своего «я» в «ты» собеседника. Моя непривычка встречаться взглядом с прохожими, чтобы они не подумали чего-то и не стали выяснять отношений. Мое чувство строгого и праздничного

порядка, возможного на земле, как в те дни, когда под гром репродукторов люди дружно шагают в Май и готовятся обнять друг друга, в отблесках красных знамен и желтых литавр. Мое уважение к учительнице, со значком на лацкане и гладко зачесанными волосами, мое желание слушаться ее всегда и во всем, быть примером. Мое запойное желание вникать в идеи всякого рода, вживаться в них и мало обращать внимания на то, как они вяжутся или не вяжутся с реальностью. Все это — советское во мне.

И нельзя сказать, что я это в себе люблю. Но меня без этого нет. А поскольку сказано, что ближнего нужно возлюбить как себя самого, могу ли я не любить себя, пускай через не хочу? Даже и такого, советского от рождения. И пусть я трижды антисоветский и даже постсоветский, все равно, я — последнее пристанище великой страны. Прекратившись исторически и географически, она еще сильнее воспрянула в нас, как метафизическая, вечная родина, как тот пепел, что утратив свое земное тело, теперь стучится в грудь каждому, стуком его собственного сердца. Опять и опять обходит сердце эту погибшую страну, как часовой обходит прах у мавзолея, — навытяжку, чеканным шагом, которому открывается пустая даль будущего.

Декабрь 1991

SUMMARY

Mikhail Epshtein. *Great Owland*.

Roland Barthes suggests that «the best weapon against myth is perhaps to mistify it in its turn and to produce an artificial, second-order myth». *Great Sovia* (the title could be translated also as *Great Owland*) is an experimental myth, created in order to explore the deep patterns of Soviet mythological mentality. Contemporary Russians often refer to themselves as «sovok,» which has double meaning: «a Soviet man» and «an owl», including such allusive implications as «grave and solemn looking», «sharp-sighted, vigilant, wise», and «dull, obtuse». One can find many parallels between the owlish mythology of the «dark sun» and «invisible light» and radical proclamations of Soviet revolutionary leaders, such as Lev Trotsky: «Comrades, we love the sun that gives us life, but if the rich and the aggressors were to try to monopolize the sun, we should say: 'Let the sun be extinguished, let darkness reign, eternal night...'» (Sept. 11, 1918; Cited in Andre Glucksmann. *The Master Thinkers*, trans. by Brian Pearce. N.Y Harpers& Row, 1977, p. 211)

The book narrates about a Northern people who believed the Great Owl to be their holy ancestor and so became owlish in their souls. The book discusses the habits and rituals of these people-owls and explores the nature of «owlism», which exposes the archaic and occult roots of the 20th century totalitarian systems. Various sides of the Great Owlish mysterious twilight life, such as the faith in angels, the discipline of vision and hearing, the construction of underground temples, the political institutions of «dawn» and «paradise» are interpreted in terms of totemic practices and beliefs. Finally the ruling «videologists» announce the owls to be non-existent nightmares of the «dark past», but the logic of owlish mythology still survives this self-denial.

The second part of this volume includes Mikhail Epstein's essays on Soviet mythology written in 1977 – 1989 and divided into three sections: «The Superfluous World», «The Temperature of History», and «The Red Corner».

ОБ АВТОРЕ

Михаил Наумович Эпштейн – философ, культуролог, литературовед, профессор теории культуры и сравнительной и русской литературы университета Эмори (Атланта). Член Пен-клуба и Академии российской современной словесности. Автор 19 книг и около 500 статей и эссе, переведенных на 14 иностранных языков, в том числе «Философия возможного» (2001), «Отцовство» (2003), «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» (2004), «Постмодерн в русской литературе» (2005), «Новое сектантство» (2005).

М. Эпштейн родился в Москве в 1950 г. В 1972 г. закончил филологический факультет МГУ, с 1978 г. – член Союза писателей. Его статьи по вопросам литературы и теории печатались в «Новом мире»,

«Знамени», «Звезде», «Октябре», «Вопросах литературы», «Вопросах философии», «Вопросах языкознания», «Новом литературном обозрении» и других литературных и теоретических журналах.

В 1970-е годы участвовал в работе сектора теоретических проблем Института мировой литературы (Москва) и преподавал литературу в московских вузах. В 1980-е годы – основатель и руководитель междисциплинарных объединений московской гуманитарной интеллигенции: «Клуб эссеистов», «Образ и мысль» и «Лаборатория современной культуры».

С 1990 г. живет и работает в США. Профессор университета Эмори с 1990 г. Основные курсы: «Западный и русский постмодернизм», «Семиотика и поэтика», «Введение в теорию литературы», «Религия и философия в России», «Достоевский», «Глобальная культура и будущее гуманитарных наук».

В 1990-91 гг. стипендиат (fellow) Института Кеннана в Вашингтоне, выполняет исследование по теме «Советский идеологический язык». В 1992-94 гг., по контракту с Национальным советом по советским и восточноевропейским исследованиям (США, Вашингтон), работает над исследованием «Философская и гуманитарная мысль в России, 1950-91». В 2002-03 гг. – стипендиат Центра гуманитарных исследований (университет Эмори), работает над проектом «Футурология гуманитарных наук: Парадигмальные сдвиги и новые концепты».

Лауреат премий: Андрея Белого (СПб., 1991); Института социальных изобретений по разряду креативности, за электронный Банк новых идей на сайте интелНет (Лондон, 1995); журнала «Звезда», за лучшие публикации 1999; «Liberty» (Нью-Йорк, 2000), присуждаемой с 1999 г. ежегодно за «выдающийся вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных отношений между Россией и США». Призер международного конкурса эссеистики (Берлин-Веймар, 1999) и стипендиат Фонда веймарской классики (2000).

Сетевые проекты и сайты

Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна

http://www.russ.ru/antolog/intelnet/virt_bibl.html

ИнтелНет

http://www.emory.edu/INTELNET/rus_ukaz.html

Дар слова. Проективный лексикон русского языка

<http://www.emory.edu/INTELNET/dar0.html>

Веер будущих. Техно-гуманитарный вестник

<http://veer.info/>

<http://www.topos.ru/veer/>

Книга книг: Словарь-антология альтернативного мышления

http://www.russ.ru/antolog/intelnet/kniga_knig.html

Биобиблиография

<http://www.russ.ru/antolog/intelnet/bio.html>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....5

ВЕЛИКАЯ СОВЬ

ДРЕВНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАРОДЕ СОВЫ12

1. СНЫ И ТЕНИ.....14

Что значит «совет»? – Живая Рань. – Борьба за сновидения. – Легенда о двух душах. – Возрастание страны. – Сумрак и тишина. – Развитие слуха. – Враждебные звуки. – Токованье.

2. АНГЕЛЫ.....17

Религия совичей. – Ангеловедение. – Отношение к схоластике. – Спор о великом Сове. – Каталоги встреч. – Методы изучения. – Судьбы встречников. – Природа ангелов.

3. ЭТИКА ТЬМЫ И ВЕЛИКИЙ ЭРОС.....22

Инициалы и титулы. – «Тьма». – Четыре Постулата. – Слухи о разврате. – Бесшумные собрания. – Сладострастие очереди. – Вдвоем с Ночью. – Целомудрие и чувственность. – Сович из совцов. – Великое чучело.

4. ДИСЦИПЛИНА ВЗГЛЯДА И СЛУХА27

Уроки и праздники Взгляда. – Пособие по выпрямлению. – Ясновидение Совича из Совцов. – Приглядка. – Борьба с разноглядством. – Прицельная перестрелка. – Двойное значение «слуха». – Система слухов и система взглядов. – Асимметрия ушей и самозарождение слухов. – Буриданов осел и слуховое двоение. – Гипотезы о бесшумности.

5. ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ.....35

Желудок и цивилизация. – Мысль в охоте за мышью. – Бесперебойное сердце. – Правило левой руки. – Мера рабочего времени. –левой!левой!левой! – Право и множество прав. – Право на смерть. – Свобода от себя. – Потребности и способности. – Юстиция как физиология. – Временные законы. – Средняя середина. – Уголовники и углекопы. – Закон о сновидениях. – Проекторные зоны и города. – Ум сумасшедших. – Масштабность и пунктуальность. – А мир катил налево.

6. РАССВЕТ И РАЙ45

Орган власти – рассвет. – Учение о Незримом Свете. – Полночное голосование. – «Солночь». – Полдневный праздник. – Заточка клювов. – Власть и управление. – Орган управления – рай. – Райский ком и природа комковатости.

7. НАУКА УМИРАТЬ.....50

Мрак во мраке. – Автоматика. – «Будь солдатом, все равно умрешь!» – Подготовка к сознательной смерти. – Работа с противником. – Помощь природе. – «За что?» и «от чего?» – Товарищ Смерть. – Победа – это битва сегодня.

8. ПОДЗЕМНЫЕ ХРАМЫ И УГОЛЬНЫЙ ВЕК56

Любовь к мудрости. – Совеокая Афина. – Материализм и почитание Матери. – Разрушение храмов Небесного Отца. – Матрополис и его достопримечательности. – Изваяния великого Совы. – Обряд

- ускорения. – Махание и планирование. – Сестра-Ночь. – Солнце Земли. – Углекопы. – Могильщики. – Народное украшение. – Уголь и алмаз. – Сумеречный полет.
9. ЛУННЫЕ ЧАРЫ И ПРАКТИКА ОТРАЖЕНИЯ64
 Четыре типа обществ. – Спутник-шпион и лунные жаворонки. – Лунная прощальная. – Светлая грусть. – Зеркальность в природе. – Дружба Земли и Луны. – Щит сознания. – Рельеф мозга и лунная поверхность. – Отражать – значит затемнять. – Познание и оборона. – Практика отражения. – Пятый океан.
10. ТЕНЕВЫЕ НАУКИ75
 Эпоха Великих Сумерек. – Теневая философия. – Классический разум и классовая мудрость. – Теневая лингвистика. – Говорить, чтобы молчать. – Тихий Ангел. – Прямое слово. – Слово «борьба» и его народнохозяйственное значение. – «Зрительные резервы». – Слово «мир» и его внешнеполитическое значение. – Выпрямление Слова и Взгляда. – Теневая экономика. – Товарищество без товара. – Теневая социология и психология. – Счастье в грусти. – Необщительность и общественность.
11. ВИДЕОЛОГИЯ И СТРАННОВЕДЕНИЕ83
 Черно-белое зрение. – Третий лишний. – Роль сновидений. – Дальнорукость. – Близорукость. – Дальномыслие. – Цельность. – Наука по совместительству. – Странновики и теневики. – Странность номер 1. – О шершавости языка. – Служебные перелеты. – Мелиорация и эстетика. – Засухи-наводнения. – Моря-чемпионы. – Сказ о Лысе Залысьевиче. – Странник в стране теней.
12. ВКУС ГОРЕЧИ89
 Закон органической прибыли. – Методы соледобычи. – Перегонная промышленность и ОТК. – Органика и автоматика. – Легенда об Алконосте. – Вкус Ночи. – Горькая приправа. – Философия перегона. – Борьба вкусов и идеал безвкусыя. – Дым Отечества. – Звезда Полюнь. – Чередование поколений.
13. ГЛУБИНА ЖИЗНИ96
 Новые Афины и Древний Совск. – Проспекты и переулки. – Борьба «гладовиков» и «слуховиков». – Подземный Совск, красивый город мира. – Легенда о Китеже и явь Нижнесовска. – Верхнесовск. – Небоскреб и подполье. – Главная потребность. – Кто во что прячется. – Смерть в дупле. – Ритуал ресторана. – Тайновластие. – Сбор грибов. – Рыбная ловля. – Глубококоразвитая страна.
14. АКТИВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ,
 или ИСКУССТВО ХОРОНИТЬ105
 Зарьть, чтобы откопать. – Похоронная. – Обряд воскрешения. – Древнее и древностное. – Дело и «дело». – Мертвое живее всех живых. – Могилка одной книги. – Завод-музей. – Страна-музей. – Обгонять время. – Кто стал ничем, тот будет всем.
15. ТАЙНА ПРЕКРАСНОГО115
 Внешний вид совичей. – Глаза. – Радуга и радужка. – Дурные приметы. – Категория страха. – Основная цепь выводов. – Критика – луна литературы. – Лунность и горечь. – Эстетика луковицы.
16. БРАТСКИЕ СВЯЗИ: РОСИЧИ И КРОТИЧИ122
 Росичи. – Мольба о Ночи. – Почитание Росы. – Два оттенка мрака. – Лазутчик из полдня. – Закатная песня. – Кротичи. – Роющий и реющий путь.

17. ОБЫЧАЙ СКУКИ И ВЕСЕЛЫЕ ЖАНРЫ	127
Обычай скуки. – Зевота и «зевомкость». – Великая Кукушка и Великий Сова. – Иноземные совичи. – Кукушка – это Время. – Закон Лесной Истории. – Психология кукованья. – Заводные и ручные кукушки. – Певческое искусство. – Хриплый Ангел. – Беззвучная песня. – Паясничанье. – Искусство смешить собой. – Тетра Шей. – Хохот. – Символ веры.	
18. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ	134
Социальная разнородность. – Сравнительный и соревновательный путь. – Совцы. – Совейцы. – Совки. – Совчане. – Совейщики. – Совщицы. – Равенство полов. – Молодежь. – Слеты. – Взаимоприлегание слоев. – Любовь к Ночи. – Кризис самоуважения. – Сович становится совой?	
19. ЗАСНУТЬ ИЛИ ПРОСНУТЬСЯ?	141
Быть совичем! – Гордость за Ангелов. – Что значит «совет»? – Совать? – Советовать? – Впадать в полусонное состояние. – Три партии. – Первые и вторые. – Третьи. – Преимущества Сна и Яви. – Удивительные перемены. – Кто побеждает? – Предангелы.	
20. СОВЬ БЕЗ СОВ	147
Статья в «Ангельском Вестнике». – Борьба с рутинерами и моралистами. – Жаворонки-живоангелы. – Невероятные разоблачения. – Статья в «Орнитологическом Вестнике». – Почему совы невидимы. – Наука в плену иллюзий. – Мифологическая птица. – Изгоним страх из своей души! – Сов нет в природе. – Окончательные перемены. – Запашка Третьего Пути. – И все-таки они есть!	
ПОСЛЕСЛОВИЕ	155
В защиту сов. – Перечень громких имен. – Объективная реальность.	
ПРИЛОЖЕНИЕ. К истории слова «совок»	157

Советская мифология. ЭССЕИСТИКА

I. ЛИШНИЙ МИР	163
ПЫЛЬ И ГНИЛЬ	163
ЛУЗГАНЬЕ СЕМЕЧЕК, ИЛИ ФИЗИОЛОГИЯ ПРАВДОИСКАТЕЛЬСТВА	165
ОЧЕРЕДЬ	168
ГОРОДСКОЕ КОЧЕВЬЕ	173
СУДЬБА И СУДЬБЫ	175
ПЛАКАТ И СТЕНД	180
СКЛАД	184
II. ТЕМПЕРАТУРА ИСТОРИИ	188
НАШ КУРЯЩИЙ ГЕРОЙ	188
ГОРОДСКОЕ ЛЕТО	190
БЛУД ТРУДА	194
ОБЛОМОВ – КОРЧАГИН – ОБЛОМАГИН	211
III. КРАСНЫЙ УГОЛОК	232
«ПОРТРЕТ» ГОГОЛЯ-БЕЛИНСКОГО	232
ЛЕНИН – СТАЛИН. 1988	241
СССР. ОПЫТ ЭПИТАФИИ	263

**Эпштейн
Михаил Наумович**

Великая Сось
(серия «Радуга мысли»)

Дизайн обложки:

А Р Т С Т У Д И Я D.A.G.

Дизайн: О.Матвеева, А.Глинский.

Компьютерная верстка: П.Иванников
Корректор: Л.Гайнетдинова

Лицензия: ИД № 02410 от 20.07.2000 г.

Подписано к печати с готовых диапозитивов
Формат 84x108 1/32. Бумага типографская
Печать офсетная. Гарнитура Baltica. Печ. л. 8,5
Тираж 2000 экз. Заказ № 2118

Издательский Дом «Бахрах-М»
443029, г. Самара-29, а/я 14077
E-mail: bachrach@bee-s.com

Торговое представительство в Москве:
тел. (095) 304-84-25

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

СЕРИЯ ФИОЛЕТОВАЯ: МИФОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ

**МИХАИЛ
ЭПШТЕЙН**



-культуролог, философ, филолог, эссеист, профессор теории культуры, сравнительной и русской литературы в университете Эмори (США), лауреат премий Андрея Белого и Liberty.

Собрание работ Михаила Эпштейна отражает весь многодисциплинарный спектр современной гуманитарной мысли. Каждой дисциплине в оформлении серии соответствует свой цвет: лингвистика – красный, литературоведение – оранжевый, культурология – желтый, эссеистика – зеленый, идеография – голубой, философия – синий, религия – фиолетовый. В каждом цвете предполагается выход двух-трех томов. Все вместе они образуют творческую радугу гуманитарных наук, способных не только исследовать, но и порождать новые языковые, культурные, концептуальные миры.



СЕРИЯ ГОЛУБАЯ:
ИДЕОГРАФИЯ

**НОВОЕ
СЕКТАНТСТВО**

ISBN 5-94648-049-9



9 785946 480499

БахраХ-М

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ